

В. ПЕЧЕНКИН

Владыка УСТЬ-ВЫМИ



Владимир Печенкин

Владыка Усть-Выми



СВЕРДЛОВСК

Средне-Уральское книжное издательство
1982

84Р7
ПЗ1

Рецензент Д. П. Вовчок,
кандидат филологических наук

П 70803—080
М158(03)—82 4803010102

© Средне-Уральское
книжное издательство, 1982.

Се же хочу сказати,
яже слышах прежде сих лет...

Из летописи 6604 (1096) г.

Владыка Усть-Выми



Епископ распрямился, осмотрел затупившийся кончик гусиного пера. Отложил, взял другое, занес над чернильницей. Но обмакнуть медлил. Опустил руку на тетрадь, задумался, в окно глядя.

За слюдяным окном сиял августовский день. В предосенней жаре млел владычень городок Усть-Вымь. В покоех же епископских сумеречно, прохладно. Пред иконостасом лампадка единая ровным светом теплится, сонные тени колышутся на чистых, скобленных половицах. Из церковного придела еле слышно доносится заунывное пение. Строен, благолепен монашеский хор. Мягкой октавою гудят колокольно басы про неисповедимость путей господних, про жизни грешной быстротечность, про тщету суеты земной. И среди них высокой, тоненькой надеждой звенят теноры молодых иноков, влекут, зовут, будто тропинка в чащобе лесной...

Со вздохом перелистнул тетрадь желтоватого флорентинского пергамента, перечел написанное.

«Возлюбленный сын мой во Христе. Пишу тебе ныне сие откровение мое, дабы облегчить душу, заботами многими отягощенную, и поведать тебе о делах и помыслах, коих, в летах преклонных пребывая, никому иному открыть не можно. Понеже в тебе зрю наследника дум и дел моих в дни грядущие.

Дела же епископа Великопермского многотрудны суть, ибо держит в руке своей власть яко духовную, так равно и светскую на рубеже Руси, в краю диком и отдаленном. С одной стороны грозят набегами инородцы сибирские, с другой — пылемские князья, да с третьей и от христиан гулящих — ушкуйников новгородских — опасение потребно, кои приходят беззащитным пермитям да остякам обиды чинить, добро их грабить. Рати же воинской на Перми мало, а Москва далеко. Едино лишь разумными деяниями да молитвою держу в благоденствии непрочном обширный край сей...»

Епископ опустил тетрадь на столешницу. Долго сидел так. Потом взял перо, обмакнул в медную чернильницу.

«Сын мой, при крещении наречен ты Арсением, озна-

чает сие — мужественный. Учись же смело принимать истину, не страшись слов моих, чти их сердцем и разумом, как подобает व्यюнине зрелому на суровую стезю жизни ступить готову.

Длинный путь прошел я, многогрешный, много видел и передумал, многие книги прочел, и латинских мудрецов древних, и грецких, и российских пастырей ученых. Во все века мудрецы, умом возвышенные от бога, радели по силам своим, дабы Зло в людях победить светом Правды и Справедливости. Но ни одно учение не преуспело в сем. Многие по скудности душевной не умеют познать радость от добра, ближним принесенного. Многие, духом слепые, тешат себя лишь корыстью единой, а паче того видят радость во власти над другими. Богатство и власть — вот бог их ненасытный, невежеством вскормленный, свет Правды попирающий.

И явился Христос и принес людям учение свое: не собирайте земных сокровищ себе, ибо истинная радость, Человека достойная, — на земле мир, и в человецех благоволение. Чисты были сердца первых христиан, тяжким удел их. Призывая к Правде, святою кровию своею окропили они веру Христову. Но давно обратились во прах, и забыты ныне имена их.

Что же сотворили потомки, коим завещали они подвиг свой во имя счастья и любви к ближнему? Что творят ныне пастыри именем Христовым? Веру чистую, аки родник лесной, загадили они ложью непотребной, своскорыстной. Милосердие Христово восхваляя, сами кинжалом тайным, клеветою явною, огнем и мечом устраняют неугодных им — грешных ли, праведных ли. Велегласно проповедуя святые заповеди Добра, сами рушат их на виду у паствы молчаливой, и несть таких козней дьявольских, коим погнушались бы сии слуги Христовы».

Перо скрипело торопливо. На бледных, впалых щеках епископа пятнами горел румянец, брови гневно на переносице сошлись. Отбросил перо, схватил другое.

«Свято веруя в грядущее торжество Правды Христовой на земле, в молитвах тайных обличаю нечестивых пастырей. Но не дерзаю перечить им явно. Служу лицемерно властелинам, коим не верю, — грядущего ради светлого, коему дела свои посвящаю. Ибо — что смогу ныне? Куда позову людей, поведу на какие твердыни? На бунт противу митрополита Московского, лживых отцов церкви? Но тщетно прольется тогда кровь обиль-

ная и напрасная врагам державы нашей на радость. Пагубны для Руси раздоры, единою быть должна и тем сильна. Сказано бо в писании: «Всякое царство, разделившись само в себе, опустеет; и всякий город или дом, разделившись в самом себе, не устоит».

Не приспело время бросать камни. Но достойно ли Человека, духом здорового, зло и кривду лицезреть, в покое слабодушном пребывая? Дадим ли иссякнуть роднику Правды животворному? Мыслию я: каждый, справедливости святой жаждущий, духовного он звания или мирянин, землепашец простой или епископ, в пределах сил своих да будет творить справедливость, хотя бы малую, ближнюю, дабы не иссякли крупницы ее в людях, уповая на дни грядущие, когда сольются сии крупницы в силу непобедимую и воцарится Правда на Руси, тако же и в иных землях. Того ради творю то малое, ближнее, что в силах моих. Жителей мест пермских, яко пришельцев российских, тако же и инородцев, заслоняю саном епископским от ушкуйников да сибирских набегников, от московских лихоимцев...»

За дверью слышались грузные шаги, басовитое покашливание. Епископ помедлил, отложил перо. В глазах погас блеск, лицо стало строгим. Отвел со лба седую прядь.

— Войди, отче Евтихий.

Скрипнула дверь. Плавной поступью вошел дородный осанистый священник. С трудом согнулся в поясном поклоне.

— Благослови, владыко.

— Во имя отца, и сына, и святого духа...— старик осенил попа крестным знаменiem, протянул руку для целования.— Чего надобно, отче?

Поп Евтихий вскинул бороду, желтые его глаза раскрылись отрешенно, яро ошетинились брови.

— Владыко! В урочище Велья крещенные вогулишки сызнова в язычество перекинулись. Третьего дни отец келарь Благовещенского монастыря мимо стойбища плыл, вогулишки те с берегу насмехались, кричали охально: мы-де опять белок едим и Золотой Бабе поклоняемся. Вели, владыко, послать в урочище рать малую, смутьянщиков бы переимать да паки¹ крестить али смерти предать во славу господя нашего!

¹ П а к и (др.-слав.)— опять, снова.

Епископ выслушал, ответил негромко:

— Про то ведаю. Сам в урочище поеду. Рати же в сем деле не надобно.

Из широкого рта отца Евтихия хищно блеснули крупные зубы.

— Владыко! Пошто иди тебе к нехристям? Пошто проповедовать! Сказано бо: не мещите бисер перед свиньями. Кудесник языческий Пама совращает обращенных ко Христу. Владыко! Доколе в вере шатание терпеть будешь?! Пошли на Велью людей окружных изогнать скверну огнем да плетью!

В строгих глазах старца мелькнула насмешливая искра.

— Воевода на Москве, в отъезде. Сам ты, отче Евтихий, с сею ратию пойдешь ли?

Поп опустил глаза. Но тотчас обратил к иконам:

— Аз не убоюсь трудов бранных во славу Христоу,— перекрестился размахисто.— Вели токмо набрать поболе ратников...

Веселая искорка погасла. Владыка смотрел бесстрастно поверх головы попа.

— Еще чего не скажешь ли, отче?

Поп задышал тяжело. Отступил на шаг, поклонился.

— А еще, владыко... Пост ныне, а нехристи окаянные вогулишки, во грехе пребывая, рыбки свежей на двор церковный не поставили. Дозволь, владыко, на заутрене мне не быти, хошу бо ночью на Вычегду за рыбою плыть.

— Рыбку ту ведаю — стрелецкая вдова из Малого посада. Ее прелестей ради от заутрени утекаешь, отче.

— Облыжно донесли на меня, владыко!.. — заюлил глазами поп.

— Молчи и не блудословь. Не о тебе пекусь — сан твой блюду перед прихожанами. Ин ладно, гляди, отче. Рыба надобна братии. Пушай идет с тобою Антипа. Инок сей — рыбац отменный, в промысле помехою не будет.

Поп засопел недовольно.

— Пошто холопа при мне соглядатаем посылаешь? Ведаешь ли, что был он кнутом бит за озорство и дерзость противу боярина свого? Не по заслугам, владыко, приблизил ты беглого смутьяна...

— Что было, мне ведомо. Ныне ж чернец Антипа — брат твой во Христе. Ступай, отче. Да не забывай: завт-

ра после обедни всем причтом и народом крестным шествием идем. Посему сугубую трезвость блюсти велю. Ступай.

Евтихий поклонился, сопя, исподлобья глядя, ровно боднуть норовил, и убрался.

Епископ встал. Неслышно ступая по кошомному полувику, подошел к окну, оперся о косяк.

К вечеру клонился знойный день августа. В далях синим маревом дышит бескрайняя тайга. Чашобы ее покинув, неспешно течет к Вычегде светло-синяя Вымь. Изнемогший от жары городок лежит на ее берегу. Справа к владычному двору примыкает высокая, из лиственных бревен, стена Благовещенского монастыря. Перед нею площадь, торговые ряды на ней, изба съезжая новым срубом красуется, подле нее изба земская. Подале изба таможенная, погреб винный да кабак. У кабацких ступеней, в тени, мужик спит в одних портах драных и босой. Курится дымком пивоварня. Далее двумя широкими рядами крытые дворы торговых людей да «посадских лучших людей». За ними, помельче и погуще, стоят дворы «посадских средних людей», да «молодших», да пахотных монастырских мужиков избенки. На краю посада кузни дымят. И все это опоясывает частокол с охранными башнями. От частокола на тайгу наступает мирно неширокая золотистая полоса пашен.

Людей не видать, только у кабака появляются и пропадают куда-то питухи. Вот две бабы бредут в сарафанах полинялых, которая моложе — в кофте белой. К монастырским воротам пришли. Старшая в дорожную пыль на колени пала, надвратной иконе Спаса крестится. Молодуха тож двуперстие ко лбу приложила... Да вдруг уткнулась лицом в ладони, плечи затряслись. Кормильца ли беда настигла, дитя ли недуг унес, близких ли всадники сибирские в налете угнали?.. Чем поможет владыка Великопермский?

На монастырской колокольне ударили часы. Старик поднял руку, в окне слюдяном, никому не зримо, перекрестил поникших на пыльной дороге баб. Сам к столу воротился, перо взял. Бегут строки на флорентинском пергаменте.

«Родитель мой крестьянского звания был. Бедность ему не в укор, неизбывный труд в память вечную пред Всевышним. Ибо невеликими недостатками трудов пашенных обучил меня у дьяка грамоте. Чем отплачу сие роду

простому и званию? Где приложу к делу разум свой и науку обретенную? Токмо в звании монашеском видел я путь, на коем преуспел бы сотворить хоть малое добро народу. И отрекся от соблазнов мирских, принял постриг, силы удвоил. Видя кругом лицемерие, сам лицемерным стал, чем и заслужил благосклонность митрополита.

Ныне епископ я. Край языческий принял на совесть свою и тщусь обратить племена ко Христу. Ибо по размышлении зрелом уверился твердо: во дни наши токмо христианство принесет в урочища Пермские свет познания, смягчит дикие нравы. Крещения свершая, привожу пермян под державную руку великого князя Московского, ибо судьба Перми с Русью единою быть должна во славе общей и от врагов к укреплению. Строю при церквах училища для детей зырянских и вогульских — да узрят свет наук разных. Не мечом, но словом мирным инородцев к Руси склонять потребно. Ибо покорить словом труднее, но надежнее.

Русь величава и сильна. Да токмо истерзана усобицами княжьими, кривдою лихоимцев, хищниками иноземными и пастырями неразумными. Но трудолюбив, умен народ наш, и быть Руси державою великою. Тогда и Пермь, обширная и обильная, умножит блага свои, с Москвою в единой силе, в единой вере пребывая.

Вера потребна всему сущему на земле, ибо пищу для души дает, укрепляет во дни тяжкие. Не верующий же ни во что подобен сосуду, в коем иссяк напиток животворный: как снаружи ни пригож он, пусто внутри и нечисто. Даже племена темные, вогуличи и зыряне, безверия себе не мыслят: камням, деревьям, Золотой Бабе поклоняются. Но язычество, утоляя во днях сих простые их печали, замкнулось в себе, застыло в лесах глухих, нет ему выхода к народам иным, просвещенным. Безнадежно язычество в грядущем. Христианское же Учение, хотя покуда корыстолюбцами униженное, даст пермятам грамоту, через нее науки во славу и процветание внуков и правнуков.

Минуют лета многие, и обильное зло еще свершится. Но не может зло длиться вечно, грядет победа Разума. И что перед сим грядущим есть лицемерие епископа Великопермского, ежели труд его вложен в дело великое и святое».

Опустил уставшую руку, задумался. Перо выскольз-

нуло из пальцев, упало на кошму — не заметил. Шипела лампада, посвистывал сверчок.

Заунывный звук колокола пробудил от дум, напомнил: время быстротечно. Старик перекрестился, поискал перо, обмакнул в чернильницу.

«И ещё одну тайну поведаю: единому тебе пишу ныне думы свои не потому токмо, что ты, сын мой во Христе, зело разумен и в науках прилежен. Но и потому, что ты есть сын мой по плоти и крови. Сей грех — единая радость в жизни моей, все же прочее — дело служения Руси. Но был ли то грех? Да не устыдишься рождения своего, ибо рожден любовью чистой, безоглядной, и царствия небесного достойна покойная мать твоя, душа кроткая и любящая. Скончалась же вскоре после появления твоего на свет, погребена мною с молитвою искренней. Не вини нас за беззаконие — нет закона выше истинной любви.

Пишу сию исповедь после долгих раздумий, да пройдешь ты многотрудными дорогами жизни человеческой с глазами открытыми и разумом всемерно просвещенным. Пергамент сей отдаст тебе верный слуга мой инок Антипа в день кончины моей. Прочтя, предай оное скорбное писание огню: да не узнает никто иной скорби владыки Великопермского».

Старик закрыл тетрадь.

2

Воины пелымского окса-князя Асыки плыли по Вычегде. Теснились на плотях недвижно, молчаливо: князь велел тишину блюсти, не шуметь, не останавливаться для охоты. Сам окс на передовом плоту, на шкурах оленьих возлежит. Лицо как у старого деревянного идола: темное, в трещинах-морщинах, застывшее. Глядит окс зорко на зовущую вперед реку, на зеленые берега — стены таежные. Глядит, думает. Текут думы князя, как и река Вычегда, к Усть-Выми.

У Асыки за спиною сидит старый, согбенный колдун Пама, поджав ноги, на пихтовых ветках, ладони — о колени, локти в стороны торчат. Веки сомкнуты, не видит Пама красавицы Вычегды. От сырости речной, от зябкости туманной с полуночи ноют суставы, ломит старое тело. Но презрев немощи свои, колдун Пам'a с таежными духами-тормами — безмолвно говорит.

«Нуми-торм, ты есть Яных-торм, Большой бог. Ты

Бог Неба, нет тебе равных. Вели малым тормам, пусть помогают воинам мань-си.

Мир-Сусне-Хум, приходи. Мир-Сусне-Хум, ты самый добрый торм, помоги воинам мань-си.

Полум-Ойка-торм, приходи. Ты бог пелымских лесов, хозяин зверя, рыбы, птицы, ты любишь людей твоих мань-си, тебя обидел русский бог. Полум-Ойка-торм, приходи, помогай.

Нер-Ойка, приходи. Ты хозяин оленей, ты добрый. Приходи, помогай.

Аустья-одыр, Аясь-торм, Тахыт-котл-торм, приходите помогать воинам мань-си убивать Большого Шамана русских.

И вы, злые тормы, тоже приходите. Кул, бог смерти, приходи греться у пожаров Усть-Выми. Не трогай воинов мань-си, они дадут тебе много-много еды.

Яич-Экваш-Вит, ты живешь в устьях реки Лозьвы, совсем близко живешь. Яич-Экваш-Вит, убей своей злобой Большого Шамана».

Духи откликаются неслышно из тайги, никому не видимые слетаются, несутся над рекой в мыслях шамана, по берегам сквозь буреломы, хотят помогать.

Плывут плоты по Вычегде. Много плотов.

По правому берегу, от плотов отставая, так же неслышно течет звериными тропами конная ватажка бродячих сибирских татар под началом девятнадцатилетнего Юшмана, сына князя Асыки. Попадались на их пути редкие юрты речных вогул — Юшман грозил плетью, страшал смертью, брал клятву, что никуда не уйдут, будут сидеть смирно в юрте. Мирные вогулы клялись и откупались соболями.

На мыске, у безымянной речки, воины, лошадные и водяные, приостановились — ждали ватажку из вятских лесов. Князь Асыка выслал дозоры, костров разжигать не велел, тишину требовал. Чуть занялась заря, нетерпеливый Юшман повел конников далее. Сам впереди на низкорослом лохматом жеребце, весь мокрый от росы, гибкий, как лозняк, настороженный, как зверь. Вертел головой, принюхивался к рассветному туману, осторожно двигался-проскальзывал в чаще верб и черемух. У речной излучины перед кустарником непролазным замер Юшман: учуялась ему костровая гарь. Зашипел на конников, спешились они, нырнули в черемухи без шороха. Ждала их тут добыча хоть никчемная, зато пер-

вая: в земляночке укромной прятался русский мужик, бродяжка, вор ли, оборванный, тощий, с ноздрями рваными. Вспоминая русские слова, Юшман долго пытал у него: что творится в Усть-Выми, сильно ли городок укреплен, набега там не ждут ли? Бродяжка то ли не знал, то ли сказывать не хотел. Только ругался дико и безнадежно. Изрезанное тело бросили в землянке.

Уж отдаленный звон колоколов слышен был, когда увидели на большой поляне табун коней. Ватажники оживились, заерзали в седлах. Проворный поджарый татарин, Юшманова приказа не ожидая, сорвал с луки аркан, соскользнул наземь и, обежав кусты жимолости, пропал в траве. Табун заволновался, чужих почуя. Молоденький пастушок, сморенный тишью да утренней истомой, беспечно подремывал, сидя на неоседланном рыжем с черной гривой жеребце. Конь затоптался, голову вскинул, всхрапнул — не слышит пастушок тревоги табуна, дремотно ему на зорьке.

Всплыла над травой татарская шапка да рука с волосяным кольцом аркана. Не щиплют больше траву кони, подобрались, ноздри раздули. Ждут, что сейчас случится. Красавец рыжий конь — что тетива сагайдака...

Черной змеей взлетел аркан... Да шарахнулся рыжий, скользом прошла петля по плечу пастуха. Парень закричал, ударил пятками коня, и на гриву ему упав, помчался прочь, к березовому редколесью, зову колокольному навстречу.

Тенькнула тетива... Хороший стрелок Юшман — у первых берез догнала стрела пастушка. Мчался рощей жеребец, трубным ржаньем звал за собой табун, а тело его всадника белело в траве холщовой рубахой.

— У-у, какой конь ушел, князь-конь! Ловить некогда... — прошептал Юшман с досадой.

Остальных лошадей татары, ловкие табунщики, успокоили, сгрудили. Двоих Юшман оставил стеречь добычу, и двинулась ватажка вдоль берега туда, к звону плавному, спокойному. Таял туман, стекал меж сосен к реке. Вычегда розовато курилась, несла беду Усть-Выми. Все ближе торжественный звон. Сибирским коням привычно шагать звериной водопойной тропой. Плачут черемухи холодным росным дождем, от кожаных колпаков до лошадиных копыт мокра ватажка.

Юшман придержал коня, поднял нагайку — всем

стоять тихо! Из-за кустов от реки невнятно слышны голоса. Юшман нагайкой резко вниз — все с коней! Рассыпались в обе стороны. И уж не плачет черемуха росой, не шелохнется ветка, не хрустнет валежник.

Открылась им заводь, осокой заросшая. К пологому топкому берегу приткнулась лодка, подле нее два человека: рослый, широкогрудый, с большим крестом под бородами, да другой, худощавый, черная ряса на нем. Юшман ухмыльнулся, довольный: русские шаманы-попы! В одной, видно, лодке приплыли, вместе рыбу ловили, однако разговор недобрый на берегу завели. Широкогрудый сопел, гудел басом. Чернявый — глаза в траву, скажет слово — и молчит, только головой несогласно качает. Юшман сквозь листву раздором их любит: рыбу делят? Глупые русские: рыбы — много, жизнь — одна... Повернул молодое оскаленное лицо, прошипел ближним татарам слово, пополз к заводи. Позади конь фыркнул. Ничего. Не слышат русские рыбаки. Ссорятся.

— Владыко на посад ходить не велел, — смиренно молвил чернорясник. — Ежели управимся рано, велел к заутрене быть.

— Ты, холоп беглый, вор битый, пошто мне указуешь?! Делай что велю, не трать слова втуне.

— Не мои то слова, отец Евтихий, — владычий приказ.

— Отыди, смерд! — матерым медведем пошел Евтихий к лодке. — Не перечь! На весла сам сяду. У трех кедров выйдешь на берег, подремлешь, возвратись за тобою ужо... Садись на лодку, куда добром тебя...

— О-ох!..

Услыша вскрик, оглянулся: на коленях инок, ликом в траву валится, в спине стрела торчит... Обмер Евтихий.

К заводи хлынули ватажники. Один к инок подскочил, стрелу вырвал, в колчан сунул, потом ряску потертую мигом с упавшего содрал — обнажилась спина, покрытая старыми рубцами от кнутов. Перевернул тело, заглянул в помертвелое лицо. Медный крестик рванул, повертел в грязных пальцах, на зуб попробовал, размахнулся и бросил в реку.

С попом расправиться не торопились. Евтихий на коленях трясся, втянув голову в плечи, ручищами прикрываясь. Юшман дернул его за бороду, и поп заплакал, залопотал. Рыжебородый татарин потянулся к серебря-

ному кресту на широкой груди Евтихия, но Юшман не дал, сам забрал, сунул себе за пазуху. Татары начали было стягивать подрясник, но Юшман прикрикнул, велел пленника повязать, в лодку кинуть. На бороду ему броднем наступив, сел в лодку и рыжий, за ним еще ватажник. Оттолкнулся веслом, стал выгребать против течения. Остальные сели на коней. Черемухи сомкнулись за ними, опустела поляна, лишь тело инок осталось на примятой траве.

Прилетела с того берега сорока, опустилась на сук ближней сосны, повертелась, заглядывая издали на полуголого лежащего человека. Любопытствуя, слетела на черемуху, стрекочет. Хотела подобраться еще ближе, да на лету передумала, назад вернулась — шевелится человек-то.

Инок поднял голову, повел запавшими глазами. Пуста поляна, пуста река. Перекрестился инок и пополз, роняя в траву алые капли из раны. Пышный кустарник принял его.

Потом брел сосняком, опираясь на толстую сушину, постанывая тихо, сплевывая кровавую слюну. Слушал шорохи, таился. Вот ветка хрустнула где-то впереди... Припал к сосне. Вот еще, ближе... Сполз на землю и — в жимолость. Дыхание затаил — чу, лошадь всхрапнула... Ватажник отставший? Господи пронеси!

Вот меж стволов... Не ватажник — один конь, без седока, бредет понуро лесом. Рыжий, черногривый, неоседланный, поводок ременный волочет по листьям папоротника. Инок поднялся торопливо, руку протянул, зачмокал губами. Конь вздрогнул, шарахнулся пугливо.

— Конек любый, Рыжко али как тебя. Не пужайся, родимый, не бежи... Выручай, бога ради.

Добрый голос, язык знакомый услыша, жеребец замедлил. Косил глазом, пятился, но все ж допустил погладить шею, гриву потрепать. Прося, моля, подвел его инок к упавшему стволу и со стоном взобрался на спину...

3

Плоты плыли по Вычегде. Умытое росами, поднялось из зеленых далей солнце. По воде шли круги — металась рыба. Ветерок подул. Замерцала листва осин, тихий шелест прокатился...

«Близко Усть-Вымь», — колокола Асыке из-за леса поют. Князь велел воинам на плотях лечь, укрыться ветками, на стоянке срубленными.

Хитер Большой Шаман русских. Не саблей, не копьем ведет войну — словами отнимает данников у вогульских оксов, у таежных тормов — подарки охотников. Не велит новгородским ушкуйникам грабить пермлян — и тянутся под русскую защиту зыряне, остяки, вогулы. Большой Шаман околдовал югорского князя Молдана, и тот забыл законы тайги, поддался русскому богу и Московскому князю.

У окса Асыки нет сильного слова, у Асыки — стрелы. Долго окс готовил набег, посылая по улусам верных слуг и колдуна Паму неистового. Но боятся охотники идти на Усть-Вымь, хотя никто не слышал, что Большой Шаман — хороший воин. Асыка грозил, насмехался, обещал. И вот несет Вычегда плоты...

— Асыка, гляди! — шепчет Пама.

Навстречу плотам шла лодка, в ней два татарина. Юшман весть шлет. Хорошая весть — татарин издала зубы щерит. Подплыли, за плот поймались. Рыжебородый ватажник щелкнул языком:

— Вах, князь, хороший воин твой сын! Он поймал русского шамана. Вах, хороший шаман, шибко большой. Шибко трусливый, однако. Бери, князь!

Поднял за космы попа. Два дюжих телохранителя-остяка подхватили, бросили на бревна плота перед князем. Деревянное лицо Асыки осталось бесстрастным, только в глазах огонек удовольствия. Вдоволь наглядевшись на поверженного попа, сказал татарам:

— Ждите.

Лодка отделилась от плота. Переговариваясь, татары смотрели издали, как русского колдуна взбодрили нагайкой и он, от самого берега тихонько скуливший, теперь кланялся, стучался лбом и, видно, говорил что-то. Толмач из остяков переводил Асыке. Потом Асыка спросил, поп замотал бородой и перекрестился по привычке. Пама закричал, ударил по лбу...

Вскоре князь дал знак лодке приблизиться, сказал важно:

— Передайте Юшману: духи-тормы посылают нам легкую и богатую добычу. Пусть не спешит. В полдень русские выйдут шаманить своим богам. Когда мои воины выбегут на берег, тогда пусть Юшман обнажит саблю.

Празднично, радостно пели колокола. Только что отошла обедня во храме Благовещенья, сам епископ отслужил литию и после ектеньи повел к Вычегде крестный ход. Он любил таковы со крестом шествия, чаял, что благолешие их, пенье хора на голоса, икон да хоругвий краса обратят души языческие к вере истинной.

Вел шествие на холмистый мыс при слиянии Вычегды с притоком Вымью. В месте сем ныне молебен отслужить намерен во благополучие края Пермского, а тако же часовню здесь заложить во славу угодника Николая Мирликийского, покровителя всех странствующих и путешествующих.

День жаркий в меру. Небо чисто, без облачка малого, солнце щедро греет пермскую тайгу.

Впереди идет священносец из посадских купцов, держа на шесте фонарь с зажженной свечой. За ним несколько мирян несут хоругви с изображением архангела Михаила да святого Георгия Победоносца, обрамленные золотой и серебряной бахромой, еще распятие большое деревянное. Седовласый дородный старик — из «лучших людей» — благоговейно держит на расшитом полотенце напрестольное Евангелие.

Затем шествует клир — дьяконы с кадилами, сам епископ, священники по чину. Хор певчих из монахов и мирян, коему позавидовать могли бы и вологодские богатые приходы, поет вдохновенно, велегласно, стелются над ромашковым лугом могутные басы, тонко и высоко звенят голоса отроков.

Дале — купцы, посадские ремесленники, мужики пахотные, бабы с ребятами, нищие да убогие. Кое-где выделяются стрелецкие кафтаны, расшитые мехами праздничные одежды инородцев новокрещенных. Идет народ, головы обнажив, иконы бережно несут. Подпевают хору старательно, веруют истово, что упасет молитва городок Усть-Вымь, в лесах затерянный, сохранит их дома, и пашни, и скотину, и добро их не дюже богатое от дурного глаза, от пожаров, от глада и мора, а паче всего от набегов разорительных.

Поодаль, по обем сторонам шествия, тянутся небольшими кучками некрещенные жители ближних и дальних урочищ. Щелкают языками, качают шапками, слушают непонятное пение, дивятся красе пришлой, нездешней.

Бедны, видно, таежные боги, у них нету таких шаманов, таких бархатов, таких песен. Богат, наверно, русский бог, у него дом большой, с куполами, выше самого высокого кедра. У него колокола гудят сильнее летнего грома. У него шаманы одеты в малицы яркие, дивные и не с бубнами пляшут, а идут — как в лодке плывут. Хорош, силен, видно, русский бог.

Звучат над тайгой колокола — само небо поет. Перешептываясь, слушают молитву прибрежные тальники, слушает широкая Вычегда. И несет она по течению возле берега правого сцепленные ветвями деревья, будто острова плавающие. Топорщатся над теми островами еловые лапы, и странен вид их.

«Что же сие? — думает епископ. — Али буря прошла в верховьях?»

— Погляди, владыко... — шепчет, приблизясь, игумен. — Не туды зри, на лес!

Оторвал взгляд от реки. Из лесу неоседланный конь вынес полуобнаженное тело...

И словно кто стегнул шедших, дрогнули хоругви, пробежала по толпе тревожная дрожь. Мчитесь взмыленный конь, близко всадник. Господи, спаси люди твоя...

Подскакал, остановился рыжий конь, сполз с него окровавленный инок Антипа, прохрипел, держась за конскую шею:

— Владыко! Беда! Нехристи идут по берегу...

Молитва разом утихла. Тревожный говор поплыл в толпе. Кто впереди шел, к Антипе сунулись, на епископа с надеждой взирали, растерянные, испуганные тенью беды, внезапно упавшей на их голову. Епископ оглянулся — передовой плот к берегу привалил, еловые лапы шевелились на нем...

— Люди! — воззвал епископ, десницу воздев. — Люди! Язычники идут на нас. Бегите за монастырски стены! Да оградит вас бог и мужество ваше!

Слова сквозь звон колокольный дошли, хлестнули толпу, ошеломили жутью и внезапностью. На миг все замерло. Вдруг из-за спин клира ринулась старуха:

— Спаси нас!

— Встань! — поднял и оттолкнул ее епископ. — Бегите, люди! Я, владыка ваш, велю! Бегите!

Вопль толпы взметнулся навстречу праздничному звону. Старик видел, как падают хоругви и священники утекают, путаясь в длиннополых ризах. На истоптанной

траве лежит Евангелие, раскрылась священная книга, ветерок шевелит желтоватые листы...

Но отрок, послушник монастырский, темноглазый, с крутыми, как у епископа, черными дугами бровей, забыв про чин, ухватил за рукав владыку:

— Спасайся, отче, бога ради!.. Скорей же, отче!

— Не трать время, беги! — строго сказал ему старик.

— Владыко... — прохрипел инок Антипа. Он все еще висел на шее коня, будто опасаясь пасть на землю, с которой не подняться уже. — Садись на коня, владыко...

— Здесь мне остаться надлежит, — твердо сказал старик, покойно. — Да приведет господь свершить то малое, что еще в силах моих. Вы ж скачите... Арсений, ты... — он порвал тонкий шнурок на шее, со крестом висевший. — Возьми ключ, Арсений. В келье моей, за образами, шкапулка, в ней пергамент, для тебя писанный. Чти тайно и огню предай не мешкая. Иди, сыне.

— Владыко, дозволю с тобою быть!

— Беги, велю. Скажи от меня стрелецкому голове, пускай спасает город и людей. На коня! И ты, Антипа...

Но руки инока скользнули по мокрой шерсти коня, лег он у ног владыки.

— Не усiju. Не ездить боле... Тяжко мне, владыко!

Старик ударил ладонью коня. Отрок, оглядываясь и плача, умчался к городу.

Люди бежали, по лугу рассеявшись, под праздничный еще звон. Наконец захлебнулись колокола и тотчас вновь ударили, по-иному, набатно.

Плоты подгребали к берегу, прыгали с них воины. Передние уже взбегали на холм, близко они. У ног старика стонал, кашлял кровью, мучился Антипа. Старик нагнулся, возложил ладонь на темя иноку:

— Мир и благодать душе твоей, храбрый инок. Несть более на тебе грехов земных, ибо искупил все подвигом за народ твой.

Антипа судорожно вздохнул и затих, успокоился.

Воины показались на холме. Епископ выпрямился, раскинул руки, словно загораживая ими Усть-Вымь, и крикнул по-вогульски:

— Стойте, воины!

Замешкалась орда, оторопела. Если б русский старик бежал, спасался — первый настигший воин ударил бы, заколол, богатую одежду сорвал. Но словно крепостная башня стоял пред ними Большой Шаман, величественно,

неустрасимо. Изжелта-седая борода покоится на белоснежной омофоре, сверкает рубинами и сапфирами золотой крест, панагия на груди. Из-под низко надвинутой митры строгие глаза оббегают лица воинов, и нет в этих глазах страха. У ног белеет обнаженное тело инок.

— Стойте, воины! Где окс ваш?

От реки все набегали, напирали, орда медленно двигалась, охватывая епископа полукольцом. Но яркая одежда, властный взгляд, непонятное бесстрашие Большого Шамана, неведомое его колдовство держали, сковывали. Почему не бежит? Почему не боится?

Два крепкотелых богатыря-одира раздвинули воинов, окс вышел вперед. Задохся он от бега, на темных скулах румянец, узкие глаза, как у сытой рыси, усы вздрагивают — доволен окс, враг у него на острие копья, ах, хорошо! Сказал вкрадчиво, будто рысь весной мякнула:

— Я окс Пелыма, я Асыка. Драстуй, бачка Большой Шаман.

— Здравствуй и ты, Асыка. Зачем привел воинов? Разве мирные люди Усть-Выми мешают охоте твоей на Пелыме?

Окс языком щелкнул, головой покрутил:

— Плоха охота, шибко плоха — ты близко, наши тормы сердятся, зверя прячут, рыбу прячут. Вот пришел, узнать хочу, силен ли русский бог.

Выбежал вперед потный колдун Пама, ухватил князя за рукав, новгородским галуном расшитый:

— Зачем говоришь с ним?! Убей!

Асыка отодвинул его локтем. Не надо торопиться. Большой Шаман — не ушкуйник с кистенем, он большой враг, его просто так убить мало, обидно. Асыка поговорит, потом убьет. Пусть по тропам, по рекам, в самые дальние стойбища — паули — бежит молва, какой смелый и удачливый князь Асыка, пусть никто не колеблется, когда позовет он в набег, потребует дань — ясак.

— Русский бог слаб, как старая женщина, — жмурится Асыка. — Гляди, Большой Шаман, гляди! Эй, вы!

Одиры вытолкнули вперед востропанного попа, и тот бухнулся на колени. Не сразу епископ узнал отца Евтихия: пожелтело, оплыло лицо, все в нем умерло, один страх трясется непрерывно. Не этот, другой отец Евтихий призывал вчера в крестовый поход на язычников...

— Ты любишь предателей, Асыка? Тогда возьми его себе. Но гляди и ты, Асыка, — старик указал под ноги

себе.— Вот лежит мирный человек, убиенный. На теле его рубцы от кнутов московских. От тягот в леса бежал. Но что обрел? Пошто убили его воины твои? Отнимал ли зверя у остяков? Разорял ли паули вогульские? Асыка, пошто обиды чинишь людям незлобивым? Достойно ли храброго убийство слабых?

Асыка засмеялся:

— Почему твой бог не защитил его? Твой бог сам слаб, он и тебя не защитит, Большой Шаман!

— Я стар, Асыка, смерти не страшусь. Но уведи воинов, не тронь Усть-Выми.

...Колдун Пама возник откуда-то слева. Из рук ближайшего воина выхватил он лук, из колчана — стрелу, шепча заклинания, натянул тетиву, припал на колено — всего в нескольких шагах красная одежда...

— Скажу тебе, князь Асыка...

...Еще зорек глаз, тверда рука старого Памы — глубоко вошла стрела. И точно тугой сагайдак, напряглась подкова орды.

Но устоял епископ, только плечи от боли назад погнулись.

— ...Скажу тебе, Асыка: уведи воинов, ищи добра и славы с Великой Русью в союзе...

Слабея, повернулся старик лицом к набатному звону, к стенам Усть-Выми... Успел, увидел, как из лесу мчатся татарские конники, уже визг и гиканье слышно. Вот выходят из ворот стрельцы и — расступаются: у ворот уж бегущие под защиту стен люди и среди них отрок на рыжем коне... Увидел и опустилс я наземь, будто кланяясь лугу, лесу, городу. Сник рядом с иноком Антипой.

Опомнилась орда.

— Зачем медлишь, князь?! Ясырь уходит!

Асыка в досаде скрипнул зубами: Большой Шаман опять перехитрил, опутал словами в свой последний миг. Воины хлынули к городу, опасливо обегая тела инок а и епископа. С визгом вертелись на конях сибирцы, сдерживаемые стрелецким дружным заслоном, бесновался Юшман — напрасно таились, не будет легкой добычи...

А на холме плясал Пама, пузырилась пена на синих губах, и торжествовали с ним лесные тормы. Поодаль, забытое всеми, валялось истоптанное тело попа Евтихия.

Было сие августа в 19 день 6963 года¹.

¹ 6963 года — 1455 года по современному летосчислению.

Мурза Таузак



Темна туринская тайга, непролазны буреломы и топи. Только зверь проберется, за ним охотник-вогул пройдет, больше никому не пройти.

Одна в чащобах здешних дорога широкая — река Тура. По реке мена-торговля, слухи-новости, кому добыча, кому беда притекает.

Издавна слышит Тура голоса человечьи. Пел бедный татарин, рыбу промышляя, грустная песня — как жалоба аллаху. Молил богов-тормов вогульский охотник — заунывный наговор дрожал над водой, как листва осин. Плакали русские молодухи и девки, из разоренных пермских сел в сибирский полон увозимые, — билось их горе в глушь берегов.

А такого не слыхала Тура — смелый басовитый говор над водой, голоса вольные, непугливые. Несет Тура покорно, несет на восток не виданные дотоле лодки-коломенки, да лодьи-набойницы, да плоты сосновые, и глядят угрозно в берега пищали да ружья чужих людей.

Далеко впереди три узкие долбленки ертаульные-дозорные — с есаулом Яковом Михайловым да проводниками-вогуличами. А за ними в полуверсте лодьи боевые с казаками, с тремя пушками медными. На головном струге под хоругвею сам атаман Ермак Тимофеич с есаулами Иваном Кольцо да Никитою Паном.

Без шелома сидит атаман, волосами темен, очами удал, ликом пригож да приветлив. С пленным вогульским князьцом беседу ведет ласково, хлеб-соль с ним разделяет, своею рукой чарку вина подносит. Доволен князец, глаза узкие красновекие замаслились. Сказывает через толмача про земли, воды и народы здешние.

А позади плывут барки да плоты со свинцом-порохом, припасом ратным, походным от именитых людей Строгановых. Да за ними коломенки охранные с есаулом Матвеем Мещеряком, с казаками пищальными.

Бьют в тайгу мерные звуки — литавры гребцам взмах отбивают, чтоб веслом дружней работали. Позади у казацкой дружины многие версты пройденные, победы славные над мурзами Епанчей и Алышаем. Впереди

блестит под осенним солнцем река Тура, словно сталь, Сибирью кованная, ведет их Тура на новые сечи. А тайга уж ржавчиной местами подернута — желтеет лист, березы пригорюнились, зиму чуя.

Атаман расспрос ведет про сибирские пути, про татарские городки. Чертит на бересте угольком речную дорогу на Искер — стольный град хана Кучума. Толмач переводить еле успевает. Вогульский князец в оленьем кафтане, без шапки. Все атаману рассказывает, улыбкою щерится и косит узким глазом на Никиту Пана, что за спиной его пистолетом бесечно поигрывает, сапогом литавренному звону подстукивает.

Прилез к ним Иван Кольцо:

— Прервись, Тимофеич, балакать с нехристом. Поп наш Аким тебе челом бьет. Недужит поп от раны лучной, шибко мается, кабы не помер. Ныне ж, говорит, сентября девятый день, память святых Акима да Анны, нашего попа, стало быть, день Ангела. Того ради просит на берег бы сойти, молебен сотворить. На воде, грит, молитва не крепка.

— Добро, будет попу молебен. Одначе пущай повременит. Придем в Искер, тогда заедино все молитвы отслужим, кому во здравие, кому на помин души. Пущай поп терпит, не помирает; не время молебствиям сейчас. Поди, Иван, не мешай.

— Погодь, ты глянь, лодка от ертаула бежит. Должно, Яков вестей каких шлет.

Подплыла долбленка, десятник в ней и двое гребцов. Десятник на колено привстал, за лодью ухватился.

— Атаман, видать впереди устье речки, которая в сию Туру втекает. Вогулы бают, Тавдой прозывается. А у того устья татары конные да пешие, а сколь их, не сочли за деревьями. Что велишь?

Ермак сказал ближней лодье:

— Эй, тишину блюсти! К бою изладиться!

Пронеслось от лодки к лодке, от плота к плоту:

— Атаман велел, тихо чтоб...

— Без шуму плыть, братцы!

Смолкли говор и литавры.

— Передай Михайлову, чтоб свару не затевал, с опаской мимо тех татар прошел бы, боем пищальным не отвечал им. Ты ж, Иван, веди сотню свою на берег. А будет надобно, другие сотни пособят.

Ертаульная долбленка отошла, гребцы на весла на-

легли. Есаул Кольцо, коломенку соседнюю подманив, ловко в нее скакнул, повел сотню на берег. В сподручном месте вылезли, двинулись пеше, чрез береговой кустарник саблями прорубились, цепью разбежались.

Тайно подойти не вышло — татары лодки видели, казацких сабель не спужались, встрели на поляне достойно. Сеча содеялась малая да удалая: ихних десятка четыре, казаков помене. Луков татары не вынимали, в сабли ударились, казаки тож пистолы за поясом держали. Да грянули тут с реки ружья конникам с правого боку. Забились испуганные кони, покатались с седел пулями срезанные, иные в страхе аллаху молятся, к кустам пятятся. Вдругорядь ружья грянули — кто пеший, в чащобу хоронится, кто конный — в редколесье мчится. С десятков конников казаки саблями на берег потеснили, а с реки уж лодки близятся, пороховым дымом клубясь.

Атаманова лодья в сажени от берега о дно уперлась носом. Глядит Ермак на сечу, стрелять боле не велел, без того сибирцам отходная молитва спета. Однако лихо рубятся! Особо мурза, хотя и старик с виду, борода белая. Шапка на нем соболя, халат из ткани дорогой, конь горяч, седло красного сафьяна, сбруя в серебре. Видя гибель неминуемую, бьется яро, сечет тяжело, звенят под его ударами казацкие шеломы.

— Кто всадник тот? — вопрошает Ермак у вогульского князя.

— Сборщик ясака ханский, мурза Таузак.

— Сто-ой, робяты! Не тронь татарина!

Надвинул атаман шелом поглубже, откачнулся, примерился. Гей! — перемахнул на берег.

И оказал атаман честь бойцу татарскому. Вскочил на коня, чей хозяин в кустах лежал. Саблю обнажил и противу мурзы выехал.

— Посторонись, робяты!

Легок в седле атаман, но тяжела его рука. Мурзе близкая смерть отвагу дает безоглядную. Сорок лет Ермаку — мурза в годах почтенных. Казацкий вожак в чужом лесу — татарин хозяин тут.

Казаки отшагнули чуток. Окруженные татары сабли приопустили. Глядят.

Недолго глядели: споткнулся татарский конь о мертвое тело, не уберегся мурза, ударил атаман плашмя саблей, выбил из морщинистой руки кривой сибирский

клинок. Завизжал татарин, кинулся с поясным ножом, да скрутили его, усмирили.

Велел Ермак доспехи подобрать, мертвых зарыть поодаль, а на поляне табор ставить.

— Пушай молебен справят, раз тако дело. Ты, Яков, вокруг стана караулы наряди, чтоб гости незваны отдыху нашему помехи не чинили.

— Пленного мурзу куды девать, Тимофеич?

— Мурзу берегчи, никакой обиды ему не чинить. Старик сей в драке был молодых изрядней, сборщик податей к тому ж. Таких беркутов в клетку нашу до сей поры не залетало. Ужо маленько охолонет, говорить с ним стану. Да вели, Иван, такого гостя ради шатер поставить, негоже ханского боярина у костра потчевать.

Задымилась костры многие на берегах Тавды, на поляне той, где сеча краткая свершилась победно. Сумерек осенних недолго ждать, торопятся казаки: кто с туринского берегу припасы тащит, кто ветки для ночлега рубит, кто в артельном котле кашу уж мешает. Попа Акима с лодьи товарищи на руках снесли к табору, уложили на пихтовые хвои, накрыли зипуном от речной сырости. Тут же к сосне прислонили большую икону — дар церкви соликамской. Свечечки восковые в мох воткнули, затеплили.

— Вот тебе, батя, и церква — святее не бывает. Молись и не помирай, бога ради, ты у нас поп веселый и в бою молодец...

Когда пали на тайгу сумерки, уgomонился казацкий стан и слышать стало, как шепчутся Тура с Тавдой, — мурзу пленного, факелом путь освещая, привели в шатер.

— Входи, мурза, — привстал навстречу ему атаман. — Милости прошу к нашему шалашу. Толмач, скажи, пушай садится вон на мягку рухлядь, супротив меня.

Татарин поклонился с достоинством, сел. Без страха и гнева оглядел старик молодого супротивника, чужеземного атамана. Ермак тоже беседу начинать не спешил. Пленника с одобрением разглядывал.

— Исполать тебе, мурза, добрый ты воин.

— Не воин я, сборщик ясака.

— Тем боле чести тебе, что бился храбро.

— Разве не храбро бьются русские, когда приходит враг на землю вашу?

— Правда твоя, старче. А все ж враги на земле рус-

ской великие разорения творят. Казаки ж тех не обижают, кто встренет добром. С мирными татарами, с вогуличами хотим мы в ладу жити, торговлю вести.

— Рысь мурлычет, играя пойманным бобром, только бобру от того не веселее.

— Так развеселись, старче, нашим гостевым обычаем, — налил Ермак вина до краев в чашу серебряную, у купецкого каравана с бою добытую на Волге. Поднес пленнику. — За храбрость твою, боярин ханский, почет оказать хочу. На-ко вот, осуши... Да не печалься, что повязали тебя ныне — мало ваших людишек было, плетью обуха не перешибешь.

Таузак чашу принял, поклонился и назад вернул:

— Аллах запрещает пить хмельное зелье.

— Но-о? Что ж, коли гость не приемлет, то и хозяину негоже пити. Откушай нето оленины. — Толкнул толмача-остяка, который на чашу с вином воззрился умильно: — Ну-ка, доведи ему: пушай поведает нам про хана, про войско. — Повернулся к пленнику: — Ты, поди, всю Сибирь за долгу жизнь изъездил, ясак выбиваяючи, поведай, сделай милость, за все про все. Все одно казаки на Иртыш придут, ханский град Искер повоюют. Да ежели пути нам будут ведомы — лишней крови не прольется. Сказывай, мурза.

Не надеялся Ермак, что со страху пленник все тайны сибирского воинства, путей да крепостей к его ногам выложит — не таков, видать, сей мурза. Но отчего бы и не спытать? Авось ненароком слово нужное обронит.

Долго сидел Таузак, на червленую чашу глядя. Тонкие губы шевелились то ли в молитве, то ли в проклятиях.

— Хорошо, урус. За привет твой, за то, что крови лишней не жаждешь, слушай. И да откроет аллах воину дерзкому врата разумной осторожности.

Рассказывал Таузак о просторной сибирской земле. От Тобола до верховьев реки Оми крепко стоит ханство Кучума. Вогулы, зыряне, остяки, самоедь с низовьев Оби и Барабинских степей кочевники покорно несут хану ясак. Богата земля зверем и рыбою, но дремучи здесь леса, непроходимы болота, погибнет в них чужой человек.

Рассказывал о мудром хане Кучуме, что правит в неприступном городе Искере. Всех врагов победил могучий хан. Он убил бывшего хана Едигера и брата его

Бекбулата, копыта его конницы растоптали непокорных, сабли его воинов раздвинули широко пределы владений. Скажет Кучум слово — встанут тысячи, тьмы данников и сотрут неверных с лица земли.

Рассказывал о непобедимом царевице Маметкуле, что не раз водил удальцов в набеги на смежные земли, брал крепости Великой Перми, и дрожали враги от одного имени его.

Аллах велик, непобедима Сибирь.

Внимал атаман речам мурзы, торопливому говору толмача. Когда остяк кончил переводить и сизнова на чашу устался, Ермак выждал, спросил:

— Что скажешь еще, Таузак?

Пленник поднял голову, глянул атаману в глаза.

— Еще скажу: не ходи на Сибирь.

— Вон как! Пошто?

— Зачем тебе Сибирь? У тебя Россия есть.

— Россия есть... — усмехнулся Ермак. — Да нету нам туда возврата. Там купцы да бояре встренут с радостью, под руки поведут на плаху. Так пушай лучше я хана повоюю, чтоб неповадно было за Каменный Пояс набеги чинить, российских мужиков побивать, девок наших в неволю тащить. Вишь, мурза, какие дороги у казака: впереди, ты баешь, погибель, позади, я знаю, погибель тож. Так уж краше — вперед: либо голову сложить, либо на Сибири вольно жить. Так-то!

Таузак протянул к нему руку:

— Не примет Сибирь урусов! Гляди, вот мы сидим рядом. Хоть лето и минуло, да тепел сегодня вечер — мошка в шатер налетела. Тебя поедом ест. Меня не трогает. Кто же хозяин здесь?

У Ермака блеснули весело зубы под черными усами:

— Комаром пужать вздумал! Да хошь бы тут волки летали, русский казак не робок.

— Не о комарах речь! — повысил голос Таузак. — Что татарину — родина, то урусу — смерть. Не примет Сибирь, нет вам жизни в ней.

— Ништо, подумает да примет. Казак тем хорош, что ему не много надобно: хлеба кус, квасу жбан да каку ни на есть бабу — он и жив в любой земле. А ежели еще и ковш браги — песню заиграет. Нет, мурза, о казаке не горюй, выживет.

— Урус, была тебе сегодня легкая победа, потому хвастливы речи твои. Но подумай, атаман. Дальше зай-

дешь — поздно будет думать. Отсюда по Тавде через Камень лежит на Русь короткая и легкая дорога. Там ваш дом, а впереди воины ханские. Я дам надежных провожатых...

— Э, казаку везде дом. Смерть же и на Руси, и в Сибири едина. Только смерть на плахе позорна есть, смерть в бою — атаману честь. Однако, хитро ты нас отсель спроваживаешь! Кажись, про ханские дела нас ведомил, а вышло — домой выпроваживал! Толков у Кучума сборщик податей! Ну, будя. Иди с миром, отдыхай у нас, покуда табором стоим. Авось поймешь: коли казак на бой идет — назад не оглядывается. Эй, робяты! Отвести татарина в шатер его. Да глядите крепко, чтоб не убег, — с него станется, зело хитер. Ко мне есаулов зовите.

Три дня стояли на Тавде казаки. Раны залечивали, лодьи подсмаливали. Когда изготовились дале идти, позвал Ермак мурзу.

— Добро ли гостевал на моем стане?

Мурза поклонился в пояс. Есаулы переглянулись: диво! Прежде татарин едва кивнет собольим малахаем, а тут эвон...

— Видел ли ты, Таузак, таких казаков, кои бы на Русь от боев убежь ладили?

— Атаман, сердца их остались в родном краю, песни о том говорят. Но помыслы сумасбродные влекут их на восток — о том говорят наточенные сабли.

— Так прощай, нечаянный гость. Ныне дороги наши хошь и в одно место, да поврозь. Скажи хану твоему: на сей раз не московски стрельцы — вольны казаки к нему жалуют. Коли откроет пред нами ворота стольного града, покорится Руси — другом будет. Меч подымет — врагом станет, и тогда пушай рассудит нас бранная удача. Еще передай ему поминок мой — на кафтан сукна доброго. И тебе, Таузак, поминок есть, халат узорчатый. Бери. Бог даст, свидимся еще. Робяты, ведите коня его.

Снова поклонился в пояс мурза и вскочил в сафьянное седло.

— Аллах велик! Человек же не ведает, с кем увидится завтра. Прощай, атаман.

Тронул коня каблуком. Неспешно и достойно проехал

мимо казаков, по редколесью, и приняла его тайга.

Едва скрылся за чащей казацкий стан, сорвал Таузак с седла дареный халат, скомкал, отбросил в гущу ельника, пригнулся к конской гриве и погнал в галоп.

2

Хан с юности любил развлечься охотой. И теперь, в годах весьма уже преклонных, выезжает он погожими осенними днями из столицы своей с придворными, с собачьими сворами да охранной сотней, чтоб отдохнуть на просторе равнинном от дел государственных.

Кучум не желает верить, что прошло его золотое время... Но о том напоминают немощи многие. Был когда-то удалым джигитом — теперь со стоном затаенным садится в седло. Как ястреб, зорок был — теперь лица придворных словно в вечернем тумане. Не знал усталости — теперь к непогоде ноет тело.

Но сердце хана не устало биться, сердце не хочет старости. И едет, едет он, скачет, коня резвого горяча, по равнине прииртышской, рыщет в перелесках, в камышах озерных. Когда он в седле, стыдливо отступают недуги. Когда любимый конь несет его вслед добыче, зорче становится взор. Звонкая осенняя заря прогоняет усталость лет. И придворные громко дивятся на ловкую посадку, твердую руку великого хана.

Когда же окончена охота — снова стар и расслаблен, уходит в походный шатер угасающий старик, пытаясь не показать своей немощи.

В то утро ясной была заря. Но с полудня нахмурилась погода, зябкий северный ветер тревожил воды Иртыша. Зверье укрылось в чащах, притаилось, неудачной вышла охота. Мрачен хан. Нездоров. Ноют суставы, слезятся от ветра глаза. Велел возвращаться к охотничьему биваку, к шатрам на берегу Иртыша.

Но и в шатре неуютно ему. Угрюмо сидит на подушках из лебяжьего пуха. Слушает, как придворные в утеху ему вспоминают прошлых лет охоты добычливые, волков, оленей, лис затравленных, и ловкий удар великого хана, и верный полет его стрел, и стремительный лет его коня. Слушает Кучум сладкие речи, и только больней от них. Маленькими глотками пьет горький отвар из тибетских трав, приготовленный Богаэтдином, лекарем из Самарканда. Придворные проголодались на

охоте, жадно едят нежное мясо молодого олешка, чавкают... А он пьет горький отвар.

В шатер вошел сотник дворцовой стражи.

— Великий хан! Из тавдинских лесов прискакал мурза Таузак. Шибко торопился, коня сгубил. Просит милости тебя, хан, лицезреть. Важные вести сказать хочет.

Придворные приутихли. Знали: повелитель Таузака недолгобливает, усил его в дальние леса дань собирать, чтоб от Искера был подале. Таузак прям и упрям. Он молчит, когда другие восхваляют повелителя, он говорит, когда другие боятся вымолвить слово. Ай, не вовремя прискакал Таузак — повелитель ныне мрачен сидит.

Хан сказал:

— Если с малыми заботами он пришел, пусть ждет нас в Искере. Если от скорых вестей его ханству нашему польза, пусть войдет.

И вошел Таузак в шатер. Приник к ковру в земном поклоне. Халат его в пути ветками исхлестан, порван, сапоги грязны. Негоже этак приходить к владыке. Придворные свысока глядят. Но Кучум, отхлебнув из бухарской чаши отвар, сказал без гнева:

— Не ждали тебя так рано с Тавды. Или весь ясак у вогулов с избытком собран? Тогда садись, выпей кумыса и порадуи наши сердца благоприятными вестями.

Старый мурза Атик подвинулся на ковре, налил в чашу кумыс. Таузак сел, но к чаше не притронулся.

— Говори, — кивнул хан.

— О властитель Сибири! Нечем мне порадовать ханское сердце. Не ясак привез, худые вести привез. Но чем раньше хан их услышит, тем меньше бед в Сибирь придет.

Придворные жевать перестали.

— Идет сюда русский атаман Ермак, несет ханству горе. Он остер в ратном деле, храбры его казаки. Татарские воины, что со мною на Тавде были, побиты все, и меня схватили враги. Но милостив аллах — урус Ермак отпустил меня. Прислал он подарок тебе.

Таузак оглянулся — вышел вперед нукер, у ног хана положил сверток алого сукна. Кучум нагнулся, ощупал сукно, край его к глазам близко поднес.

Мурза Атик прошептал на ухо Таузаку:

— Недужит хан, остерегись хвалить уруса...

Кучум брезгливо оттолкнул сапогом Ермаков подарок.

— Мы слышали об этом бродячем волчонке, который зовет себя атаманом. Видно, слаб Московский царь Иван, что не мог сам повесить вора, ко мне послал. Хорошо, мои воины сделают это. Что видел ты у русских, Таузака?

— О повелитель! Аллах милостив к тебе. Но сильна и опасна дружина Ермака. Когда стреляют они из саадаков своих железных — огонь пышет, дым исходит, и грохочет гром, а стрел увидеть нельзя, но они уязвляют ранами и побивают смертно, нет защиты от них, не задержат их ни панцирь, ни кольчуги, ни бехтерцы наши, ни куяки — все навывлет пробивают...

Кучум насупился. Но Таузак продолжал:

— Саадаки те зовутся ружьями. Но и не они страшны. Страшна безмерная отвага казаков. Позади у них — петля и плаха, впереди — все богатства Сибири. Их можно убить, но остановить нельзя. Убить же нелегко: они привыкли к сечам...

В больных глазах Кучума полыхнул гнев, словно первые языки пламени в дыму начавшегося лесного пожара. Мурза, сидевший слева от Таузака, отодвинулся. Сидевший справа Атик снова прошептал:

— Остерегись, друг...

Но Таузак продолжал:

— И есть третье оружие у Ермака. Берет он у остяков и вогулов только то, что потребно ему в походе, но не берет лишнего, не уводит их детей и жен, не сжигает богов деревянных. И вчерашние данники твои ищут у него защиту и справедливость.

Мурза Атик вздохнул и отодвинулся. Но Таузак продолжал:

— О повелитель, взгляни в глаза правде! Ханство твое не готово отразить сильного врага. Городки наши не имеют стен каменных, только валы земляные с неглубокими рвами, да и те обвалились из-за небрежения мурз-правителей. У нас нет ружей. Наши воины привыкли к легким набегам на беззащитные русские улусы, но дрогнут от невидимых стрел, грома и храбрости казаков. Данники в сече ненадежны.

Сидевший слева придворный втянул голову в плечи, пополз на четвереньках подальше от упрямого Таузака.

— Хан Кучум, не губи напрасно татарских воинов!

Вышли навстречу казакам послов с богатыми подарками. Лестью, притворной покорностью задержи их на Тоболе, нельзя пустить их на Иртыш. Не жалея дорогих куниц и соболей, этим спасешь Сибирь!

Таузак умолк. Шептались придворные, пальцем на него показывали друг другу. Кучум полулежал на атласных подушках. Одышка давила ему грудь. Самаркандский лекарь, ученейший молла Богаэтдин, поднес к его бескровным губам чашу. Глотал Кучум горький отвар, вдыхал пахучий пар. Дышать стало легче, оттолкнул руку Богаэтдина, отер лицо рукавом. Сказал:

— Смотри, Таузак, вот сидят наши достойнейшие и преданные мурзы. Спроси их: кто такой Ермак?

Тотчас поднялся главный советник Карача.

— Ермак — хвастливый и глупый пес, бежавший от немилости хозяина! Только трус или изменник может хвалить Ермака!

Зашумели мурзы:

— Пришедший за смертью получит ее!

— Наши аскеры забавляясь перебьют неверных!

— Отощавший волчонок будет раздавлен копытом ханского коня.

Царевич Маметкул простер к Кучуму руку:

— Отец наш, прикажи — и я утоплю урусов в Тоболе!

Советник Карача, жирный, в расшитом халате, улыбкой ехидной растянул толстые губы:

— Великий хан! И вы, мудрейшие! Таузак заскучал в тайге, сюда прибежал, он хочет быть умнее всех! Он хочет показать, что мы... — Карача обвел кругом руками, — ...мы не достойны исполнять волю повелителя, и сам великий хан, да-да, сам наимудрейший господин наш изволил ошибиться, приблизив нас к себе! Наверно, Таузак полагает, что нас следует послать собирать ясак, а его назначить главным советником, чтобы он отдавал урусам тот ясак, который мы соберем хану!.. — голос Карачи возвысился до крика.

Кучум слабо кашлянул — все смолкло.

— Урус отпустил тебя из плена, — сказал Кучум. — Может быть; и нам отпустить тебя? Иди служи урусам, если аллах обошел тебя храбростью.

Глядя прямо в слезящиеся глаза Кучума, Таузак ответил:

— У меня нет бога, кроме аллаха, и нет повелителя,

кроме великого хана Сибири. Но я рассказал правду. И снова повторяю: откупись богатыми дарами, тогда казаки, возможно, уйдут. Если же суждено начаться неравному сражению, я готов доказать, что рожден в Сибири...

— Нет,— сказал Кучум.— Нам не нужны мурзы, восхваляющие врага. Ты умрешь не от урусской сабли.

Карача крикнул:

— Эй, Таузак, уж не целовал ли ты крест неверных? Властитель Сибири мудр и непобедим, это всем известно, а ты сомневаешься! Ханские воины в смелости не знают равных себе, а ты пугаешь нас жалкой кучкой оборванных бродяг! Медведь не сражается с хорьком, он просто давит неосторожного, проходя по тропе. Таузак, ты изменник и достоин смерти!

Царевич Маметкул бросил баранью кость в лицо старому Таузаку:

— Ты трус!

И каждый из придворных посчитал благоразумным выкрикнуть что-нибудь о трусости, измене, коварстве сборщика ясака. Даже мурза Атик, не подымая глаз, крикнул:

— Смерть ему...

Кучум глубоко вздохнул несколько раз— горячий отвар из тибетских трав помог одолеть слабость.

— Ты слушал, презренный, что говорят достойнейшие? Не может быть так, чтобы все ошибались, а один говорил правду. Ты нам лжешь, Таузак.

— Но...— возразил старик.— Достойнейшие говорят о том, чего не видели. Я сказал о том, что видел.

— Довольно! Нам не пристало слушать твое карканье. Эй, возьмите этого умника! Пусть его голова украсит подарок урусов.— Кучум пнул сверток присланного Ермаком сукна. Под сапогом хрустнула фарфоровая чаша, целебный отвар разлился у ханских ног.

Сотник, стоявший уже за спиной упрямого мурзы, схватил его за ворот халата.

— Не заботься обо мне, батыр,— сказал ему Таузак.— Устал я на длинном пути, но еще могу сам подняться.

Поклонился хану и пошел из шатра. Никто из придворных не осмелился обвинить смертника в новой дерзости.

Синие полосы дыма стелются меж шатрами, тянутся

к реке. Сосны заслоняют охотничий стан от холодного ветра, качают лохматыми шапками. На обрывистом берегу сосен нет, далеко видна отсюда хмурая под серым небом тайга. Туда, на берег, указал сотник обнаженной саблей.

За шатрами на пожухлой траве лежит загнанный рыжий конь. Таузак склонился над ним, погладил остывшую длинную шею.

— Прости, друг. Напрасно мы торопились.

Внизу сердится Иртыш, катит на берега серые волны.

Бросил сотник алый свиток урусского сукна — будто огнем охватило желтую траву...

— Повремени, сынок,— молвил Таузак сотнику.— Позволь вознести молитву аллаху.

— Молись.

Старик преклонил на сукно усталые колени.

— Аллах акбар! Ты милосерден к детям твоим, о аллах, спаси ханство! Кучум слеп глазами и слеп разумом. Как вино — утеху неверных пьет он сердцем слова пустые, но сладкие. Кучум не хочет правды, и тем он слаб. Урус Ермак идет навстречу смерти с открытыми глазами и тем силен. Аллах, защити Сибирь!

Коленями на алом стоя, он прикоснулся лбом к желтой родной траве.

— И еще молю... Я умру сейчас. Но и после меня будут жить люди. Пошли мужество тем, кто отважится среди сладкой лести горькую правду сказать властелину...

Сотник оглянулся на шатры:

— Прости, мурза, но хан не любит ждать.

— Я готов, батыр. О аллах, защити Сибирь от лести и врагов! Защити мою Си...

Последний шатер атамана

Легенда



Года 1584, августа в 13 день подымалась над Иртышом заря чистая и ясная, как молитва святого. Прибрежные черемухи, и осинник в логах, и березняки на угорьях не тронула еще желтизна, и полнится могучая зелень зрелыми соками. Блаженствует царственная тайга, возносит к небесам ароматы свои, каждая ветка, и травинка, и птаха славят прекрасный этот мир, зарю, жизнь. Благодать лежит на Иртыше летним утром.

— Ай, якши! — щурится, улыбается утру рыбак, татарин из Епанчинских юрт, Якиш, Бегишев внук. Руки его привычно веслом гребут, или перехватывают бечеву перемета, или бросают рыбку на дно лодки, а губы тихонько поют.

Затемно вышел он из бедной землянки своей. Чуть брезжило, когда садился в узкую долбленку, выгребал против течения на заветные места. Сейчас утлая его лодчонка плавает в свете, в заре, отраженной гладью вод. Время раннее, но уже две дюжины хороших рыб на дне лодки. Он поймает много-много рыбы и отдаст треть Кайдаулу-мурзе, остальную возьмут торговые люди, взамен маленько зерна дадут, соли дадут. Самую маленькую, плохую рыбку домой принесет Якиш. Баба сварит уху. Якиш наестся. На крышу землянки залезет, будет лежать на старой кошме, будет дремать и думать о приятном. Что вот он, Якиш, удачливый рыбак, он сыт, и баба сыта, и ребятишки. И мурза доволен, не бьет Якиша. И утро сегодня было чистое, ясное, как молитва святого.

Он один на реке. За клубящимся зеленью мысом не видать Епанчинских юрт и других лодок, других рыбаков. Никого не видать, один он. Тут места его заветные. Тут ловил рыбку еще дед Бегиш. Да ниспошлет его душе всемогущий аллах сытые дни в стране мертвых. Где-то здесь, наверно в осеннюю бурю, взял себе Иртыш отца Якиша, — давно, когда Якиш совсем маленький был, в берестяной люльке спал. Сегодня тихо здесь, хорошо. Меж берегов заря ласкает вольный речной простор. Смотри кругом, любуйся, ни о чем худом не думай. И пока-

жется тогда, что и вся жизнь — вольная, просторная, солнечная... Чуть слышно, для себя, поет Якиш..

Правый берег зелен, кудряв. Воды Иртыша здесь медлительны, ленивы. Вот заливчик с омутом глубоким, в нем любят отдыхать большие жирные лещи. Якиш положил весло, дотянулся до берестяного поплавка, стал бечеву выбирать. Легка бечева, ай, совсем легкая... Якиш петь перестал: мало рыбы сегодня принес перемет. Худо. Зачем петь про худое...

Сильно плеснуло под берегом, Якиш вздрогнул даже. Щука гуляет. Жирных лещей распугала — убежали. Надо выбирать перемет, в другое место бросать. Якиш покачал головой, языком поцокал, поглядел с обидой туда, где щука плеснула.

— Вах! Что там чернеет?

Якиш привстал. Лодчонка дрогнула, поворачиваться стала кормой к берегу, и с нею поворачивался Якиш спиной к берегу, а глаза так и смотрят, как смотрели в то же место... Вах!

Мочит ива ветви в заливе. В воде под ветвями две ноги в сапогах русских. К той иве медленная вода несет лодку Якиша, волочится следом бечева перемета. И как пелась песня сама собой, так с губ молитва сама собой:

— Вах, Иртыш-батюшка, добрый кормилец! Я бедный рыбак Якиш, ты меня знаешь. И отца моего знаешь, себе его брал, когда сердит был. И Бегиша, деда моего, знаешь. Ты принес сюда утопленника, неверного уруса. Иртыш-батюшка, не сердись, дозвожь бедному татарину взять себе сапоги уруса, кафтан его... Худо покойника обижать, только он ведь не татарин, он неверный. Сапоги продам, новую снасть куплю. Не сердчай, Иртыш, не гневайся.

Бормоча, на иву оглядываясь, собрал Якиш перемет в лодку, весло взял. Мертвых он побаивался. Мертвый человек — все равно человек. Однако Иртыш, рыбы не дав, принес же для чего-то в омут утопленника? Кабы не бедность, так плыви себе, урус... Вах! И боязно, и новую снасть шибко надо.

Бросил весло, протянул руку, ухватился за гибкие ветви. Позади опять плеснуло — Якиш вздрогнул, съехался. Ничего, то щука ходит. Якиш огляделся. Светло кругом, спокойно. Злые ночные духи спят в дебрях, светлые добрые духи вокруг летают, удачу сулят. Близко-

близко, веслом дотянуться — и вот они, два добротных русских сапога. Во тьме омута угадывается большое тело... Якиш сложил петлей бечеву перемета.

— Не сердчай, урус, не обижайся... Зачем тебе сапоги? По земле больше не ходишь — по реке плывешь. Зачем кафтан — в реке тепло. Ты неверный, ты все равно пропал теперь. Подари свою одежду, и бедный Якиш, очень хороший татарин, отпустит тебя плыть дальше. Раздетому плыть хорошо, легко...

Набросил петлю, потянул к себе. Утопленник послушно направил ноги к Якишу...

— Вах, не сердись, урус... — поеживаясь от страха, Якиш ухватил в воде синюю штанину — и выплыл перед ним урус в полный рост. Страх облил Якиша холодным потом: глаза раскрытые смотрят из воды, черные брови принахмурены, будто сердится все же урус, что потревожили его. Черные волосы и бороду ветерок трогает. А человек он был ратный. Как ни страшно Якишу, но, речной житель, догадался он, отчего урус плыл сапогами кверху, себя в глубине тая: панцирь на нем с насечкой богатой работы нездешней да кольчуга железная, вокруг стана пояс широкий, на нем сабля в ножнах узорчатых. Человек не прост, русский мурза, видно.

Якиш отдернул руку. Скрылся в глубине бледный лик. Дрожит Якиш, долбленка ходуном ходит. Неживой, чужой, а все равно мурза. Осердится — беда! Что делать? Взять сапоги, панцирь, саблю взять? Якиш не воин, а рыбак. Дорогие доспехи в селенье принесет — что скажет людям? Кайдаулу-мурзе что скажет? Не поверит, что саблю, панцирь Иртыш подарил. Скажут, Якиш — вор. Кайдаул-мурза станет бить, утопленный урус станет мстить... Что делать?

Солнце вышло из-за тайги, в омут заглянуло. Белая большая рука будто в полусне ищет что-то, шарит... Якиш не возьмет ничего. Пусть с русским мурзой делает что хочет Кайдаул-мурза. Пусть Кайдаулу мстит урус, если рассердится. Якиш укрепил в корме лодки бечеву, схватил весло.

2

Первым приковылял хромой бездельник Ильяс. Этот Ильяс всегда по берегу слоняется, рыбаков поджидает, чужой удачей кормится.

Ильяс сказал: какой удачливый рыбак Якиш, ему духи помогают, мурза-хозяин доволен будет, Якиша наградит за уруса.

Потом причалил, вылез на берег из лодки рыбак Курманча. Сказал: эка невидаль утонувший казак — семь дней назад в устье реки Вагая ханские воины налетели врасплох, много неверных в сече побили, сам атаман урусов то ли в лес уполз раненый, то ли в челне бежал. Многие прииртышские татары посеченных казаков в реке видели. Ханских воинов тоже.

Потом Чейдяк пришел. Тот самый Чейдяк, что у мурзы на посылках служит. Якиша хвалил. Говорил: мурза Якишу, может, барана даст. И велел уруса не трогать, ничего себе не брать. Сам побежал к рубленной по-русски избе Кайдаула.

Люди подходили, толпились, глядели. Уж который раз повторял Якиш, как петлю накинул, как в селенье приволок неверного.

Урус лежал на спине. У самых ног его билась в глинистый берег иртышская волна, каблуки сапог лизала. Росту он был среднего, но сложеньем ладен, плечьями широк, оттого большим и могучим казался. Неживой, все ж не гляделся он покойником: рука недвижна у бедра, но пальцы согнуты цепко, вот-вот потянется казак к рукояти сабли, властное лицо словно в думах о ратном походе к чистому небу обращено, губы сжаты твердо, будто сейчас вымолвят призывное слово товарищам верным.

Подходят жильцы Епанчинских юрт, топчутся полукругом. Якиш халатишко одернул, правую ногу в дырявом ичиге вперед выставил.

Пришел и вогульский князец Нергей, что приехал вчера из Лялинской тайги к мурзе Кайдаулу просить, чтоб повременил мурза с вогулишек его справлять ясак. Обнищали вогулы лялинские, оскудели. Мало соболей, лисиц, белок добыли: некому добывать, молодых охотников хан Кучум угнал с русскими биться. Мурза от Нергея подарки принял, но ясак все равно велел нести. Нергея шибко ругал при всем народе, чуть не побил, грозил на Лялю воинов послать за ясаком. Велел Нергею убираться. Но князец домой не уехал, хотел еще мурзу просить. И вот пришел на утопленного уруса посмотреть. Вогул для епанчинцев — дрянной человечиска, дикий. Но пропустили: ладно, пусть глядит. Многие во-

гульские да остояцкие князьки с русскими казаками являлись, служили им, великому хану измену чинили. Так вот пусть видят, кто на Сибири хозяин, а кому в иртышскую глубину дорога.

Нергей над урусом наклонился, в суровый лик взгляделся. Да и пал перед казаком на колени, бормочет по-своему, кланяется. Вах, какой дикий народец.

— Эй, дорогу почтенному мурзе! Эй, расступись!

Нергей в толпу юркнул, Якиш оробел, попятился.

На мурзе халат с галуном золотым, мягкие сапоги с носами гнутыми, кушак серебром расшит. Сам важный, величественный. Кланяются ему — никого не видит, не замечает. Над урусом стоит — ноги расставил, руки за кушак, брюхо выставил. Любуется врагом неживым, повергнутым.

Из-под правого локтя его Чейдяк высунулся:

— Большой воин. Есаул, наверно.

— Где рыбак тот?

— Эй, Якиш! — взвизгнул Чейдяк. — Почтенный мурза требует тебя!

Кланясь, приблизился Якиш.

— Ты притащил неверного к нам? Якши, — одобрил мурза. — Чего стоишь, как дерево. Сыми с него панцирь, саблю.

Суется руки без толку — не умеет рыбак снимать ратную одежду. Дергает за ремни, пряжки трогает — не умеет.

— Атаман Ермак! — вдруг голос над ним. Чуть не упал Якиш.

Рядом с мурзой стоит Оргунчей, увечный ханский воин, в Епанчинских юртах с прошлой осени живет. Мурза покосился недоверчиво:

— Ты что сказал, Оргунчей?

— Это Ермак, атаман урусов! Я знаю, в сече его видел, в Искере видел. Ермак это.

Затихли шепоты. Мурза отступил на шаг. Когда казаки плыли мимо Епанчинских юрт, мурза бежал в дальние урочища, спасая табун свой, казну спасая. Атамана видеть не довелось.

Устался мурза на Оргунчея. Никак, видно, поверить не мог, что такая выпала удача, что сам храбрый да удачливый атаман лежит у ног его.

У Оргунчея правая рука плетью висит — казацкой сабли память. За зиму и весну едва отлежался Оргун-

чей. Но злобы и мести неслышно в голосе ханского воина. Ратное счастье переменчиво: прошлым летом Оргунчей калекой стал, нынешним летом атаман утопленником стал. Руку потерять — худо, жизнь потерять — совсем худо.

После сечи на Вагае атамана среди мертвых не нашли. Думали, в челне уплыл, в Искер к своим ушел. Думали, смерть Ермака не берет. Не уплыл, не ушел. Вот лежит. В кольчуге, в панцире плыть тяжело. Хорош панцирь. Крепкий. И атаман крепкий был, сильный. Он это, Ермак.

Кто-то из толпы подал голос:

— Оргунчей правду говорит. Я тоже видел Ермака. Это он.

Мурза поверил. Крикнул:

— Эй вы, подымите его, несите! Бамтерей, Ивас, коней моих возьмите, скачите по улусам. Пусть все придут, увидят: атаман урусов мертв! Чейдяк, седлай моего самого лучшего коня, скачи в Абучиновы юрты, там кочует хан с воинами. Передай великому хану, да продлит аллах его дни: мертв Ермак! Несите его на угор, положите там на лабаз¹, пусть видят все!

Забыл мурза величие свое, сапогами топал радостно, размахивал руками, словно торговец рыбой на базаре. Только не рыба — нагайка в руке...

3

Два дня лежало тело атамана на потемневших досках низенького рыбного лабаза посреди селения. Посмотреть на знаменитого уруса, казацкого воеводу, уж не опасно-го теперь, приезжали татары окрестных улусов, с Тавды и Туры. Шли звериными тропами охотники-вогулы, рыболовы-остяки, эти за поселком на опушке березняка ночевали у костров, не уходили, ждали чего-то — лесной народец, дикий. Лялинский князец Нергей тоже домой не ушел, с народцем яшашным все толковал о чем-то.

Кайдаул-мурза велел с атамана ратный доспех снять — пусть воеводу неверных видят безоружна, беззащитна. Но и без доспеха велик был атаман и славен обликом. Синяя рубаха распахнута на богатырской гру-

¹ Л а б а з — амбар, полог, ларь.

ди. Ветерок с Иртыша черные кудри шевелит, бороду поглаживает. Очи в небеса зрят и будто думою тайною замутились.

И чудится людям: не мертвый он, Ермак-то, не совсем умер. Ждет хитрый урус, когда ударят с Иртыша казацкие пищали, когда завьются на ветру знамена со крестом...

Неведомо кто в первую же ночь принес и под голову Ермаку подложил мягких, душистых пихтовых ветвей, ноги босы прикрыл свежими травами, чтоб не застудился воин на привале. Вогулы, поди, уруса привечают, кому больше-то.

Хотел Кайдаул то пихтовое убранство сбросить, да не посмел — много таежников набралось в стойбище под берегами.

На третий день, к полудню, наехали в Епанчинские юрты всадники многие, оружные. Впереди — белой кошмы повозка мехами изукрашена, знаменем зеленым осененная, пред нею молодой всадник, галуном да серебром сияя, везет ханский бунчук. За кибиткою князя кондинские да обдорские, мурзы, советники, сотники, витязи татарские. Сдерживают коней, кибитку не обгоняют. Опушку миновали — вогулов уж тут как не бывало. Бедные жители окраины в землянки прячутся, а кто при дороге стоял, те на колени пали. Собаки неразумные и те хвосты поджимают, не тявкают на воинство. Кайдаул-мурза навстречу бежит, издали кланяется низко. Перед бунчужным витязем повалился в пыль, из-под самых копыт выскочил, дорогу кибитке указывает почтительно.

Посреди селенья кибитка остановилась. И вышел из нее седобородый желтолицый старик — грозный хан Кучум. Спешились мурзы и витязи.

Под правый локоть великого хана поддерживает царевич Алей. Слева — советник-мурза Карача. Хан шагает твердо, сыну и мурзе только честь оказывает, поддерживать себя милостиво позволяя. В былые времена не позволял. Тогда он сам шагал легкой походкой, сам соколом в седло взлетал. Но нелегко далось ему ханство, еще тяжелей потеря его.

Шевельнул Кучум левым локтем — мурза Карача отошел с поклоном. Правым плечом повел — отступил на шаг царевич Алей. Мурзы и витязи в отдалении стоят. Наедине хан с врагом павшим. На единый бы миг вер-

нуть прежнюю зоркость! На единый лишь миг увидеть бы вражьего атамана в бессилии, в бездвижии!.. Но слезятся больные глаза, расплывается солнечный свет, и колышется в нем темное пятно, зыбкое, как ночной призрак... Колышется и грозит, как неясное предчувствие, которое не схватить, не убить... Тщится старик узреть мертвого врага, моргает красными веками, взгляд напрыгает, как тетиву лука боевого. Но только обильнее течет слеза. Плывет, колышется темное пятно... Отереть бы глаза рукавом шелковым, наглядеться бы досыта!.. Но тогда скажут: хан плачет перед урусом.

Стоном глухим еле слышен голос Кучума:

— Алей! Это он?

— Да, это атаман Ермак. Я видел его под горой Чувашей. Аллах велик! Колдовство и огненный бой не помогли Ермаку на Вагае. Вот лежит он мертвый! — в словах царевича торжество звучит.

Темное пятно то склубится в очертания человека, то размоется осенним туманом. Режет глаза, слезятся они.

Словно голодный пес возле убитого лося, беспокоен молодой Алей. Не стоится ему, не ждется. Рука сама саблю ищет, ухо слышит звон стремени вороного скакуна.

Но хан молчит. И царевич не смеет потревожить думу хана.

— Ты мертв, проклятый колдун! — беззвучно кричат губы старика. — Ты мертв! Не быть Сибири под русским сапогом!

Уловив невнятный шепот, дерзнул Алей слово молвить:

— Отец! Великий хан! Аллах не захотел более терпеть на земле проклятого уруса! Без него казаки немощны! Не медли, хан, иди на Искер! Владей Сибирью!

Плачут больные глаза. Оплакивают горькую обиду. В далекие дни молодости и силы, в дни побед любил могучий хан смотреть на поле битвы, на поверженных врагов. Коварство, хитрость, заговор, вероломство — все ради того, чтобы с вершины ханства своего любоваться, видеть, знать, чувствовать: он, Кучум, победитель. Он властелин земель, рек, людей, народов! Но пришел разбойный атаман с шайкой изгнанников — и рухнуло все, чего добился великий хан дорогой ценой. Ныне отмщение свершилось, злейший враг распростерт у ног, но

разве это наслаждение — видеть темное пятно?! За что, о аллах! Кто тут сказал, что надо идти на Искер? Зачем идти на Искер?

Все минуло: нет теперь великого хана, остался больной старик...

Алей вовремя подхватил отца.

— Хан, ты устал в дороге, пойдем в кибитку.

Да, никто не должен заметить слабости повелителя Сибири. Подданные должны верить: великий хан крепок, могуч и умудрен опытом лет. Пусть на самом деле давно уж нет ни силы, ни мудрости — должны верить. Иначе...

— Алей!

— Я здесь, отец.

— Оставь мне два десятка воинов, с остальными потру скачи в Искер. Лазутчики донесли нам, что русские, о гибели Ермака узнав, покинули город. Скачи в Искер, гони с собой всех! Вогулов, остяков гони! Обещай все, что они хотят! Пусть догонят врагов, сотрут с лица земли! Не быть моей Сибири под чужой властью! О аллах!.. Где кибитка? Куда мне идти?

Советник Карача подхватил хана под левый локоть. Показалось старику: не поддерживает советник — отягощает.

Но хан промолчал.

— Мудрейший хан, — шепчет Карача. — Самое время теперь вознаградить достойнейших, пожаловать им доспехи уруса. Милость великого хана зажжет священный огонь мести во имя аллаха.

Хан молчит. Из последних сил до кибитки дошел, повалился на пуховики.

На закате, когда свет не мучит глаза, великий хан вышел из кибитки разделить среди достойнейших малую, но бесценную добычу.

Атаманская сабля, сработанная мастерами Кавказа, пожалована советнику Караче. Был рад Карача: скажут, Ермакова сабля таит колдовскую силу. Воевать ею Карача не станет, нет. Но ее можно подарить новому повелителю. Кто им будет? Алей? Или другой наглец сядет на трон? Все равно любой хан вознаградит Карачу за такую саблю. И советник Карача изощрялся в благодарном красноречии.

Хотел бы Карача еще и панцирь. Но панцирь отдан мурзе Чайдаулу. Ловкий этот Чайдаул: добыл от знаха-

ря какой-то дрянной мази, от которой легчает у хана глазная боль.

Кольчугу повелитель даровать изволил белогорскому шайтану, чтоб тот помог уничтожить урусов. Прибегнуть к помощи вогульского шайтана — недостойно правоверного.

А все ж казаки, хоть и всего-то их полторы сотни осталось, опасны еще, и против них любой союзник гонится. Отнести дар шайтану берется князь Алач. Вах, хитрец!

Еще велел хан Кучум пред убитым врагом торжество учинить, пир победный. Епанчинским жителям оказали честь: забрали у них баранов для ханского пира. Проворные воины в лесу нашли стадо самого мурзы Кайдаула, быков всех забрали. Кайдаул морщился и кланялся.

На рассвете царевич Алей повел конников в опустевшую столицу. Скрылась в лесу и белая кибитка под зеленым знаменем. Хвала аллаху!

Рыбак Якиш потащился к мурзе напомнить, что ведь это он, Якиш, Бегишев внук, углядел и мурзе притащил самого большого ханского врага. Наверно, мурза хочет наградить Якиша за подвиг, да вот все некогда было — с ханом беседовал мурза Кайдаул.

Все-таки бедный он, Якиш, кругом бедный, семь раз бедный. Не вовремя пришел. Мурза печалился, что из всех быков, на пиру съеденных, половина его собственных, Кайдаула. Съели, ушли. Кто возместит убыток? И кто скажет, что делать мурзе с телом атамана? Зарыть? А если хан вернется и разгневается: почему зарыли без повеления?

Когда у избы появилась маленькая покорная фигурка рыбака, мурза вспомнил, от кого пошло так много хлопот и убытков... Бедный, бедный Якиш, Бегишев внук!..

4

А после полудня в Епанчинские юрты, словно черная буря, ворвался с ватажкой опальный бродячий царевич Сейдяк, сын бывшего хана Едигера, убитого Кучумом. Головорезы-ватажники тоже потребовали от Кайдаула быков и баранов. Как не дать, если у них сабли, саадаки, голодные животы, а пощады нет никому. Надо было

отогнать стадо в леса, да мурза полагал, что уж больше случится нечему, уж миновало нашествие повелителей. О аллах, что наделал этот Ермак, хотя и неживой!.. Колдун, наверно.

Сейдяк от многолетних скитаний, от прозябания у ногайских костров, от унижений и обид судьбы стал зол, нравом крут. У-у, страшный он, спаси аллах. Шапка зеленым сукном иноземным крыта, да на лесных тропах сучьями вся изодрана, соболий мех клочьями, а из-под шапки раскосые дикие глаза яростны, как у бешеной рыси.

Бараны кричали под ножами ватажников. А царевич Сейдяк велел мурзе показать, где атаман лежит. Наглядевшись, стал спрашивать: где кольчуга, сабля, панцирь уруса? Кайдаул поведал, что и как тут вчера было. Сейдяк ругал Кучума. И Кайдаула заодно ругал. Еще спросил:

— Почему урус лежит весь в душистых травах, на мягких хвоях, как большой мурза?

— Вогулишки ему несут. Дикий народец...

— Бить плетью вогулов! Схватить и бить! Сейчас!

— Они убежали, как только показались ханские воины...

— Ханские?! Ты сказал, ханские, собака?! Кучум — грязный хорек! Я сочтусь с ним за кровь отца! Я вышвырну его щенка Алея из Искера и разнесу конями! Ермак мертв, Кучум слаб, Алей глуп — я хан Сибири! Ты слышишь, вонючий суслик?

— Да, великий хан...

Тут из-за соседнего лабаза показался вогульский князец Нергей с охапкой свежих пихтовых лап. Сейдяка увидел, убежал.

— Это еще кто? — схватился царевич за саадак. — Кучумовых лазутчиков прячешь?!

— То ясашный вогул к Ермаку на поклон приходил...

— На поклон? Уруса зарыть. Могилу с землей сравнять.

Дернулся, хотел к ватажке бежать. Да вспомил, видно, что казацкой рукою скинут с трона ненавистный Кучум.

— Эй ты! Зарыть его погребением достойным!

— Слушаю и повинуюсь, великий хан, — кланялся

Кайдаул. Уж ломило поясницу от поклонов... Унеси их всех аллах...

Вслед Сейдяку и Кайдаулу глядели вогул Нергей и остяк в лохмотьях, рыбою провонявших. Нергей сказал:

— Ермак лежит, а великие ханы вокруг него бегают. Кто тут великий? Кто живой, кто мертвый?

Хвала аллаху! Еще до заката бешеный Сейдяк поднял своих головорезов на коней и ускакал из Епанчинских юрт. Умчался в ногайскую орду, к давним союзникам Едигера, чтобы с ордынскими всадниками Искер взять, обиды отместить, на Сибири ханом сесть.

Наконец-то затихли в Епанчинских юртах крики воинов, топот конский. Мурза Кайдаул заторопился похоронить казацкого атамана — так спокойнее будет.

Сошлись к лабазу жители селения, охотники, рыболовы, пашенные люди, и жены их, и дети. И вогулы, остяки из ближних трупп, где укрывались от воинского глаза. Завернули тело в кошму, понесли. Хоронили уруса по своему закону и с почестями, подобающими воину, в сече павшему, — так повелел последний за сегодняшний день великий хан — Сейдяк.

Зарыли атамана возле Башлевского кладбища, под сосной кудрявою. Насыпать холмик на могиле мурза не дозволил — таково веление Сейдяка. Люди постояли молча и разбрелись по избам своим да по землянкам.

Успокоилось селение, отдыхало после тревожных дней.

...Поднималась луна над тайгою, над Иртышом. Осветила луна Башлевское кладбище и кудрявую сосну — последний шатер казацкого атамана. Ночь свежа была.

С Иртыша туман пришел, обволок густо Ермаков шатер: спи, храбрый атаман, да будет легка тебе сибирская земля.

В тумане тени движутся неслышно, стекаются к могиле. То не духи ночи, не призраки — пришли к Ермаку лесные люди, вогулы. Под сосною опустились на колени, поклонились взрытой земле. Лялинский князец Нергей положил к подножию сосны лук со стрелою, нож кремневый.

— Батюшка атаман Ермак, охотники манси принесли тебе подарок, прими. Батюшка Ермак могучий, лицо твое скрыла земля, но дух твой вечно в тайге будет.

Прими лук, стрелу, нож, пусть удачной будет твоя охота в стране духов. А ты помоги людям манси. Старый больной волк Кучум далеко у Абучинских юрт бродит. Два молодых волчонка грызутся в Искере. Ханская власть давно сгнила. Манси не хотят нести ясак ханам. Но мы не умеем воевать, не любим. Мы охотники и рыболовы, люди мирные. Ты храбрый воин — дай нам храбрости. Ты мудрый человек — дай мудрости людям манси. Помоги, атаман-батюшка, очень просим тебя.

Поклонились земно, поднялись и пропали в тумане.

«Кто Верхотурьем
правит?»



Первый снежок, легкий, пушистый и белый-белый, припорошил берега Туры. Повеяло холодом, того и гляди, нагрянут морозы. Река, стиснутая бурой тайгой, серая под серым небом, в ожидании скорого ледяного плена угрюма и неприветлива.

На левом берегу, у Троицына камня, дробно стучат топоры, мерно вжикают пилы, дым костров далеко по воде тянется — с минувшего 1623-го лета воевода князь Никита Петрович Барятинский по цареву указу принялся обновлять острог, возводить боевой наряд понадежнее, с башнями, коих допрежь того при стенах не было. Плотников 80 душ пригнали из вятских деревень, из поморских городков, из новгородских посадов.

С трех сторон подымали бревенчатые стены, с четвертой заслонен городок крутым, двенадцатисаженной высоты, утесом Троицкой горы.

Тиха ныне туринская тайга: вогуличи да остяки замирились, ясак в царскую казну исправно несут, башкиры тож набегов давно не чинили. А все ж среди тайги дикой крепкие стены — верная надежда.

Воевода-князь вчера из Тобольска приплыл, ныне пойдет стройку оглядывать, все ли добротнo изложено, пока он в отъезде был. Плотники работают споро под приглядом десятника. У костров, где щепу жгут, стрельцы топчутся, они тут для порядку зело надобны.

Верхотурский городок не больно давний. Двадцать шесть лет тому посадский человек из Верх-Усолки Артемий Софронов, сын Бабинов, большого ума землепроходец, по берегам Туры прорубил новый путь из Соликамска в Сибирь. Тогда и заложен был у Троицына камня острог, дабы блюсти дорогу ту от поруки, торговых людей привечать, пошлину в казну собирать по гривне с рубля. А народ крещеный чтоб в вере не пошатнулся, воздвигнут при остроге Троицкий собор. Вскоре же по велению царя Бориса от городка к северу, между речками Свиногою и Калачиком, иерей пошехонский отец Иона основал мужской Никольский монастырь. Принялись монахи обращать ко Христу окрестных вогул.

С тех пор растет и крепнет Верхотурье, строится беспрерывно. Взамен померших да убеглых пригоняют из российских земель новые партии черных людишек, чтоб городок сей жителями не скудел. Все более проходит обозов купеческих. Верхотурье-городок царству Российскому весьма надобен.

Молодой вятч, сидя на башенном срубе с топором в руках, засмотрелся вдаль, в лесной простор. То углядев снизу, его ругнул стрелец:

— Эй, парень, добро ли тебе сидится? А полежать не хошь ли на правежной скамье, под кнутом?

Парень не испугался, топором в сторону тайги указал:

— Господин стрелец, из тайги сюды ватажка идет.

Топоры враз утихли, другие плотники тоже на дорогу воззрились. Стрелец от костра отошел, влез на бревно.

— Где ватажка? Эх ты, оглобля неотесанная! Всеу баламутишь. Полдюжины вогулов к монахам либо к купцам тянутся.

— А один-то — с саблею.

— То, должно, наш брат стрелец, по кафтану видать. Вы, работнички богovy! Чего глазеете?! А ну, всем робить!

Вновь застучали топоры. Стрелец сел поудобнее на бревне, следил за ватажкой.

По дороге шли к городу семеро. Один, впереди, и в самом деле с саблей на перевязи, стрелецкая сермяжка на нем. За ним, поотстав, пятеро бредут, в мешковатой одежке из шкур, в малахаях вогульских. И меж тех пятерых — один крупный, рослый, на голову выше прочих, в малахае тож, но в черном армяке. Издали видать, что большой этот мужик шагает трудно, стесненно, руки неловко на животе держит. От них от всех шагов на двадцать отставая, ковылял последний, тоже вогульского виду. Когда ватажка замешкалась, остановилась, тот, последний, не подошел к прочим, ждал в отдалении. Все пошли, и он заковылял следом, на одну ногу заметно припадая.

Молодой плотник, топором для вида потюкивая, сам на дорогу любопытствуя, сказал:

— Кажись, энтот, длинный-то, он связанный...

— Вогулы беглого поймали, — ответил стрелец. — Ужо спину ему разукрасят теперича. Забудет, как бегают, узнает, как ползают.

Плотник топор в бревно воткнул, шапку снял, перекрестился.

— Его... до смерти?

— Уж как воевода повелит. Сичас в Верхотурье палача знающего нету, дак могут по дурости и вусмерть...— стрелец пригляделся, узнал одного из пришельцев:— А это ж Койк его поймал. Койк, стрелец из вогул крещеных. Награду получит вогулишка.— И, должно, позавидовав чужой награде, звезданул плотника по затылку:— Ты знай робь, деревянна башка, свою шкуру береги, не за чужую печалуйся!

Парень топор схватил, принялся рубить паз.

Вогулы подошли ближе. Узнал теперь стрелец и связанного:

— Эва, кого они! Недолго бегал, черт запойный. Ну, дела! Кто ж его пороть станет?

Вошли в городок. Таежные вогулы заробели, озирались среди многолюдства, строительного кружения, непривычных стуков, криков. Стрелец на башне помахал рукой.

— Здорово живешь, Койк! Магарыч с тебя, немыва рожа!

Койк сощурил в улыбке узкие глаза, помахал ответно. Среди таежных своих земляков выделялся он справной стрелецкой одежею, и саблею, и сапогами казенными, и бывалостью, повадкой уверенной, бойкой.

— Чего встали?— сказал он по-вогульски.— Город это, Верхотурье. Людей тут много, на всех глядеть— зимы не хватит.

Охотники-вогулы цокали языками, малахаями показывали, переговаривались вполголоса: ай, большое какое стойбище! И как терпят русские такую суету? Вон как шумно— худо жить, наверно. Самый молодой из них, задрав голову, оглядывал стены, башенные срубы. Спросил у Койка:

— Правду говорят, был тут наш город, мансийский?

— Был. Нером-Кар назывался. Только манси не умели такие стены делать...

Охотники примолкли, сбились теснее. Пойманный беглец высился среди них, ко всему безучастный: под надвинутым малахаем глаз не видать, спутанная боро-

да лохматится по широкой груди, проседью густой белеет на черном сукне армяка.

— Да, был Нером-Кар... — добавил Койк. — Но мансийские стрелы слабы против ружейного огня.

Последний, хромой вогул, устрешенный чужим гоном, теперь догнал товарищей, хотя все равно держался наособицу. И не на стены глядел — на пленника. Койк сказал осуждающе:

— Говорили тебе, не ходи. Зачем пошла, глупая баба?

Из-под малахая обратились на Койка черные испуганные глаза.

— Не отставай, — уже мягче посоветовал стрелец вогулке. — Город — не тайга, здесь и пропасть недолго.

Шли улицей, дивились на большие избы, на ямщицкий лихой свист с мимо пролетевшей повозки, на церковный звон, на волосатого огромного дьякона, ко храму поспешавшего. Стрелец Койк с охотой рассказывал соплеменникам, какой большой, какой богатый город Верхотурье.

— Многие наши, манси, живут ныне здесь, богу Сусу да Николе молятся. Вот Саввы Копоса дворик, а то — Меншика Ципиля, из ясашного роду. Подале — Ивашки Туряты, Худяка Пурега, эти по русскому обычаю крестьянствуют.

Подходили к середине городка, где избы справнее, дворы просторнее, ворота в резьбе.

— Тут гостиный двор для купцов русских, четыре горницы в нем. А это наш двор — для татар, вогул, остяков, которые с товаром приезжают. Рядом изба таможенная, амбары для товаров. Те два больших амбара — государевы житницы. Вон съезжая изба...

Охотники головами вертеть еле успевали. А стрелец все тыкал суконной рукавицей в разные стороны:

— Двор боярского сына да три подъяческих. Двор стрелецкого сотника и сорок дворов стрелецких. А вон изба палача.

Приостановились. Палачову избу особо оглядели. И к беглецу оборотились. Понурый мужик все так же безучастно, склонив голову, ждал.

— Айда, — сказал Койк. — Те вон два шибко больших дома — воеводские.

В горнице жарко натоплено. Пучки сухих трав за иконостасом — княгинюшка в морозы по лету сучает — исходят крепким лесным духом, в него вливается аромат от лампадки. Жарко, истомно. А воевода в теплом бухарском халате сидит подле горячей печной стены. Недужится ему. Лета немолодые, дорога от Тобольска дальняя, осенняя речная сырость и под лисьей шубой тело прознобила. И в домашнем тепле да покое суставы ломит — ровно на дыбе.

Вечером князь Никита Петрович, домой прибывши, в бане париться изволил — полегчало самую малость. Ныне с утра чаю с медом откушал и у печи прогреться сел — бог даст, ломота изойдет с потом. Взопрел, отдувается. Лысину взмокшую платком утирает.

Супротив его за столом над бумагами сутулятся товарищ воеводы Максим Семенович Языков, денежные sprawy вычитывает: сколь в казну принято сборов кружечных да таможенных да от вогул и остяков ясаку. Да много ль от винокуренного завода прибытку. Да сколь и каких за лето от казны расходов, да каких припасов сибирским воеводам сплавлено рекой Турою. Водит Языков толстым пальцем по бумаге и бубнит:

— По весеннему паводку и летнею водою из государевых житниц воеводам тюменскому, тобольскому да якутскому хлеба всего вкупе 60 дощаников по 300 четвертей каждый. А еще для купцов, воинских и иных людей 25 дощаников. Винного довдльства по государеву указу: якутскому воеводе простого вина 400 ведер, двойного — 40 ведер, меду — 70 пудов. Тобольскому воеводе стольнику Алексею Шеину простого — 300 ведер, двойного — 50 ведер, меду — 100 пудов, да товарищу его Приклонскому простого — 250 ведер, двойного — 50 ведер, меду — 60 пудов. Тобольскому письменному голове простого — 110 ведер, двойного — 20, меду — 10 пудов...

Зевают князь Никита Петрович, разморило у печи. Однако со вниманием слушает про ведра, пуды, аршины, сажени, рубли и копейки: сентября к 1-му дню истек 1623 год, и должен воевода, града сего хозяин, ведать хозяйство свое до гвоздя, до бревна, до копейки. За сибирскую дорогу многотрудную, за прибыль казне, за покой и процветание дикого сего края — за все воевода пред царем в ответе.

— ...Да ссыльному бывшему воеводе Ададурову на

содержание в день по две гривны, а всего... — читал Языков последний лист.

Дочитал. Князь Никита Петрович вздохнул с облегчением. Отер лысину, окладистую бороду, обильной сединой перевитую, помахал на себя платком.

— Что в остроге деется? Каково стройка идет? Вчерась сколь углядеть успел, мешкотно башни возводятся, без прилежания робят плотники. Зима на носу, а у них не у шубы рукав.

— Прилежания вдосталь, на то стрельцы тама стоят неотлучно. Да работников осталось мене, чем для дела надобно. Плотников не боле полста, остальные убегли.

Воевода покряхтел недовольно.

— И куда бегут? Живем у Руси на самом краю, за нами — тайга да инородцы, погибель верная. А оне бегут! Не так уж больно мы людишек тесним, обижаем, а оне... Куда оно годится — палач и тот убег! Изловят вора али беглого — и выпороть некому.

Языков попил холодного, со льду, квасу из большой глиняной кружки, усы вытер.

— Как некому? Касым порет.

— Татарин бьет без разумения, рука у него нечистая — поротый долго робить не может. А оклемается — сызнова в бега.

Языков покивал:

— Стрельцов двое ушли.

— Этим-то чего не хватало?

— Ума не хватало, чего боле-то. Вино гоняет многих. Стрельцы не токмо лошадей казенных, а и кафтаны, и сабли в кабаке пропили. И со страху — в бега.

— Сказать надо попам божью заповедь пуще проповедать: не упивайся вином. Ты, Максим, скажи про то отцу Киприяну.

Языков продолжал, мало надеясь, видимо, на отца Киприяна:

— Из Ямской слободы Ивашка Чепуштан с братом стрельцом Васьюкою, лошадь с санями пропивши, тож сошли...

Воевода изругался смачно. Попросил:

— Дай и мне кваску испить.

— Не след бы холодного-то: с нутра остынешь — пуще хворь возьмет.

— Ништо, давай. Взопрел, мочи нету.

Тут вошел воеводский молодой дьяк Афонасий.

Сметливый дьяк прытко к столу подбежал, принял от Языкова кружку, поднес князю с поклоном. Подождал, пока не напьется, и сообщил радостно:

— Боярин, палача Антонова пымали!

Все переглянулись. Языков усмехнулся:

— Легок на помине. Кто его?

— Лялинские вогулы. Койк со товарищи. Повязали и сюды привели. Велишь, боярин, под замок его покуда? Али сразу Касыму на порку? Али как прикажешь?

Князь Никита Петрович допил квас и, отдавая Афонасию кружку, молвил:

— Повязали, так пороть всегда посеем. Давай его сюды, дьяче. Спытаем, какой корысти ради палачу в леса бечь. И вогулича, как его?..

— Койк, из стрельцов будет.

— Давай и его. Данилку-толмача покличь. Квасу холодного еще принеси-ка.

Дьяк пошел. От двери спросил:

— Там с имя баба, ее тож прикажешь, боярин?

— Что за баба?

Бог ее ведает. Вогульская девка хрома.

Не надобно. Тут с мужиками никак не разберемся, не хватало еще хромых баб.

Дьяк исчез.

— Дивно мне,— сказал воевода.— Вогуличи в дела наши не встречаются, беглых не выдают, а тут сами повязали. Може, Антонов их порол?

Языков бумаги перебрал, нужный список нашел:

— Койк — стрелец, службу справлял.

— Добро. Стало быть, служит верою-правдою, хошь и нехристь.

— Крещеный он. Некрещеных в службу стрелецкую, сам знаешь, не берем. Вот приписано здесь: крещен иереем Ионою, жалован за сие — два сукна средних, рубаху да сапоги, да приказано верстать того Койка в службу караульную и жалованье за то давать от казны.

Дьяк Афонасий привел вогулов. У дверей топчутся, малахаи сняли, кланяются. В боярских хоромах даже Койк оробел, вроде и ростом еще ниже сделался. Пленник только порог перешагнул — на колени пал. Шапка сама свалилась с головы лохматой. Лишь толмач, крещеный вогул Данилик Шадко, одетый в опрятный суконный кафтан, без опаски, привычно уставился на князя смышленными глазами.

Воевода поднялся, грозно прошагал через горницу. Сгрел беглеца за лохмы, голову ему приподнял, взгляделся в бледное лицо. Антонов зашурился, дух затаил — то ли страшился воеводского взгляду, то ли ждал, что бить станет. Но князь, ничего не сказав, разжал горсть, воротился в кресло.

— Толмач! Спытай вогулича, как они его словили.

Толмач и стрелец зашептались по-своему. Потом Данилик пересказал воеводам, как было дело.

Беглый поселился в чашобе на берегу Ляли недавно, глубокой осенью. Землянку вырыл. Вогульские охотники сразу его заприметили. Но русский их не трогал, и они его не трогали: пусть живет, хватит в тайге места, в реке рыбы. Русский промыслял плетеными вершами, ставил на птицу силки. Порою заунывная песня над рекой слышалась. Потом, ден через пяток, песен не слышать стало, другое из землянки доносилось... Случалось, вогульский охотник, кого ночь застала от землянки неподалеку, слышал вой истошный, будто не человек — злой дух Куль в ночи тоскует. Охотники русского не боялись, но крики его нагоняли страх, — наверно, русский богам своим шаманит, лучше уйти, чужим богам на глаза не попадаться.

А потом учинил беглый недоброе дело: украл девку, старого Камая дочь. Пошла собирать клюкву, в стойбище не воротилась, а дня через два охотники видели ее издали у землянки, рыбу она чистила, русский тут же стоял, за нею приглядывал. Девка не баская, хрома к тому же. Никому шибко-то и не надобная. Однако стало вогулам обидно: пошто украл? Добром попросил бы — не жалко. Украл — всему стойбищу обида. Случился тут Койк, родню проведать. Ему пожаловались: русским служит, саблю носит, все может. Койк повел охотников к землянке, и повязали они вора, хоть и сильно отбивался. Девку отцу вернули, старику Камаю. Но когда похитителя повели в Верхотурье, дочь от Камая сбежала, следом захромала. Пошто? Шайтан ее ведает. Одно слово — баба.

— Ну добро, — сказал князь, выслушав толмача. — Передай стрельцу: за такую службу жалуюм его наградой, пушай и впредь тако же государеву службу правит. Дьяк! Выдай ему пять алтын!

Толмач перевел. Койк улыбнулся, глаза-щелки на воеводу благодарно блеснули.

— Спаси бог, бачка-князь!

— Ну-ну. Служи. Идите со Христом.

Вогулы кланялись, пятались. Дьяк их поторопил, выставил.

— Афонасий! — крикнул князь дьяку вслед. — Пять алтын, и каждому охотнику ножик добрый дашь.

— Сполню, боярин.

Когда закрылась дверь, Языков заметил с сожалением:

— Пропьют ведь.

— Пропьют, — согласился князь Никита.

— Пропьют... — вдруг сишло подал голос беглец. На него посмотрели с удивлением.

Антонов все еще стоял на коленях. Большие руки висели как плети, связанные сыромятным ремешком. Изпод спутанных волос лица не видать.

— Тебе завидно? — сказал Языков. — Эх, Антонов, и чего тебе не жилось, не пилося, не елось? Доведется вот на своем заду испытать, каково обучил ты Касыма палаческому ремеслу.

Антонов совсем понурился. Широкие плечи выше ушей поднялись.

Дьяк принес, воеводе с поклоном подал кружку. Князь потрогал ее, отстранил:

— Поставь. Зело холоден квас. Деньги вогулам дали?

— Сполнил все, как приказать изволил, боярин, — Афонасий ухмыльнулся: — Рады нехристи, в кабак побегли.

Князь поморщился. Сказал строго:

— Ты вот что, дьяче... Пошли кого-нито из холопей, пушай их догонят и мимо кабака из города выведут. От вина и русскому разор, инородцу ж погибель пушай — себя сгубит и казне ясака не будет. Да упреди холопей: ежели деньги у них выманивать станут, шкуру спущу. Стой! Сперва развяжи этого.

— Боярин! Здоров он, ровно медведь, а пуще того дурной!

— Дурной ты, коли мне перечить вздумал. Развяжи.

Дьяк нагнулся и, брезгливо поморщившись, с трудом распутал ремень Отпрянул опасливо.

— Ступай теперь, поспешай, дьяче. Ну, Антонов? Что поведаешь нам про воровство свое?

Все в той же понурости пребывая, Антонов ответил тихо:

— Виноватый я. Боле сказать неча.

— Что виноватый, про то неча. Да любопытствую, пошто бежал. Была же тому причина. Ответствуй!

Антонов упал ничком, о пол лбом стукнулся.

— Батюшка князь, вели меня на расправу скорейча, только душу не мучай, Христа ради!..

— Эко любишь ты ремесло свое: на правеж и то не терпеж. Не душу мучить праздно, понять хочу — пошто? Мужик ты был разумный будто, хошь и пьяница. Примечал я: порешишь людишек с понятием, по-разному — коего сплеча сечешь, коего токмо для виду, для отстрастки охаживаешь. Опять же: коли палач, властей опора, в лес бежит — стало быть, худые то власти, негодящие. Али как понимать? Ты, Антонов, встань. Не люблю, когда передо мною, как на молитве...

— Виноватый я...

— Встань, велю. Садись вон на лавку и ответствуй по совести, как на духу. Сколь ведомо нам, своею волею ты в палачи пошел, своею же волею челом бил в нашем краю государево дело править. Так пошто бежал? Сказывай.

— Долгий то сказ, боярин.

— Поспешать нам некуда, а правду знать надобно.

— Правду?

Впервые Антонов поднял взгляд на князя. Воевода сидел, халат бухарский распахнув, белая исподняя рубаша взмокла, лицо красное, распаренное, и нет в нем злости.

— Правду? Дай те бог здравия, батюшка ты наш, что не под кнутами, а допрежь кнутов правду хошь знать... Спрашивай, что тебе надобно, как на духу отвечать стану. Да про что сказывать-то? Чем потешить могу боярина?

— Про жизнь свою сказывай.

— Невесела моя жизнь...

— Палач — не скоморох, откель веселью взяться. Ну, чай не с топором да палкою в руке ты на свет божий народился. Из каких мест будешь?

— Из-под Вологды. Крестьянского мы звания.

— Ну? До ремесла правежного как же дошел?

Скуки ли ради воевода ответу требует, злость ли коптит? Бог его знает. Однако не помнил Антонов, чтоб с ним когда вот так, по-доброму, князя говорили. Вели сюда — ждал кары нещадной и скорой...

— Что ж, батюшка-князь, слушай, коли твоя на то воля... Деревня наша государева, не барская. Пахали сеяли... Известно, мужицкая работа. Еще бортничали мы, диким медом промышляли, потому наша изба на отшибе от деревни стояла, с краю. Ну и вот, мне в ту пору годков боле двадцати было, случилась с нами, Антоновыми, беда... Я с братьями на промысле был, дён шесть мы по лесу бродили. Медку набралось дивно. Пора и домой бы. Возвртаемся это мы, подходим к деревне своей... глядим — где же изба-то наша? Огородишко, березы... а избы нету! Вместо нее головешки черные да посередке печь над ними... Все отеческое хозяйство дотла...

Сиплый голос Антонова заглох, мотнулась лохматая голова.

— Н-да... Чего ж у вас подеялось? — помешкав, спросил Языков.

— А? Да, вишь ты, спалили нас... Около деревни нашей дорога проходила в северные леса, по ней беглые на Вятку, на Вычегду и дале, в пермские земли, утекали. Ихняя ватажка пошарпала, что в дорогу сгодится, а избу и запалила. Родителей и сестру кистенем порешили, в лебеду кинули, да и в лесах сгнули — ищи их. За что тако злодейство? За каки грехи? Родитель наш нраву смиренного был, царство ему небесное...

Говорил Антонов трудно, дышал тяжело. Руки висели меж колен, будто их и не развязывали.

— Похоронили мы родителей, сестрицу. Братовья остались хозяйство заново ставить. А я не смог. Напала на меня такая горечь, что и свет белый не видел бы. Погляжу, бывало, кругом... Вон с той липки тятенька лыко на лапти драл... Тамotka сестрица холсты расстилала. С того-то камушка маманя воду черпала... И затрясет меня всего от злости-лихоманки: пришли злодеи, убили, пожгли, и нету на них расплаты! Ежели за злодейство расплаты нет — как жить-то?!

Он вытянул шею к воеводам, словно ответа ждал.

— Сказывай дале.

Антонов перевел дух и — опять глаза вниз.

— Ушел я из деревни. Не мог там. У справных мужиков робил. По городам тоже. Где за хлеб-соль, где одежду стару дадут. Года три эдак. А в Ярославле-городе схватили меня по навету ярыжки одного. Ден десять на съезжей держали. Потом дьяк разобрался, что облыж-

ный был донос, что нету вины на мне. Дьяк бает: выби-рай, мол, чего хошь. Либо счас тебе спину батогами разукрасят, чтоб от государева оброку не бегал, да в деревню возвернут. А либо, парень ты здоровый, иди служить палачом — им, вишь, палач надобен был. В деревню постылую не схотел я. Остался.

— И то,— посочувствовал Языков,— лучше с кнутом, чем под кнутом.

— Не боли спужался я, боярин,— помотал лохмами Антонов.— Другое на уме: авось да теи убивцы попадут мне на расспрос, на пытке скажут, как моих родителей... В глаза бы им глянуть, когда на плаху поведу! А не они, так другие, кто люд честной крестьянский забижал, пу-щай им на моей дыбе невинные слезы отольются.

— Встрел их? Тех-то?

— Да где там. Велика земля, густы вятски леса. Но уж других убивцев казнил, уж я их не жалеючи! За родителей, за сестрицу, за иных, корыстно убиенных!..— он задохнулся, закашлялся.

— Вора и убивца изничтожить — в том греха нету,— сказал князь Никита Петрович, наблюдая, как сотрясается в кашле большое тело Антонова.— Сказано: поделом вору и мука. Ежели на службе государевой и справедливости ради...

— Справедливость я блюсти старался,— прохрипел Антонов.— За то дьяк мне расположение оказывал. Умнейшая голова был дьяк-то, хошь и пьяница. «Люблю, грит, тебя, Антонов, зане пореешь с разбором, глядя по тому, чьей башке сия задница принадлежит». То верно: не всех я с пристрастием быю, коих и жалеючи, поверху глажу. Сам по себе приговор — то полдела, его еще сполнить надо с умом, тогда лишь справедливость будет и толк надлежащий. Иному, в ком совесть жива, ему и штаны пред палачом снять — наказанье. А в ком совести нету — его жалость только хуже портит. Однако, вон напарник мой Касым, ему все одно, кто пред ним разложен. Зубы оскалит, визжит, скачет и сечет с маху. Мне такое не по нутру. И дьяк, бывало, наставлял: «Того не милуй, кто сам норовом жесток, а кто по несчастью да с голоду, того пожалей». Обучил он меня многому: и людей познавать, и псалтырь читать. И вино пить...

— Незнамо, как псалтырь чтешь, а винищу тебя дьяк переучил излишне,— засмеялся Языков. От слов его Антонов поежился. Языков заметил, ободрил: —

А что грамоту разумеешь, то похвально. Сказывай даде. Пошто же от доброго дьяка в наши леса запро-
сился?

— А худое дело со мною сотворилося... В ту пору уж и прибык в ремесле, сердцу воли не давать приучился. И все ж одна сердце будто с цепи сорвалось... Холопа беглого изловили, на порку привели. Того холопа знавал я и допрежь того — смиренный мужик, незлобивый. Ежели правду сказать, приятель он мой был, а у палача приятелей много ль найдется... Знавал и господина его, боярина родовитого. Управитель боярского дому тож был мне ведом изрядно. От того управителя, от лютости его холоп и в бега ударился... Вот положил я своо приятеля на правежну скамью, привязал. Что поделаешь — служба. Замах беру широкий, а удар кладу легонький. Потому не за что беднягу дюже сечь, не по умыслу воровскому в леса шел — от притеснений невыносимых. А управитель тот самый, который и холопей мытарит, и боярина своо корыстно обманывает, тот живодер рядом вьется да все кричит, чтоб шибче я хлестал. Палку схватил и давай мово приятеля самолично бить... Нака-
тило на меня тут озверение — хлесть кнутом по управительской мерзкой роже, да вдругорядь, да еще!.. — Антонов воспрянул, руками взмахнул и боярам на диво улыбнулся, крупные зубы оскаля.

— Экой ты... — осуждающе покачал головой князь Никита Петрович. — Без приговору, без указа разве можно.

— Не можно, да бес попутал... — вздохнул Антонов. — Ну и расплата за то была скорая. Самого меня за того лиходея холопьяго и господина своо обманщика... самого нещадно батогами били. Да боль — ништо, обида больнее. Управителя по делам его давно сказнить бы надо. Но хитер, подлец! Крал, обманывал — и все шитокрыто. Сам же господин, управителем многократно обманутый, повелел награду ему дать, как пострадавшему... А я, отлежамшись, пал дьяку в ножки: будь, мол, отцом родным, отпусти куда-нито в дальни окраинны земли. Чаял: в местах глухих, вольных, от приказных да ярыжек подале, найду правды поболе. Добрый был дьяк, отпустил. И приехал я сюды, бояре милостивые, под вашею рукою служить... — Антонов поклонился.

— А и красно ты баешь, — сказал воевода. — Хошь бы и думному дьяку впору таки складны речи.

— Красно ли, нет ли, батюшка, а правду баю про жизнь нескладную, как велено тобою.

— Ну, дак тебе и в Верхотурье правды не хватило али как? Чем здесь жилось нескладно? Правеж над варнаками чинить не дюже много доводилось, жалованье от казны шло. Сыт, пьян — чего же надобно?

— Верно, батюшка, сыт был, а боле того пьян. Вином ушибался еще в Ярославле... Да посудите, бояре милостивые, что за жизнь у меня?! — Антонов жалобно посмотрел на воеводу, на Языкова. — Палача все сторонятся. Палач душегубов, убивцев, мучителей людских изничтожает, а им же малых робят пужают! Станешь пить, ежели вот здесь пекет! — он сгреб ручищей рубаху на груди, крутнул. — Ни бабы у меня, ни робенка. Гулящи женки пьяные и те опосля плюются, в церкву бегут грех замаливать. Одна отрада — вино. А вином разве жизнь поправишь! Сегодня забылся во хмелю, назавтра того тошнее — сызнава в кабак, в кабак! Целовальник жбан нацедит, несудомой, пью один и волком вою. Чую: пропал совсем, загинул!.. Блазнить стало: будто сестрица покойная, убиенная, в окно из ночи глядит, к себе манит. А то виселица, мертвец на ней висит, а сам хохочет, синим языком дразнится... Перекреститься — руки не подыму... Жуть!

Языков поморщился.

— Коли таки страсти, кинул бы пить-то.

— Не могу! Одолело меня вино, не могу остановить-ся! Хошь себя казни, руки на себя наложи!

Теперь Антонов весь дрожал, то хватался за голову, то грудь растирал, словно душило его. Маялся. От удущья трудно было говорить, но намолчавшись в лесной землянке, видя, как бояре внимают, он торопился излить откровение свое.

— А то, бывает, петь начнут, «со святыми упокой»... Таково жалостно... Да всю-то ночь и мечешься, и деваться от них некуда...

Вытер взмокший лоб рукавом, окинул горницу шальными глазами. Опомнился, что бояре ведь перед ним. Заговорил ровнее.

— Хотел я впрямь удавиться. Грех великий оно, да и жить не вмоготу боле. Но допрежь того надумал спытать последнее средство — убечь. От кабака убечь. В таки места, где его нету. Все одно я везде один — в тайге или среди людей. Но в тайге авось бог и сохранит,

отведет наваждение. Себя порешить всегда успеется. Надумал так-то и ушел. Чтоб али спастись али уж совсем душу загубить. Хлеба с собою, ячменя, соли... и вина тож — не удержался, забоялся без вина идти. Бежал, будто волки гонятся. Цельный день иду, вечером огонька высеку, хлебаца пожую, вина выпью, сплю. В тайге отлегло, спал крепко. Далеко ушел, на Лялю-речку. Там зимовать надумал, землянку вырыл. Рыбку ловил. Кажись, все ладом, на Ляле до весны не сыщут, а с теплом я еще дале пошел бы. Только и в тайге пришлось за вино платить... Пока шел, хорошо было, остановился — и началось все сызнава... Вино кончилось. Думаю: и слава богу, что негде его тут взять. Но сколь прежде-то выпито было, господи боже мой! Нет, от вина так легко не уйти... Днем еще ладно, а как стемнеется... Страстей таких не обсказать!.. Приходят из тьмы мертвецы, в землянку мою просятся, заходят, хошь и дверь на крепком засове... У его на шее от веревки след, глаза стылые, а он эдак присунется ко мне, зубы скалит...

— Довольно! — не выдержал Языков. — Будет тебе! Антонов отер бледное лицо.

— Как прикажешь, боярин... Да каково мне-то было?! Кругом тайга, ночь, а они ползут и ползут... руками холодными трогают... Они б замучили, кабы не Марья...

— Что за Марья? Тоже мертвая, блазилась тебе?

— Пошто? Живая Марья. Вогулка. Как по-ихнему звать, забыл.

— Да, ты ведь еще и бабу украл!

— Господи, мне разве бабу надо было! Мне бы человек живой рядом, ночью особенно, когда эти придут... Встрел ее в тайге и... Хрома она, да бежала прытко, однако. Я же, хошь и ослаб, в отчаянии пребывал, догнал, к себе уволок. Пал на колени перед вогулкою, плачу слезьми горячими, ровно ребенок: «Не трону, мол, тебя, побудь, Христа ради, не уходи, пропадаю!» Спервоначалу царапалась, кусалась. Опосля, видать, поняла. Да поглядела ночью, как меня страх корежит, — пожалела, осталась. Спасла от гибели жуткой. Сколь, поди, от веку бабья эта самая жалость спасала нашего брата! Пожалела и простила, что силом ее украл. Ну, сродичи не простили, вогулы-то. Повязали, сюды привели.

На бледном лбу Антонова капли пота казались холодными брызгами дождя на камне, хоть и жарко в горнице. Антонов обмяк.

Долго молчали воеводы.

Князь Никита Петрович завожился в кресле, крикнул:
— Афонасий!

Дьяк мигом явился на пороге.

— Уведи его, дьяк. Пушай под замок сидит покуда.
Вязать не надобно, не уйдет. Не уйдешь, Антонов?

Тот помотал головой:

— Куды ж я...

— Айда,— сказал дьяк, и Антонов покорно встал. Поклонился низко сперва воеводе, потом Языкову да в третий раз иконам. К двери шагнул.

— А бабу куды? — вспомнил дьяк. — Бабу, вогулку? Тож под замок прикажешь али куды?

Антонов повернулся так круто, что дьяк шарахнулся.

— Батюшка! Не давай ее в обиду, Христа ради! — повалился на колени, голову на половик уронив. — Боярин милостивый, ее-то за что?!

— Экой ты несуразный,— сказал воевода. — За себя бы челом бил, коли на правеж идти...

— Пушай лучше мне десяток плетей лишних, вогулку не вели мучать! Она меня от мертвяков собою заслоняла... Отпусти с вогулами, Христом богом прошу! Обидят ее в городе...

— Нейдет с вогулами,— сказал дьяк. — У ворот сидит, ровно идол, ждет чегой-то.

— Перестань, Антонов, лбом стучать! — прикрикнул князь Никита Петрович. — Дьяк, подыми его, дурака. Вогулку ж в людскую избу отведи. Пушай покормят, оставят при бабах-скотницах покудова. Этого под замок... Сейчас ему кару назначить язык не поворачивается...

В дверях Антонов еще обернулся:

— Пошли тебе господь здоровья да удачи, боярин! За доброту твою...

— Ступай, ступай, Антонов. За себя молись.

Князь Никита Петрович распахнул халат, потряс вмокшую рубаху. Молвил раздумчиво:

— Вогулка-то, а? Он ее силком уволок, а она за им, повязанным, сколь верст до острога шла. Язычница, а жалости поболе, чем у иного христианина.

— Баба хошь какой веры — все одно баба, — пожал плечами Языков. — А вот палач, от кабака бежавший...

— Не он первый, не он последний, — перебил князь с досадой. Встал, халат скинул вовсе, в рубахе мокрой заходил сердито по горнице, от стола к окну, от окна к

иконам да опять к столу.— Сколь уж от нас в нети ударилось люду служилого, да крестьянского, да ямских. Стены возводить — плотники утекли! Стрельцы тож многие. Не дай бог, башкирцы налетят — с кем город оборонять? Мало в Верхотурье людишек, да и те с кругу спиваются. Доколе ж сие? Воеводы мы али нет? Кто Верхотурьем призит, мы аль кабак? Мы за город в ответе, а в безделье зрим пьянство, совладать не можем! Дьяк! Афонасий, черт тебя!..

— На что он? — спросил Языков.

— Писать государю челобитную. Пушай дозволение шлют — кабак бы закрыть, сничтожить к чертовой матери! Зане пропадем от него всем миром!

— Дак писали же весною...

— Вдругорядь напишем, коли ответу не дают. Станем писать, покудова кабак не порушим.

— Не порушим. Государь не дозволит.

— Не сидеть же нам сложа руки, глядя, как людишки гибнут! Дьяк!

Языков вздохнул.

— Погоди, Никитушка, не блажи. Покуда гостил ты на Тоболе, грамотка пришла на имя твое. Зело мудрая грамотка.

Языков поискал в бумагах. Нашел. "

— Внимай, воевода князь Барятинский, государево недовольство. Все целиком читать не стану, само главное лишь прочту: «...От кабацкого питья верхотурских служилых людей, ямских охотников да пашенных крестьян унимать не смейте». А кончается грамотка еще сердитее: «...и вам в том единолично порадети, чтоб кабацкий сбор был больше прежних годов, чтобы нашей казне была прибыль. Москва, 7131¹ лета 20 августа».

Языков кинул грамоту на стол.

Князь Никита Петрович побагровел лицом, глаза выпучил, ругнулся непотребно. И рывкнул так, что огонек лампы заплескал:

— Дья-ак, так твою растак!

Афонасий влетел сломя голову, протянул князю кружку со свежим квасом.

— Крапивно семя, ты что подаешь! Вина неси! Двойного! Выпьем во славу мудрых приказов, туды их!..

¹ 7131 — по новому летосчислению 1623 год.

Варнацкий долг



Спирька прошел узеньким, заросшим крапивой проулком и стукнул в окно ветхой избенки-завалюхи, где жила знакомая старуха нищенка...

Утром он, вдоволь напарившись в тесной курной баньке, похлебал пустых щей, вкусных с отвычки, нарядился в постиранную старухой и залатанную свою одежонку и пошел в церковь. Широкая улица одним концом, сузившись, влезала в завод, на другом ее конце стояла церковь с тополями и березами в чугунной ограде, к которой примыкали дома духовенства. День был еще по-летнему жаркий, у маленькой лавчонки табунились бабы и околачивался стражник. Спирька в своей приисковой шляпе и подпаленной местами поддевке вполне мог сойти за углежого или старателя. Однако, завидя стражника, он свернул в проулок и обошел лавчонку другой улицей — от греха подале. У входа в церковную ограду встретился сам настоятель, худой строгий старик.

Спирька поклонился, прижав руку со шляпой к груди, а другой держась за пуговицу штанов: поп навстречу — дурная примета, и тут штанная пуговица — самое лучшее средство.

На церковном дворе было пустовато, только на паперти зевали нищие да на крылечке своего флигеля стоял священник отец Иона, плотный, краснолицый, и бросал крохи голубям. Среди простого грешного люда — старателей и мастеровых — отец Иона пользовался расположением. О нем говорили: «Ох и шельма поп! Однако простой, доходчивый. Заплати поболее — он те и мерина отпоет, и поросенка окрестит».

Спирька огляделся, нет ли кого поблизости, и подошел под благословение. Отец Иона бросил голубям последние крохи, отряхнул ладонь о подрясник и сунул руку приложиться.

— За малым делом к тебе, батюшка, — сказал Спирька, ткнувшись носом в поповскую руку. Священник сошел с крыльца и быстрым внимательным взглядом окинул мужика.

— А кто тебе, чадо, уши-то порвал? — спросил он певучим баритоном.

— А медведь, батюшка.

— Ишь ты! Чего же он тебя, как родного, за уши поучил, а башку не снял? Тебе же, дураку, легче было бы, хе-хе.

— Может, батюшка, моя башка ишшо людям пригодится.

— На рукомойник разве? Да и то красы мало. Чего надо-то?

— Возьми ты с меня, батюшка, зарок угоднику Николе, чтоб стало быть... Хмельным я иной раз ушибаюсь крепко, так чтоб вина бы в рот не брать боле...

— Сие дело доброе. Сказано бо: не упивайся вином! Али у тебя есть что пропивать-то? — отец Иона снова внимательно оглядел Спирьку.

— Да бог дал маленько...

— С прииска ты? Нет? Как звать?

— Спиридон.

— А фамилия?

— А пошто тебе, батюшка, фамилие? Бог-от и без пачпорта знат, на каку сковородку меня на том свете посадить. Ну, ежели надо, помяни в молитвах Спиридона Непомнящего. Как я родства своего не помню.

— Ишь ты! Забыл?

— Запомню.

— А много ли бог послал на пропитие?

→ Да так... Малость, — замаялся Спирька.

— Рассыпное? Али самородок?

— Песочек, батюшка. Дак ты скажи, как будет с молебствием-то?

Священник погладил бороду и сказал наставительно:

— Святым молитвы творить надобно с душою чистою. Поговеть бы тебе, чадо, очиститься от грехов и всякия скверны.

— Да каки грехи, батюшка! Сказываю тебе, из тайги я. А тама ни тебе начальства, ни кабаков, ни баб, и захошь, да не согрешишь. Нет, отче, не знаю, что дня через два будет, а теперича я святее архиерея.

— Не поминай непотребно духовную особу! — строго сказал священник и, помолчав, спросил: — Кому продать думаешь? Губину? Али Сазонтову? Гляди, они много не дадут.

Поглядел на голубей и сказал:

— А ты вот что. Неси-ка золото ко мне. Я возьму. Не обижу. А засим и молебен отслужим, и деньги получишь. Так-то и будет ладно.

Спирька заскреб затылок.

— Да ведь ты, батюшка, на украшение храма сдереши с меня, как с липки.

— Доброхотное даяние на храм — сие дело святое. Все равно пропьешь. Ужо вечером и приходи. Ну, иди с богом. Некогда мне.

Он перекрестил Спирьку и, распугав голубей, зашагал к храму. Спирька потоптался у крыльца, вздохнул, напялил шляпу и нехотя поплелся от церкви.

Проходя мимо кабака, замедлил шаг, но спохватился и перешел на другую улицу. Однако и тут, пройдя с десяток дворов, набрел на питейное заведение. Медленно прошел мимо, постоял, оглянулся. Вывеска заведения улыбалась желтыми буквами, манила. Из открытого окна слышался чей-то спотыкающийся разговор.

— Чего уж тут, — сказал себе Спирька. — Кабаков в поселке восемь штук, а я один. Все равно мне их не обойти, господи прости меня, грешного!

В низенькой, пропахшей хмельным питейной роями вились злые осенние мухи. В углу за непокрытым столом сидели два подгулявших мужика, и что-то оба враз толковали. За стойкой скучал рыхлый, оплывший хозяин.

— Ивану Калинычу почтение наше! — кивнул Спирька, подходя к стойке.

Зеленые глаза хозяина прищурились.

— О, Рваны Уши! Милости просим, давно у нас не гостил! Ну как, с фартом тебя проздравить?

— Слава богу, Калиныч, и наш брат не без счастья.

— Коли так — погости. Налить, что ли? Ето мы в момент, — он взял грязноватую стопку.

— Нет, Калиныч, налей вон ту, что помене. И то уж разве для встречи.

— Чего так? Аль захворал?

Спирька посмотрел на хозяина задумчиво, вздохнул.

— Домой меня потянуло.

— Домо-ой? — удивился Калиныч. — Нешто у тебя дом есть?

— Был. Тама, в Расее. И жена была. Хорошая жена, баская. Ну, баба-то, поди, с другим теперя. Чего уж, восемь годков тому, как меня от них это самое... Сынка повидать охота.

Голос бродяги потеплел, девалась куда-то таежная хрипота. Бронзовое обветренное лицо смягчилось и казалось теперь даже красивым. Погрустневшие серые глаза смотрели куда-то далеко за окно, за избы, за шиханы.

— Теперя ему чай пятнадцатый годок пошел. Глаза мамкины у него были, а лицом да повадками весь в меня. Да мне повидать токо, и назад сюды. Опасно мне там.

— М-да,— помычал Калиныч, толстым пальцем вылавливая из стопки муху.— Таки-то дела. Однако, пошто тебе в Расею брести? Коли сынок в тебя, стало, он Сибири не минует! Тута вот и встренетесь, хе-хе! Но-но! Чего глядишь так? Я ведь шутю. Ровно волк глянул! Пей знай, коли налито. Да, слухай! А дружок твой, Рябой-то Алешка,— слыхал? Словили его тута намердны.

— Чего-о? За что словили? Где он теперя?

— А в тюрьме. Али не слыхал? Как же, неделю уж сидит. Люди бают, стражника топором порешил, в лесу, у Крутого камня. Пропадет теперича Рябой, забьют.

Спирька глядел на кабатчика, приоткрыв рот. Потом лицо страдальчески покривилось, дрогнули усы.

— Как же это? Алешка-то? Как же не уберётся?

— То нам неизвестно. Зацапали его, а боле я ничего не знаю. Эй, куда же ты?

Но Спирька поставил невыпитую стопку, махнул рукой и быстро вышел из питейной.

До вечера бродяга слонялся возле каменной двухэтажной тюрьмы за высоким каменным же забором. Стараясь не попадаться охране на глаза, выглядывал из проулка, заходил сбоку. Хотел подойти к караульному — не решился. Тюрьма молчала. За узкими оконцами в решетках не видать было ничего. А он все бродил, пока не попался все ж на глаза караульному.

— Ты чего тут вертишься? — сказал караульный. — Али к нам охота? Заходи, милый, выпорем.

— А за что?

— Была бы спина, а за что — уж придумают.

— Мне потолковать бы с тобой, служивый.

— А вот я счас капрала крикну, он с тобой потолкует. Убирайся, пока цел!

Спирька убрался.

Нищенка встретила его ворчанием, однако налила щей, выставила полуштоф. Щи он съел, водку не тро-

нул. Сидел, думал. А когда опустилась на поселок темнота, покопался в котомке, собрал в тряпице малый узелок и пошел к дому отца Ионы.

Священник сам отворил дверь, провел гостя в крохотную угловую комнатку с наглухо закрытым ставней окошком. Перед образами горела лампада, слабо освещающая непокрытый стол с евангелием и чернильницей.

— Принес? — отец Иона сел на скамью и с беспокойством глянул на мужика.

— Нет.

— Пошто так? — пристукнул он по столу ладонью. Спирька шагнул к нему и остановился, теребя шляпу.

— Батюшка, золота у меня фунтов восемь наберется.

Белые мягкие пальцы священника неслышно забарабанили по столу, дрогнула густая борода.

— Н-ну, сколько же просишь за все?

— Нисколько. Даром отдам. Все отдам.

Пальцы поднялись над столом и замерли.

— Батюшка, помоги! Друг у меня в беде! Из-за Байкала-озера вместе тайгой шли, мытарства всякие терпели. Кабы не он, не видать бы мне волюшки и живу не быть! Я тута остался, а он, вишь ты, в Расею, домой, пошел, да, должно, возвратился. А теперя в тюрьме он, батюшка. Бают, стражника убил. Да не может того быть, не таков человек Алешка. А коли и убил, стало быть, нельзя было иначе. Батюшка, помоги выручить! Окромя тебя боле идти не к кому!

Спирька поклонился священнику в пояс, коснувшись шляпой половицы, выпрямился, глянул исподлобья. Отец Иона сидел, подавшись вперед, левая рука на столешнице сжалась в кулак, правая стиснула на груди крест с распятием. Глаза из-под сдвинутых бровей по-ястребиному впились в бродягу. Однако Спирька не отступил, не сморгнул.

— Ты! Варнак! — тихо сказал отец Иона. — Как ты мне, священнослужителю, речешь такое?! Духовного пастыря смущаешь противу закона! За вора и убийцу! Али ты по каторге стосковался? А ведаешь ли ты, что сей же час могу я тебя...

— А золота, батюшка, фунтов, поди, восемь будет, — так же тихо сказал Спирька. Медленно разогнулся священник. — Зови, батюшка, стражников! Вяжите меня! Только золота при мне нету. И пущай хоть огнем жгут, не скажу, где схоронено...

Кулак священника разжался. Белые пальцы опять забарабанили по столешнице. Помолчав, он спросил:

— Чего же от меня надобно?

Спирька сглотнул слюну и вытер шляпой лоб.

— Ты, батюшка, в тюрьму вхож. К арестантам ходишь со словом божьим. Сотвори ты и дело божье! Все-го токо от тебя и надоть — передай Алексею Рябову гостинец мой.

Спирька вынул из-за пазухи и тихонько положил на стол чуть звякнувший тряпичный узелок. Священник посмотрел искоса и вздохнул.

— Экой ты... рисковый. Ведь сам под батоги лезешь.

— Рябого выручать надоть. Сказываю тебе, и он меня от смерти выручал. А долг, батюшка, платежом красен. Богом прошу, отдай мой гостинец Алешке! Здеся задаток тебе — фунт песочку. А как будет Алеха на воле, принесу тебе все, что есть у меня, не сумлевайся. У нас в тайге слово крепко, сам, поди, знаешь, не первого вар-нака видишь.

Священник молчал, потупившись. По улице прошел сторож, стуча колотушкой. Когда стук удалился, замер, отец Иона сказал:

— Иди, чадо. Завтра ужю... Подумаю я. Иди.

Он запер за бродягой дверь на засов, вернулся в комнату, развернул сверток и долго рассматривал крепкие ременные вожжи и две стальных пилки...

Четыре ночи пролежал Спирька в густом репейнике под стеной каменного амбара наискосок тюрьмы. Заползал сюда в сумерках, уходил на рассвете. Днем на людях не показывался, отсыпался у нищенки в баньке, берегся.

На пятую ночь, когда уже близился неспешный сентябрьский рассвет, Спирька не ухом, не глазом, а скорее звериным чутьем уловил не то звук, не то движение за тюремным забором... Он встал, прислушался. За рекой тяжело дышал завод. На улицах лежала тишина. Даже сторожа, должно быть, задремали, не стучали в колотушки. Спирька быстро и цепко, точно рысь, влез на крышу амбара и залег у края. Отсюда видна была часть тюремного двора, серела стена с черными провалами окон. И под одним смутно угадывалась тень, она тихо двигалась по карнизу первого этажа туда, где к стене примыкал забор. Спирька сполз с крыши и прыгнул в бурьян.

— Сто-ой! — взметнулся вдруг крик караульного, отчаянную ругань перехлестнул выстрел. Затопали бегущие сапоги, снова выстрел. Но человек на карнизе уже добрался до забора и спрыгнул в проулок на руки подоспевшему Спирьке.

— Ползи! — рванул его Спирька. — Вон туды, огородами. Беги к Савельевне, жди там у бани. Ежели со мной что — ищи в Еловом овраге, где тогда прятали...

Он уронил беглеца в бурьян и побежал напрямик через улицу. Оглянулся на затаившийся бурьян и увидел выбегавших из-за угла забора караульных.

— Сто-ой, сволочь!! — и выстрел. Спирька вскрикнул и, нарочито припадая на ногу, кинулся в проулок, увлекая погоню...

Отца Иону мучила бессонница. Днем во время служб было еще терпимо. Но приходил вечер, а с ним спускалось на священника беспокойство, висело над ним невидимкой, мешало заниматься хозяйством. Вечера стали пустыми: привычная компания в вист распалась сама собой. Иногда приходил смотритель тюрьмы Нестеров, они выпивали всего по рюмке водки, и смотритель в который раз уже принимался рассказывать, какой громовой разнос получил он от начальства за Рябого. Отец Иона молчал и насупясь глядел в пустую рюмку. Повздохав, Нестеров уходил. А священник шел в свою комнатку, становился на колени, крестился на образа: «Прости мя, господи! Все мы люди, все мы человеки!»

И то сказать, как не согрешишь при сей жизни. Снизу подпирают две дочери, девок, того и гляди, замуж надо отдавать. Сверху давит, не дает размаху отец-настоятель, старик строгий, вредней любого дьявола. Крестинами да поминками палат каменных не построишь. А тут золото немалое само в руки лезет...

«Прости, господи, все мы человеки!»

Спать он ложился теперь не в спальне, а на коротком диванчике рядом с кухней, поближе к маленькому кухонному оконцу, которое на Урале зовется «милостынькой». По ночам до петухов ждал стука.

И дождался. В глухую полночь слышался стук, тихий, осторожный. Отец Иона сорвался с диванчика, выглянул в окно. Однако вместо ожидаемого бродяги узрел нахальную рожу волостного писца.

— Лукерья, выдь-ка сюды, — шептал писец и манил отца Иону пальчиком. Отец Иона открыл окно и запу-

стил в писца чем бог послал — чугунной сковородкой. А поутру долго учил за косы старшую дочь Лукерью. Поповна выла и богом клялась в невинности.

Жена смотрела на священника с тревогой и как-то, не выдержав, спросила:

— А не захворал ли ты, отец, дурной болезнью? Не тронулся ли умом?

Отец Иона только глянул свирепо, и матушка, обиженно колыхая могучим бюстом, убралась в спальню.

Тот долгожданный стук он услышал однажды перед рассветом. Отец Иона, прихватив на всякий случай медный ковшик, приник к окошку. На дворе было пасмурно, накрапывал дождик. Из темных кустов палисада маячила ему человечья рука. Он отпер окно.

— Я это, батюшка, не пужайся,— услышал он шепот.— Должок вот принес.

Спирька шагнул к окну и протянул холщовый мешочек. Рука священника вниз подалась от тяжести, пальцы ошупали сквозь холст твердую крупку.

— Прине-ес! Я уж думал грешным делом... Стало быть, вразумил тебя господь...

— Бог-от в етом деле ни при чем, и ты, батюшка, тоже. Я перед собою человеком быть желаю. В тайге желаю человеком быть.

Спирька стоял без шляпы, лицо его было неразличимо во тьме. Священник, прижав мешочек к груди, скользил беспокойным взглядом по фигуре бродяги, по мокрым кустам. Руки его тряслись, прыгала в оконце борода.

— Греха на тебе, батюшка, нет,— говорил Спирька.— Не убивал Алешка-то. Стражника того не видал ни живого, ни мертвого. А засудили бы, как бог свят. Ну прощевай, однако...

— Погоди... Что я тебе хотел сказать... Да, может, зашел бы, а?

— Не-е. Нельзя мне, опасно.

— Ну? А я бы тебе водочки, а? — глаза священника юлили. И вдруг он закричал:

— Да хватайте его!

Тотчас же кусты у баньки затрещали и выплюнули громоздкую фигуру, звякнули ножны шашки. Спирька отпрянул, но стражник смял его, повалил. Дверь поповского дома распахнулась, и из нее выскочил надзиратель Нестеров.

— Держи его, варнака! — размахивая пистолетом, Нестеров кинулся на помощь стражнику. Отец Иона перекрестил бороду и захлопнул окно.

Но тут из глубины огорода сухо и страшно грохнул выстрел, по веткам и листьям палисада хлестнула то ли крупная дробь, то ли картечь. Стражник взвизгнул по-собачьи и выпустил Спирьку. Нестеров с полдороги круто повернул назад, юркнул в дверь дома.

— Держи-и! — заорал он оттуда и выстрелил из пистолета. Но Спирька пропал, сгинул. Стражник, стоя на четвереньках, крутил головой и щупал ушибленную скулу...

...В лесу было темно, мирно шелестел дождичек, брызжа с пушистых пихтовых лап в разгоряченные лица бродяг. Они замедлили бег и отдышались.

— Говорил я, что ходить не надо, — укоризненно сказал Рябой.

— Я думал... по совести, — переводя дыхание, ответил Спирька. — Не для него — для себя. Не могу, ежели кому должен.

— Стало быть, отдал бы?

— Ага.

Рябой плюнул:

— Нельзя с имя по совести.

— Вижу теперь. Золото при тебе? Ну-ну. А вовремя ты стрелил.

— Ладно. Айда, что ли...

Рябой нагнул голову и медведем полез в чашу.

...Мокрый, замаранный землей стражник виновато топтался у порога, пачкая сапогами половики. Нестеров размахивал кулаками и нехорошо ругался. Из спальни слышался испуганный писк матушки и поповен.

— Я же Христом клялся, что изловлю варнаков! — кричал навзрыд Нестеров. Он подскочил к стражнику. — Из-за тебя, мать твою!..

Звучно хлестнула пощечина. Стражник молчал. Вместо него вдруг застонал отец Иона.

— Ты чего, батюшка? — обернулся Нестеров.

Священник сидел перед столом, тоскливо глядел в потолок потерянным взглядом. Из развязанного холщового мешочка сыпался на скатерть чистый, с гальками, обыкновенный речной песок...

Казак Гореванов



Тимохин двор постоялый от торговых рядов — в отдалении. Богатые купцы, на Кунгур-городок с товарами наезжая, сюда не заходят, они в гостиных палатах жительство имеют, где горницы высоки, окошки стеклянные, прислужники расторопны. Сибирским инородцам, вогулишкам, татарам и прочим, на Тимохин двор тоже ходу нет — для них подле заставы остяк новокрещеный корчму держит. Тимохины же постояльцы — из деревенок уездных народ: торговцы достатку среднего, ямщики либо гонцы с Верхотурья на Чердынь и, наоборот, духовного сословия мелкая сошка, дьячки да псаломщики, еще тобольский служилый люд, казаки. Подворье не шибко велико, да места всем хватает: и возам, и лошадям, и самим проезжающим. Опречь избы постоялой, где народец попроще ночует на лавках, на полу, в тесноте, да не в обиде, есть еще и чистая изба для гостей поденежнее, потароватее. Иной сотник казачий либо сын боярский, а то и подьячий, деньгою оскудев, проездом дальним или гульбою поистратившись, Тимохиной чистой избой не брезговали.

А еще хозяин, длиннорукий, ухватистый мужик Тимоха Вычегжанин, держал каморку скрытую под сеновалом, а кого в ней привечал — про то лишь одному богу в молитвах покаянных сказывал. Оно и понятно: грех перед Всевышним замолить можно, а земных господ — стражников, приказных уездной канцелярии, — их мольбою словесной не насытишь, и будь ты хоть кругом прав, они твою правду наизнанку вывернут, твой карман тоже, с сумою по миру пустят, в долговой яме сгноят. Ныне сильно крапивно семя.

Сей день, во храме еще к вечерне не ударили, собрались в чистой избе все люди степенные, земские служилые, не какая-нибудь рвань. Однако хозяин Тимоха у ворот стоит, в обе стороны поглядывает: не занесла бы сюда нелегкая соглядатая, честным людям поруки какой не приключилось бы.

Октябрь во дворе, сыро, холодно. И на сей случай печи топлены, окна ж заперты наглухо, рядом завеше-

ны: слово сказанное до недобрых ушей не донеслось бы. Душно в избе. У стола, по лавкам вдоль стен сидят тесно человек более полдюжины, тут и кунгурские жители, и из уезду кто по случаю. Потееют от духоты, от дум натужных. Кто голову повесил, нос в бороду уткнул, кто по лавке задом елозит, будто на уголья его посадили уж за мысли негодные, кто речам кивает согласно.

У окна стол сосновый, ладно строганный, и писец сидит, пишет борзо, с усердием. С лица бел, телом худ, хоть и в кости широк парень. То ли хворый, то ль давно не кормленный. Рубаха на нем — ровно собаки подрали, волосья на голове космами, ровно у монаха-забудыги кабацкого. Пред ним чернильница глиняная, гусиных перьев пук, ножик, хлеба краюха да квасу бурак берестяной. Он хлебца отщипнет, кваску глотнет и дале пишет, чавкая по-голодному.

Супротив писца набычился земский староста Парфен Четверик, борода — лопата, голова — палата: рассудителен, слово молвить складно умеет, сам грамоту разумеет. Глядит неодобрительно — эконожит парень, будто свинья, за двумя-то делами сразу, того и гляди, кабы не подавился или, того хуже, бумагу не испортил. Однако заругаться под руку нельзя, пушай уж...

— Написал?

Парень кивает, к хлебу тянется.

— Пиши: а в казну уездные люди платят сборы таковы. Окладные с двора три рубля четыре алтына с полуденьгою и полуполуденьгою. К городовому строению девять алтын и полчетверти деньги. Написал? На подряд генерального провианту по рублю. За пустые дворы по тринадцать копеек с полушкою. На канальное дело по две гривны со двора да противу канального расположения по четыре алтына две деньги с четухи.

— Это как — и за канальное, и противу? — поднял голову писец, пером космы свои со лба отведя.

— Да уж бог их знает как. Дерут семь шкур, и все, бают, по указу полагается. Робим с утра до вечера, а кусать нечего. Ты пиши, пиши. На мостовое строение опять же по пятаку со двора. Да на ямскую гоньбу по десять алтын со двора. Банные по десять копеек с бани. На отвоз и на отдачу радетельного сбора по пять денег с рубля.

— Какого сбора?

— Радетельного.

— А кто кому радеет?

— Про то подьячих спроси, они за нас радеют. Пиши знай, не то, гляди, перо с хлебом сжуешь. Стало быть, мирского совету по восемь копеек с четухи. Сбор в земску избу по алтыну. Да опричь казенного платежу берут чины Кунгурской канцелярии многие сборы ради — для безмерной корысти своей, с великим пристрастием и боем. А подьячий Савва Веселков неведомо по какому указу собирает во всем уезде по пяти алтын по две деньги с двора, а при сем многим чинит обиды и разоренья и бьет на правеже батогами смертным боем, и от того смертного бою не могут они тем платежом вскоре исправиться, лошадей и коров продают мелкою ценою и хлеб по алтыну за пуд. От тех поборов неправедных пришли уездные люди во всеконечную скудость. А те, кому платить и продавать нечего, и те от такого бою, оставя дома свои, разбежались, а с той пустоты на остальных на всех правят означенный сбор. Кто же дерзает слово молвить противу излишнего платежу, того Кунгурска канцелярия засылает в посылки дальни, на Вятку али в Питербурх.

— Неужто в самый Питербурх? — сказал парень завистливо. — Я бы поехал.

— И наоборот бы уж не приехал, — остудил его Парфен. — Народ оттель, из Руси-то, в сибирские леса бежит, а он, вишь, поехал бы... Пиши.

— Помешкай, Христа ради. Рука писать отвыкла, отдыху просит. И перо очинить надобно.

В углу сидевший Медынского острожка сотский Никита Ширинкин выкрикнул:

— Пропиши там: ныне ведено по уезду искать медны да железны руды, кирпич возить тож. У мужика свой воз, да ишо б чужой повез — нешто справедливо?!

Парфен на крикуна бородой мотнул:

— Погодь! Мы кому челобитную пишем? Главному начальнику горному да заводскому. Ему царь велел руды сыскать, а ты, выходит, перечишь цареву указу? Не надо про сие, парень, разгневается генерал.

Выборный Торговишского острожка Ларион Дунаев негромким стоном вымолвил:

— Про нас, Парфен, про нас обскажи.

— Валяй про них. В Торговишском-де острожке тот подьячий Савва Веселков, правя поборы беззаконны, бил крестьянина Слудкина Ивана плетью и из своих

рук дубиною и говорил всем мн., им людям и выборным: ежели они не дадут ему рубля, он их всех до смерти побьет. А с него, Лариона Дунаева, взял насильно при всех мирских людях денег рубль...

Ширинкин опять:

— С меня десять алтын!

— Да с сотского Ширинкина Никиты взял насильно же десять алтын.

Никита вскочил:

— Савка Веселков меня облаял похабно, плеткой стеганул! За что, братцы-мужики?! Не по указу грабят, да ишо и бьют! Эй, верхотурец, а ишо пропиши: дерут с народа деньги на подношение генералу. Отколь взять?!

— Какому генералу?

— Который сюды главным управителем едет. На подарки ему.

— Это которому вы челобитную-то сочиняете?

— Ему.

— Эва! Бьете челом против лихоимцев, а он, выходит, сам лихоимец!

Мужики завозились, зачесались. Смирный Ларион Дунаев жалобным тенорком состонал:

— Куды денешься? Он большой начальник, дать надобно. Только Веселков заберет себе половину...

— Эх вы,— писец головой покачал, жалеючи.— У кого управу ищите...

— Не пиши про то,— угрюмо сказал Парфен.— Не дело ты молвил, Никита.

— Про все пиши! — кричал сотский.— Пущай хошь единова узнает генерал мужицку боль неизбывну! Он в наших местах господин приезжий, а нова метла поновому метет. Пущай сам с нас берет, а Савке не велит. Все ему обскажем, как попу на исповеди!

Мужики зашумели: писать — не писать? Парень отложил перо. Он пил из бурака, тек квас на рваную рубаху...

Сочинять покончили в сумерках. Мужики поднялись с лавок, покрестились на образа: пошли, господа, челобитной — ход, мужикам — генеральскую милость, а челобитчикам — кнута б не отвеждать. Кланялись, выходили вон: кто домой, кто, приезжие, в избу знакомую гостевать до утра, кто тут же, на постоялом, щец Тимохиных похлебать с устатку. Остались с писцом Парфен да Никита Ширинкин. Засветили свечу сальную. Парень

хлебные крохи собрал в горсть, съел. Вытер столешню рукавом, принял от Парфена чистый лист — челобитную переписать набело. Вывел:

«Начальнику казенных заводов генералу-майору, господину де Геннину».

Парфен полюбовался, похвалил:

— Баско пишешь. Где таку премудрость обрел?

— В Верхотурье, при монастырской канцелярии, писцом был.

— Обучили изрядно монахи, божье дело сотворили.

— Божье-то божье, да били не по-божески. Наставник мой, отец Евмений, грешный был монашек, вином ушибался, и за то его вытурил игумен из канцелярии на конюшню, за лошадьми ходить. И меня к нему приставил, грамоте учил чтобы, вроде как во искупление греха пьянственного. А отец Евмений грешил паче прежнего: напьется, бывало, и лупит меня чем ни попадя.

— Ты и убег?

— Не. Грамоту знать хотел, потому терпел. Да и куды бечь?

— Ты из посадских али кто?

— Шадринской слободы крестьянский сын. Родитель не пашенный был, а по плотницкому делу. И велено было таковых умельцев пригнать сколь потребно в Верхотурье, ладить дощаники да на Сибирь сплавлять. На Верхотурье в землянке жили. В перву же зиму маменька померла, а к весне и родитель долго жить приказал. А я вот бог знает на что выжил. Отец игумен и взял в монастырь из милости, отец же Евмений бил без милости — при таких-то отцах я и грамотным стал. На конюшне ел и спал, а впредь, зело канцелярскому делу понатаскавши, писцом прочили.

— Везло тебе, парень!

— Не знаю... Я так рассудил: конюшня чище канцелярии, а самая худая лошаденка все ж отца келаря честнее. Стал в ямщики проситься.

— Отпустили?

— С полгода били, потом надоело, выгнали. Подал воеводе прошение, поверстали в ямщики, казенну лошадь дали...

Парень умолк. Взял рчиненное перо, макнул в чернильницу. Никита Ширинкин писать не дал, залюбопытствовал:

— Лошадь-то пропил, что ль? Погодь писать-то, расскажи.

— Да уж сказывал вон старосте.

— А и мне-ка знать охота. Мой братан меньшей тоже в ямщиках, в Тобольск послали о прошлу зиму, до сей поры и слуху нету... Сделай милость, поведай, что дале приключилось. Ишь тощей да рваный, не с добра ж. Звать-то как?

— Ивашка.

— А прозвание?

— Гореванов.

— Сказывай, Иван-Гореван, мы послушаем.

Парень допил квас, Парфену до столешни поклонился:

— Благодарствую за хлеб, за квас. Дай вам бог жизни облегченье, генеральское благоволение.

— Сладко бает,— хлопнул его Никита по костлявому плечу.— Ну?

— Хлебца б еще...

— Как покончим ужо, щец похлебаешь,— пообещал Парфен.— Вижу, милок, оголодал ты. Досказывай вон Никите, да пора дело вершить.

Иван Гореванов заговорил без охоты:

— Ну, ездил я в острожки, в городки... А в последний раз на Соликамск, воеводе ихнему вез казацкий голова депеш. Оттель казака на Чердынъ отправили, а меня в обрат с отпиской. Потрафил как раз на Верхотурье обоз купецкий, малый, и я с ним — все не одному лесами ехать.

— Оно того... Развелось в лесах воров, что комаров. Сотский на Парфена покосился:

— Мужiku невмочь при пашне своим домом жить, оттого и бегут в ватажки. Ну?

— Краше б одному ехать... Прошлый год осенни дожди пошли рано, дорога водяна, мосты худы. Лошади заморилися. Косьву-реку миновали, на Павдинский камень уж выйти — тут они и встрели нас. Под вечер было. Я на дороге бывалый, передом ехал. Гляжу, будто мелькнул в чащобе... Не зверь, не вогул, человек в кафтане, кажись... Хотел товарищей упредить, а тут крик, из лесу выбегли с кистенями, с топорьем... Хлестнуть бы мне по лошадям, в бега прытче удариться, цел бы остался: возок без клади, на что я нужен. Да гляжу — товарищей счас порубят! Я за топор... А меня ки-

стенем и достали. Вот она, памятка...— Иван разгреб на темени грязные космы.— Ничего не помню боле. Купца и обозников, должно, побили смертно. Лошадей поимали. Сгнбнуть бы и мне на дороге той, да господь спас: охотник-вогул из чащобы разбой видел, сам таился...

— Они, вогулишки, завсегда так, за крещеных ни-почем не вступятся! — крикнул Никита.

— А пошто им? — обернулся к нему Иван.— Крещеные друг дружку мордуют, пошто вогулу встравать? Он охотник, он мирный.

— Одно слово — нехристь.

— Ваш подьячий Савва Веселков крещеный? А не поганее ли вогула? То-то. Не верою человек украшен, а душою верной. Монах отец Евмений однова, во хмелю пребывая, за беса меня принял, древком от хоругви едва до смерти не зашиб. А вогул, охотник-то, как только крещеные друг дружку поубивали, ватажка в лес утекла, он на дорогу и вышел...

— Дограбить, что осталось!..

— Ну и дограбить, чего ж добру в грязи гнить. Вогулу każда железка — божий дар. И средь телег погромленных, средь мертвых тел на меня набрел. Углядел, что дышу еще. И не покинул волкам на растерзание! А? Вот он как, вогул-то. Через дремучие леса сколь верст на себе пер. В землянке vyhаживал, кормил, травами отпаивал. А? Крещеный, стало быть, убивал, а дикий нехристь жизнь сберег...

Иван схватил бурак, выпил остатки. От взмаха заколыхался огонек свечи, на белом лице Гореванова задрожали синеватые тени, жиденъкая бороденка ходуном ходила. Никита вздохнул:

— Во, жизнь распроклятая! Сверху свора чиновная давит да рвет, снизу погань разбойная грабит да бьет, а мы, народ работный, посередке сдавлены, и не у кого защиты искать.

— Да... Отпоил меня вогул, откормил рыбоу. По реке в долбленке к родичам своим проводил, те — еще дале. Так и до Кунгура. Тут впервые с прошлой осени отведал хлебца, в церкви божией за охотников лесных помолился... Хозяин здешний дядя Тимоха вашим милостям представил...

— Н-да... Стало быть, не дано ишо с душою расстаться без покаяния. Ты не горюй, Гореванов,

с первым же обозом на Верхотурье отправим, домой.

— Нету у меня дома. В Ямской слободе за покойника считаю давно.

Парфен толкнул сотского:

— Поди-ка, братец, принеси ему кваску. И хлеб, покуда бумагу перебелит.

Никита с готовностью ушел. Парфен обнял Ивана за плечи.

— Скажу я тебе, парень... Вишь, один ты на белом свете. На Верхотурье торопиться не для ча. Так что, родименький, яви таку божеску милость, потрудишься для миру крестьянского. Не обидим, ежели все обойдется... Денег тебе наберем с алтын, в дороге на корм...

— Ты про что, дядя Парфен?

— Да про челобитную же.

— Счас перебелю.

— То само собой, как уговорились. И ежели согласный будешь... Мы б тебе щец с убойной сколь захощь! Винца надобно, так и винца бы... Тут близко у бобылки ноне топлена банька, попарься во здравие. Вогулишки, они человеки тож, оно верно, да все азияты, не мыты, не маканы... Опять же икон в ихнем жилье нету, лоб перекрестить не на что — в баньке душою и телом омоешься. Одежонку дадим справну, хошь к генералу в гости, хе-хе...

— Спаси тя Христос, дядя Парфен. Да не пойму, за что мне...

Парфеновы глаза по углам зарыскали, затомились.

— Хм, того... Стало быть, Ванюша, энтото...

— Да чего?

— Отнес бы ты челобитную-то нашу, а? Генералу де Геннину то есть. Сам рассуди, милай, тебе сподручнее: ни кола у тебя, ни двора. Опять же ни бабы, ни лошади. Отнять неча. У нас же дома, робятки малые...

— Боятесь? А к челобитью мне же за вас руку приложить?

— И то славно бы. Да не наш ты, не кунгурский. Подпис наш класть придется. Ты отдай только генералу.

— Сами и отдавайте.

— Эх, Ваня! Молод ты, вьюнош. А я в земских старостах не первый год хожу, господ повидал всяческих, а норов у всех одинакий: кого первого увидал, на том и зло сорвал.

— Вы под генеральское зло мою голову кладете?

Славно! Али две шкуры у меня? Запорет генерал...

— Не должен бы, Ваня, шибко пороть-то. Сказывали, хошь и из немцев он, да бога помнит, не лютует. Подержит маленько на съезжей под замком — эка беда! Мы б на корм всем миром рупь серебром... как ты для миру пострадал. Насмелся, Ваня, бог тебя боронит, сироту! Пожалей нас и робяток наших, поди к генералу, христом-богом молю!

Сотский принес хлеб и квас.

— Откушай, верхотурец.

Стрельнул сотский глазом на Парфена, тот кивнул легонько. Гореванов хлеб жевал. Думал.

— Дак как, Ваня?

— Ну вас к чомору. Зло на вас берет!

— Вона! — рассердился Парфен. — На разбойника, что по башке кистенем благословил, и то, кажись, зла не держит, а на нас ёго зло берет!

— Смирны вы больно.

— Да ежели все за кистени схватятся, кто ж хлебушко растить станет? Не может весь народ разбоем жить! У кого какая планида: кому кистень, кому соха. А коль соха, то и бойся греха, с сильным не борись, с богатым не судись.

— По мне, так лучше за кистень...

— Сам — в чем душа, а туды же!

Сотский дернул Парфена за полу. Голосом умильным погладил:

— Твоя правда, милок, трусоваты мы. Запуганы. Дак пойдешь?

Иван попил квасу, утерся драным рукавом.

— Ежели опричь меня во Кунгуре храбреца ни единого... Пойду.

Сквозь бычий пузырь окошка несмело просилось в избу утро. Мужики вчерашние собирались поодиночке — к челобитной руку приложить. Входили, по лавкам рассаживались. Писца вчерашнего узнавали не сразу, чудесное преображение за ночь свершилось: волосье подстрижено под горшок, одежда, сразу видать, с чужого плеча, однако порты новые почти, рубаха домотканого холста. Вроде не такой уж и тощий. Ликом пригож. Мрачен только.

— Тебя, паря, хошь женить в пору.

Писец нехорошо усмехнулся:

— Сосватал дядя Парфен. Весела свадьба предвидится. Не на постель пухову—на кобылу деревянну возложат да на ребрах, как на балалайке...

— Помолчи, балалайка!—Парфен осадил.— Ну-ка, миряне, все ли мы тут? Ну, господи помилуй! Подходи чередою подпис на бумагу класть.

И не шелохнувшись. Сопели... Гореванов съязвил:

— В коленках ослабли? Мало, мало вас Веселков бил!

Ларион Дунаев тенорком пропел:

— Сперва прочесть надобно...

— Й-эх!—поднялся Никита Ширинкин, шагнул к столу...

2

В сенях Татищев столкнулся с Осипом Украинцевым.

— Эко скачешь! Резвость такова не по чину тебе, Осип. Помощнику генеральскому шествовать с важно-стью надлежит.

— Ох, не по мне чин сей, Василий Никитич! Кручусь, бегаю туды-сюды, яко бес, прости господи, да от поспешности моей проку чуть. Сержант я, не рудозна-тец, мне б при баталии из пушек палить, а не на заводе их лить. Прими, Христа ради, должность мою! В горном деле ты горазд, у господина Геннина в фаворите...

— Да от Питербурха в опале. Не чинов мне, а кабы тюремного харча не отведать.

— Ништо, новый начальник де Геннин сыщет деми-довские неправды.

— Сыщет, нет ли, бог знает. А куда терпи, Осип, на то ты и гвардии сержант.

— Куды мне! Ты, Василий Никитич, артиллерии капитан-поручик, да противу Акинфия Демидова не отстрелялся.

Татищев засмеялся, двинул Осипа по широкой спине кулаком.

— Вильгельм Иванович тут ли?

— С лекарем да саксонцем медным сидят, лопочут по-ихнему. Меня, однако, по-русски обругать изволил.

— А иначе ты брань за хвалу примешь, речь немецку не разумея.

— Вольно тебе, Никитич, шутки шутить, не у дел

пребывая. Мне ж денно и ночью покою никоторого.

— Не тебе токмо, всей России государь покою не дает, понеже и сам отдохновения не ищет. Заходи, Осип, коль нужда будет, помогу в заботах твоих, сколь сумею.

Татищев оправил мундир, вошел. В зале канцелярской за двумя длинными столами корпели над бумагами писцы: новый начальник казенных заводов Георг Вильгельм де Геннин, едва успев ступить на землю уральскую, принялся за дела и допрежь всего готовил рапорт о прибытии своем. Надсмотрщик Головачев вдоль стола ходил, диктовал:

— ...машинный кузнец Наум Вигуров, колесник Антон Соболев да горных дел ученик Иван Ефремов в пути на реке Каме умре.

Надсмотрщик, оглянувшись на дверной скрип, поклонился. Подьячие и писцы встали. Татищев кивнул им, в кабинет прошел.

Здесь и впрямь будто в ученой кумпании амстердамской: после российского «на реке Каме умре» иноземную картавость чудно слышать. Лекарь Иоганн Спринцель, собою худ, черен, в парике преогромном, про целебные китайские зелья изъяснял, в немецкую речь слова латынские вставляя обильно. Сам де Геннин, крупный, дородный, с одутловатым, болезненным лицом, внимал лекарю, головою кивая. Сидел тут еще медных дел мастер саксонец Циммерман. Этот здоров как бык, китайские зелья до медного дела касательства не имели, поэтому саксонец давно соскучился, в кулаке пустую трубку тискал, уйти же не дерзал, а закурить тем паче: генерал грудною болезнию скорбен, курцов не жалует. Циммерман приходу Татищева рад был, встречу ему поднялся и трубкою взмахнул приветственно.

Управитель де Геннин сидел в мягком кресле, вытянув ноги в черных шерстяных чулках до колен, облокотясь на стол, заваленный бумагами, чертежами, камнем всевозможным — здешних руд образцами. Руку в кружевной манжете протянул:

— Входи, Никитич, входи. Каково здравствуешь? Тут лекарь сказывал нам, из Китая-де отменные снадобья противу всякой немощи возят дорогою Верхотурской. Тебе, Никитич, здесь не токмо что дороги, а и тропы все ведомы торговые, вели тех средствий герру Спринцелю привезть. Пушай на мужиках хворых испы-

тание бы произвел, сколь те зелья гожи от хвори, да и пользовал впредь. Садись, Никитич.

Циммерман счел удобным откланяться, за ним неохотно лекарь последовал. Вдвоем остались. Геннин поворошил на столе бумаги, одну подал Татищеву.

— Еще челобитная получена. Супротивника твоего Демидова обличают в ней.

Генерал де Геннин, двадцать лет в службе российской пребывая, изъяснялся по-русски свободно, иной раз и бранился под горячую руку не хуже здешних приказчиков. Челобитная же, которую читал Татищев, хоть и по-русски писана, но буквы наполовину иноземные, слова тоже. Бергмейстер Блиэр жаловался новому управителю, что Акинфий Демидов чинит противности казне, а служителям казенных заводов от него в письмах и словесно поношения срамные и обиды. Татищев дочитал, со вздохом положил бумагу на стол.

— Каков! — Геннин сердито ткнул в бумагу пальцем. — Наглости у тульского мужлана в преизбытке! А и то сказать, пошто б ему наглым не быти? Понеже его заводы, а не казенные, государю отменное железо дают в изобилии. В противоборстве нашем он победитель. А победителей не судят, хотя и зело надобно бы...

— Имею надежду, Вильгельм Иванович, что под вашим попечительством пойдет с казенных заводов железо изряднее демидовского, — поклонился Татищев.

— Послужу государю, сколь сил моих станет. Но истинно сказано: один в поле не воин. Мало у меня людей честных, в горном деле понятием одаренных. Всюду лихоимцы, яко тараканы, ползают, множатся, и нет острастки им! Вот и сей день в канцелярию две челобитные поданы о неправдах здешних... А я, видя пьянство округ себя, казнокрадство, кривду всякую, кому я стану челом бить? Кто мне в стараньях сих протекцию окажет бескорыстную?!

Толстые, в перстнях, пальцы мяли, комкали синюю скатерть, и от того челобитная бергмейстера Блиэра шевелилась, топорщилась, ползла к Геннину. Татищев сказал вполголоса:

— Две челобитных? А и третья, Вильгельм Иванович, у ворот дожидается. Малый с бумагою от кунгурских уездных людишек...

— Все жалобы в канцелярию подавать надлежит.

— Мужик канцелярии не верит. Тот малый и мне

отдать не захотел, не доверил. Явите такую милость, прикажите звать сего упрямца.

Управитель насупился. Тяжело сидел в кресле, расставя ноги, под распахнутым камзолом вздымалась дыханьем натужным белая, голландского полотна рубаха на широкой груди. Человек он видом могутный, здоровьем же не весьма крепок, и дорога измотала его. Семьдесят два дня добирался с людьми своими. Плыл реками в коломянке, ехал сушею в кибитке по дорогам, и от тягот дорожных проявились в нем нездоровья всякие. Отдохнуть же недосуг — не на отдых ехал. Татищев, капитан-поручик, знал, каково будет преемнику его, хотя и генералу. Да что ж, каждое здоровое дело тяжко дается на Руси...

— Дикий край, дикие нравы... — будто услышал Геннин думы Василия Никитича. — До бога высоко, до царя отсель далеко, токмо корыстолюбцы всем правят. И дивно мне, Василь Никитич, как это до сей поры люди не разуверились в суде правом и справедливости истинной? Их розгами бьют, в железа куют, неправды всякие корыстно учиняют — а народ все еще верит, что управитель де Геннин в силах правду утвердить... Откуда столь терпенья и надежды черпают?

— Мудрецы латинские говаривали: дум спиро спиро — пока дышу, надеюсь...

— Однако и от надежд несбыточных да сохранит нас господь. Пустые мечтания влекут за собою несчастья сугубые... И втуне уповают люди на справедливость мою. В столице, у царя под боком, грабят казну нещадно — в силах ли я здесь то пресечь? Мне государев наказ — заводы прибыльные, а не законы праведные. Скорбно, что, едва прибыв, не столь заводами, сколь жалобами заниматься принужден... — он стиснул горстью кружевной ворот рубахи, закашлялся надсадно. Отдышался, пот вытер. — Об чем, бишь, просил ты? А, мужик с прошением... Коль ты за него ходатаем, так и быть, вели ему войти. Каков упрямец, канцеляристам моим веры не имеет! А и правильно делает...

Татищев встал, поклонился низко — невзирая на благосклонность Геннина, он вольностей себе не дозволял, — дверь приоткрыл, передал надсмотрщику веленье управителя.

Проситель вошел. Перво-наперво на образа перекрестился. Потом господам отвесил поклон, коснувшись

рукою половика. И встал у двери, ожидая, когда дозvoлят слово молвить. Молод, лицом светел, синий зипун висит на нем, как на колу. Глядит без робости, с любопытством.

— Говори, на кого извет принес,— дозволил Геннин.

— Не извет, святая правда в бумаге прописана.

— Отчего в канцелярию отдать не хотел?

— Таков наказ имел от людей кунгурских: в собственных чтоб руки, а боле никому.

Татищев челобитную принял, Геннину подал. Вскинув голову, далеко бумагу держа, управитель стал читать. За дверью в канцелярии невнятно звучал голос надсмотрщика.

— Гм! Складно и красовито писано. Кто сочинял сие?

— Я сочинял. И писал я же.

— Где ты, мужик, столь преизрядно грамоте учен?

— В верхотурском монастыре Никольском.

— Стало быть, монастырский ты человек?

— Нет. Я Верхотурской слободы ямской житель.

— Какова же тебе корысть за чужой уезд радеть?

— Пошто за чужой? Кунгурцы и верхотурцы, одному мы богу молимся, беды терпим одинаковы...

— О! Востер у тебя язык! Чаю, на Кунгуре своего краснобая не сыскалось!

— Как не быть. Да бояться, кабы от челобитья не вышло битья.

— Кого ж убоялись?

— Разве некого?

— А ты не страшишься?

— Да коли все устрашатся, кто же тебе правду скажет?

Управитель тяжело поворотился в кресле, на парня набычился.

— Как звать?

— Ивашка Гореванов.

— Ай да прозвание! — засмеялся. — Гореванов ты и есть, поелику много битья примешь — язык остер не почину. Ямщик ты? Ямщику много ли слов надобно: коня бранить матерно, коль дорога плоха, да богу молиться слезно, коль жив доехал. Все прочее краснобайство излишне. Но к писарскому делу у тебя талант несомненный. Глянь, Никитич, сколь пригоже начертано, буквы ятны, слог хорош. Головачев! — гаркнул управи-

тель. Надсмотрщик явился тотчас, во фронт вытянулся.— Сего грамотея,—махнул бумагой на Ивашку,—возьми в канцелярию копиистом. Писцы нам зело надобны.

Головачев парня по затылку двинул:

— Благодарю, дурак, кланяйся!

— Батюшка! — парень завопил.— Пошто меня в писцы! Сделай милость, приставь лучше к лошадям, хошь конюхом! Не свычен я по канцеляриям сидеть...

Геннин ногою топнул.

— Головачев! Сведи на конюшню, коли сам того просит. Да всыпь кнутом по задку, чтоб не мудрствовал. А после того веди в канцелярию, пущай стоя пишет, ежели сидеть не свычен.

Надсмотрщик сгреб парня за шиворот, словно воробья кот, едва не на весу из кабинета выпер. Управитель глянул на Татищева не то гневно, не то с укором.

— Видал? Говорит, в бумаге сей правда прописана!.. Смерд полудохлый мне сюды мужицкую правду принес! А что мне с нею делать? Кому на Руси правда нужна?! — потряс над головою бумагой, хотел на стол кинуть, да передумал, опять в строки воззрился, сопя и хмурясь.

Татищев с делом пришел, но, видя Вильгельма Иваныча нерасположение, почел за благо удалиться, встал.

— Куда? Ты надобен мне. На вот, читай от сего места,—протянул челобитную. Сам вскочил, заходил от стола к печи, бранясь по-русски и по-немецки.

— Прочел ли? Каково?! Новому управителю на подношение — то бишь мне! Мне! С народу деньги взимают! Едва ногой ступил, а уж всему краю ведомо: Георг Вильгельм де Геннин — вор и взятошник! Ах мерзавцы, каналы! Писать указ немедленно!

— Прикажешь подъячего кликнуть?

— К свиньям собачьим! Садись, пиши сам!

Хлопнулся в кресло, ногами сучил, плевался, выкрикивал слова указа с бранью пополам. Василий Никитич писал, крепкие слова упуская.

«...Ежели кто учнет неуказанные зборы раскладывать и збирать, будто бы мне, генералу маэору, или при мне обретающимся служилым мастеровым людям и канцелярским служителям в поднос, называя в почесть, и по таким запросам ничего не давать... — (генерал маэор такое тут присовокупил, что гусиное перо

кляксами брызнуло, а Татищев фыркнул!) — ...и доносить, понеже те с миру собранные деньги и прочее не токмо мне непотребны, но и другим при мне обретающимся под великим страхом брать запрещено!..»

Дописав, Василий Никитич поставил дату: «Писано на Кунгуре 1722 году октября 16 дня».

3

В ноябре новый управитель вкупе с прежним, Татищевым, отбыл в Соль Камскую для осмотра мест рудных и к строению заводскому пригодных. Надлежало также и Пыскорскому, ныне заброшенному медеплавильному заводу осмотр произвести. С собою взял плавильного подмастерья Конона Никитина, а мастера саксонского Циммермана послал на заводы Олонецкие, дабы привез оттуда на Урал людей мастеровых, медное дело смыслящих. Прочие с Генниным приезжие кои на Соль же Камскую отбыли, кои на Уктусский завод, подле которого ~~Геннин новые заведения ставить вознамерился~~. На Кунгуре до поры до времени остались двое писцов да за всеми делами доглядчик Осип Украинцев. Помощник геннинский снаряжал на Уктус обозы со всяким припасом, с машинами мудреными, с пожитками мастеров иноземных. В здешней управе Украинцев требовал лошадей, возчиков, телег, шумел на кунгурских приказчиков. Иной раз и рукоприкладствовал с бранью, понеже без крику да битья в захолустье российском никакое дело не двинется. Но сержант хотя бы и гвардейский — все ж не генерал. Кунгурские власти пугались его, суетились, кланялись униженно. А все-таки большая суета, коя всегда при новом начальстве бывает, пошла, слава богу, на убыль, и обычный непыткий здешний уклад опять затягивал уездное житье-бытье. Власти кунгурские прежнюю самоуверенность обретали и уж оглядывались: нельзя ли какую для себя пользу иметь? а и кто у нас в уезде генералу жаловался? а не пора ли правдолюбцев тех выпороть? И уж кого-то стращали правежом, кому-то разоренье и цепи тюремные сулили, а иной уж под кнутом выл: пущай знают православные — генерал приедет и уедет, а порядок здешний нерушим стоит.

Ноябрь сыпал снегом ранним, в сугробах присели под ветром избы. А Осип Украинцев в одном камзоле

взопрел, пока очередной обоз снарядил да проводил: лошадемок поставили негодящих, мужики при них не-расторопны, будто сонные али с похмелья им, солдаты караульной команды — вшивая команда, обозный пристав бестолков. Затемно почали укладывать машинные части, с Олонецких заводов присланные, железноделательную да прокатную утварь, и только за полдень управились. Осип дождался, пока последние сани отъехали, крикнул приказчику, чтоб запирает амбар, сплюнул с облегчением и перекрестился на деревянную колокольню Великомученицы Параскевы Пятницы. Накинул поданный приказчиком тулуп, пошагал к избе канцелярской. Поравнявшись с заведением питейным, не преминул туда завернуть, с устатку чаркой себя удовольствовать: ничего в том зазорного нету, сам государь чарочкой гнушаться не изволит.

На крыльцо взойдя, услышал за двойными дверьми канцелярии возню превеликую: стуки, топот, будто в присутственное место лошадь привели. Брань непотребная, треск... Рванул дверь.

У стола писецкого на полу сидел подъячий Фома, бороду задрав, нос распухший шупал. В углу надсмотрщик Головачев норовил достать кулаком по скуле Ивашке-копиисту. Парень весьма успешно наскоки отбивал, до себя не допускал. Присутствие канцелярское в непорядке пребывает: скамьи повалены, на столе чернила пролиты, песочница глиняная разбита, а на полу возле ног Фомы валяется кверху лапками гусь ошипанный, яиц побитых с дюжину.

Осип подъячего Фому за шиворот на ноги поднял, двукратно по щекам хлестнул:

— Коли слаб — не встревай, а встрял — под стол не падай. Срамота — двум эким боровам противу одного парнишки на ногах не устоять.

— Бешеный он! — гундосил Фома, плевался кровью. Нос у него широк стал и в чернилах замаран, борода и кафтан в яичной слизи и скорлупе.

Украинцев, с утра при обозе вдоволь набравшись, да после чарки выпитой на погром канцелярский благодушно взирает. Гласом трубным спел сигнал отбоя.

— Тру-ру-рум, тру-рум! Эй, гренадеры чернильные! Отвести полки на исходные позиции!

Головачев опомнился, Ивашку отпустил.

— Пошто баталія сия? — ухмыльнулся Осип.

Головачев дышал со свистом, отвечал неохотно, смущенно:

— Прикажи взять одного разбойника, господин сержант! Меня да Фому лалял всяко, бунтом грозил... Злоумышлял противу властей!

— О! Это вы с Фомою — власти? Да как он посмел таких важных господ по сопаткам бить!

Осип на лавке расселся, тулуп распахнул. После хлопот и холода — тепла изба, греет из нутра водка... Потешно глядеть, как Фома гусиным пером скребет с пуза засохшую яичную желть. А Ивашка-то удал копиист! Сам — соплей перешибить, а двоих ражих канцеляристов избидел. В настоящей полевой баталии таковы молодцы и сотни подъячих стоят. И какой там, к черту, бунтовщик он. Но — дурак безрассудный, и за то Ивашка достоин таски.

— Ну-ка, подь сюды.

Копиист подошел. И ведь никакого в нем страху! Широкие плечи костлявые не съежил, глазом не сморгнул — либо совсем невинная душа, либо шельма изрядная. Сержант было длань уж воздел — а не ударил. Лишь за ухо взял, повлек в кабинет генеральский, а ныне его, Осипа, кабинет. Дверь захлопнул, копииста к стене прислонил, сам в кресло плюхнулся, брюхо выпятил, как генерал Геннин.

— Ты пошто начальников лалял? Пошто Фому под стол загнал?

— Господин сержант, не я зачинщик в сваре. Они бить зачали, я не дался.

— За что они тебя хотели бить?

— Генерал приказать изволил, чтоб лихоимство подъячего Веселкова и прочих они доподлинно выявили. А Головачев с тем Савкою Веселковым стакнулись, Фома посулы принимал, курей, гусей, яйца... Нешто оно по правде деется?

— А ты правду кулаком искал, нащупывал? Ну, братец ты мой, хошь я и не ворожея, а твою судьбу предреку: быть тебе, Ивашка, биту на веку многократно за глупость, либо умность твою. А коли так, то и науку сию откладывать не след — ступай к Головачеву, пущай тебе плетей отмерит по усмотренью своему. Пшел!

Украинцев потянулся, сладко позевнул, зажмурясь. От тепла в сон клонило. Еще один обоз, предпоследний,

отправлен, еще одна гора с плеч. Приятственно, черт дери, после трудов праведных сидеть в жарко натопленном кабинете, в кресле мягком... И кабинет, и кресло — генеральские, а Осип Украинцев всего лишь сержант... Залетела ворона в высокие хоромы! Геннин да Татищев едва узрят здешние руды, камня рыжие — кидаются на них, как пьяница к водке... Украинцев в горном деле человек несмышленный, и послать бы дела сии к...

— Господин сержант...

— А? Ты все еще тут! Пшел!

— Отпусти меня отсель, господин хороший!

— Я и отпускаю. Поди скажи, чтоб тебе дюжину плетей выпали.

— Совсем отпусти. На Верхотурье, в ямщики опять. Я лошадей люблю.

— Ах, лошадей возлюбил боле, чем подъячих? Мерин тебе дороже Головачева?! — сравнение показалось потешным. Осип хохотал, глядя на Ивашку весело, беззлобно. Повторил: — Променять Головачева на мерина, Фому — на кобылу, хо-хо! Ах, собачий сын, др-рать тебя!..

Отхохотав, сказал с укоризною:

— Грех тебе роптать. Сидел бы, строчил бумажонки да молился за господина Геннина, что приютит, дозволил при караульной роте кормиться, и все такое... В тепле, в сытости — чего не живется?

— Не ко двору я тут пришелся.

— А ты — придишь.

— Взятки брать, у бедняка последнее отымать, как иные, не приучен. Не ко двору, одно слово.

— Не воруя, не ко двору я, — передразнил Осип, улыбнулся своему остроумию. Подумал: «Я вот тоже не ко двору...»

— Вот что, Иван-Гореван. Состоишь ты в службе государственной, вот и служи, привыкай. Терпи, казак, атаманом будешь. О! — вспомнил сержант, громыхнул кулаком в подлокотник генеральского кресла. — О! Дратся ты мастак, лошадей паче людей уважаешь. А веле-но меж тем сыскать из гулящего люду казачьего десятника толкового на завод Башанлыкский. Ты толковый, хотя и чрезмерно иной раз. Да ништо, в Башанлыке башкирцы-воры саблями тебя пообтешут, в разум вгонят. Поедешь с оказией на Башанлык. А допрежь сего велю тебя, однако, выдрать.

Ивашка поклонился, как и генералу не кланялся, с почтением искренним.

— Башкирцы, поди, не зловреднее крапивного семени канцелярского, а иное перо гусиное — сабли страшнее сечет. И еще, господин, пороть меня не надо бы: на побитом заду в седле сидеть неудобно...

— Востер ты, писец! Ин ладно, сохраню твой зад. Ступай.

II. Башанлыкский десятник

1

Опять, в который уж раз, Филька Соловаров бормотнул в усы, про себя будто:

— Заморились лошадки, ай заморились...

И опять десятник Гореванов или не слышал, или слышать не захотел. А кони и впрямь сбавили ходу. Целый день по жаре — и лошадиная сила усохнет.

Про башкирский налет известие ночью получено, выехали до восхода, не мешкая. И вот уж солнце высоко стоит, палит, жжет, а казаки все гонят на рысях да галопом. На ручей бы натакаться, воды студеной испить, лошадей напоить, роздых им дать. Но кругом холмы пологие, распадки, березовые перелески и ни реки, ни мочажинки малой, а десятник Гореванов скачет и скачет впереди, а ему перечить не в обычае.

Когда ж и горевановский воронок заспотыкался, хозяину тонким ржанием взмолился, перевел десятник коней на шаг, свернул в распадок, где какая ни есть тень от березовой гривки, где трава посочнее. Сползли казаки с седел, разуздали коней и, едва отшагнув к березам, распластались недвижно. Потные лошади тотчас принялись щипать траву, фыркая от полынного духа.

Десятник на ногах остался. Вороного огладил, похлопал по мокрой шее и отправился пеше по склону холма. Тогда поднялись нехотя, за ним пошли Афоня Пермитин да Ахмет — казак из крещеных татар.

С каменистого взлобка далеко видать. Холмы, перелески. Пёкло полуденное. Едва тянет ветерок, душный, пахучий. Кругом безлюдье и тишь, ни дымка, ни голоса. Если кто и есть в березнике, так таится. Опасная тут земля, приграничная.

— Теперь мы их не достанем,— Афонька молвил.— Уйдут в свои улусы, а там ищи-свищи.

— С табуном далеко уйти не могли, догоним.

— За чужими лошадьми бежим, своих сгубим. А то и самим стрела из засады...

Афонька знал: все одно десятник по-своему делать будет, и ежели надумал табун отбить и хозяевам вернуть, то гонять казаков будет до упаду. Настырный, черт!

Гореванов долго холмы разглядывал, тишину расслушивал, горячий ветер по-собачьи нюхал. И что-то узрел, унюхал ли — со взлобка к коням пошагал. Казаки по-леживали дремно, беспечно. Филька Соловаров с ружьем в обнимку, сон, должно, видит и во сне квасок холодный либо бражку пьет — ишь, борода по ружейному стволу елозит...

— Айда, робята,— негромко велел Гореванов, подходя к вороному.

Зашевелились, запозевали. Филька заворчал:

— Кони ж не отдохнули!

Но десятник уж в седле. Не переча боле, поднялись и казаки. Гореванов уверенно повел распадками да редколесьем. На открытых местах гнал вороного крупным галопом, прочие за десятником поспешали. Сошла сонная беспечность. Кругом тихо и безлюдно по-прежнему, но коль десятник эдак поспешно ведет, стало быть, ведает, где нехристей имать ловчее. Зорче стали глаза, чутче ухо. В зеленой тени перелесков, что так мазила давеча, виделись теперь тени иные, странные, а в тишине шорохи угадывались: зверь там, птица вспорхнула? Или стрела взлетела по казацкую душу грешную?

Спрямяя редколесьем через холм, увидели с вершины башкирскую ватажку. Те, полагать надо, погоню давно почуяли и табун захваченный кинули где-то, налегке утекали по распадку, по равнинке безлесой, всего в полуверсте. Уходили не шибко торопно: коль табун оставили, так зачем бы казакам гнаться по этой жарнице? Десятник иначе мыслил:

— Афонька, айдайте с кем-нито вдвоем, табун по следу сыщите. А мы, робята, ну, господи благослови!

— Не догнать,— усомнился Филька.— И пошто они нам, без табуна-то?

— Постращать надобно, чтоб другой раз мужиков

не зорили. Пока на виду у них, поедом шагом, будто в другу сторону.

Повернул десятник вороного, а как скрыла^х их зелень, оглядел своих и вломился конем в кустарник...

Шестеро башкирцев уходили россыпью. Понадеялись, что казаки воротятся, поздно спохватились. Пригнувшись к гривам, нахлестывали лохматых лошадок. Однако и их кони не свежи, поди, с ночи под седлом ходят. Близость ватажки пуще чарки винной кровь казакам взвеселила, горячка погони усталым коням передалась. Солнце палит, встречный ветер жжет, но не до жары, не до ветра, и не слышать, как стонет под копытами сухая желтая земля — близко потные крупы чужих коней, близко спины пыльных халатов. Ватажку сажень на двадцать обогнав, утекает без оглядки всадник в халате зеленом, у него одного в поводу конь запасной — этот, должно, покуда остальные с русскими пастухами свару заводили, в дозоре стоял, и лошади его свежее прочих, мчат резво. Кучно скачут четверо, среди них, похоже, и вожак — халат узорный, конь кровей трухменских. Шестой приотстал, до него уж сажень не боле сорока, заморенную лошадедку пятками бьет...

Филька Соловаров, улыбаясь, ружье изготовил. Десятник то заметил.

— Эй, не балуй!

— А чего?

— Они пастухов никого смертно не побьют, то и нам негоже.

— Я коня у атамана ихнего!

— Не балуй, сказано! Неповинен конь, когда хозяин вор.

— Дак уйдет же! — хрипел Филька, задыхаясь от ветра и азарта.

— Уйдут — их счастье... Ахметша, готовь аркан!

Спор тот слыша, кто при ружьях был — за спину их, сабли вынули: десятник Ивашка Гореванов скажет будто походя, а взыщет за провинку строго. Лишь Соловарову неймется, ружье наизготове, ловит злым прищуром трухменского жеребца на мушку: спешить бы пулей халат узорный! Оно и жаль трухменского аргамака, да ежели на нем всадник знатный — и выкуп будет хорош...

Иван Гореванов ту же узкую узорную спину взглядом колет: из богатеньких вожак башкирский, беспре-

менно это он налет затеял — не от скудости, от жадности на лошадей крестьянских позарился. Догнать его, поучить! Однако и самим опаска надобна, кабы в засаду не вскочить.

— Приударь, казаки, гони-и! — кричит десятник, саблю подняв.

И башкирский вожак своим визжит что-то, бодрит или бранит. Узкоплеч он, станом тонок, молодой, видать. Рядом с ним низенький, в халате драгом, шапку его, должно, веткой схлестнуло, бритой башкой вертит, оглядывается, а в руках лук-саадак. Стрелы башкирские и на скаку метки, остерегаться надо того, гологолового. Ишь, привстал, прицелился...

— Берегись, робяты!..

Гореванов пригнулся — мимо свистнула стрела. — И — ругань, Фильку задела...

— Ах, мать твою!..

— Не стреляй!

Но уж грохнул выстрел, будто надкололась под копытами знойная земля. Из башкирцев никто с коня не пал, согнулись ниже, плетью замахали рьяно.

— Не попал, однако, — кто-то из казаков осудил.

Но Филька попал, только не вдруг углядели: трухменец под вожакom с ноги сбилсЯ, призамедлился. Хозяин хлестал жестоко, сапогами, в пах бил, саблею плашмя, визжал тонко, зло — может, товарища звал, впереди убегающего, запасного коня от него требовал. Но зеленый халат удалялся, зову тому не внимая. Да и остальные вожака своего обходили, плена страшась.

Бритоголовый на выручку один пришел: свое стремя вожаку подставил, пересесть помог, а сам наземь скользнул, встал лицом к погоне, вскинул саадак, в десятника целя.

Тен-нь!.. Гореванов саблею стрелу отбил, наскакал, рубнул по саадаку, дале устремился, а на бритоголового рысью пал с седла Филька Соловаров, подмял. Еще увидел десятник мельком, как сбили казаки отставшего башкирца. Сам же он догонял вожака, своими покинутого. Видя, что не уйти, тот поводья натянул, саблею от удара заслонился. Молоденький парнишка, лет не более осьмнадцати, из-под черного пушка усов оскалены зубы по-собачьи, в глазах раскосых страх, жуть. Отбил удар, от второго увернулся... Мог бы Иван его

враз порешить, да надо ли? Малай совсем... Ишь ведь, сам кидается сечь, от жути бел весь, на губах крик и дрожь... Ну-ка, ну-ка!

Ахметов аркан сорвал его наземь — отвоевался малай. Конец погоне.

Казаки, от скачки озверев, захваченного башкирца пинали.

— Будя, уймись! — рявкнул на них десятник.

Подъехал Соловаров, за ним на аркане тянулся бритоголовый — губа рассечена, висок в крови. Филька остановился, и башкирец сел на землю, ноги калачиком, ко всему безучастный вроде — к казакам, и вожаку своему повязанному, и к судьбе грядущей.

— Кусался, нехристь! — сказал Соловаров. Оглядел поломанный саадак, бросил, колчан тоже, стрелы по одной о колено стал ломать. Последней стрелой стукнул по бритой башке — пленник не шелохнулся, окаменел будто.

Молодой ватажник-главарь все еще угрозиво скалил белые зубы, а черные глаза набухали непрошеной влагой, в них — боль, и стыд, и страх. Ахмет изловил арканом башкирских коней. У трухменца ляжка пулей соловаровской прошита, хромает.

— Все, казаки, айда-ко назад поскорей, — Гореванов погладил своего воронка, жалея его, усталого, и поднялся в седло.

— Отдохнуть бы, опнутья маленько, — сказал Филька.

— Кабы худа не вышло, улусы ихние недалече. Айда шажком.

Далеко, на том краю равнины, возле леса, стояли двое башкирских налетчиков, третьего, что с конем запасным, уж и не видать, утек за холм.

2

Казачьего головы изба на улице Торговой, улице богатой, коя одним концом на площадь Рыношную выходит, а другого конца вовсе нету, замест того как раз и ставлена хоромина пятидесятника Анкудинова, как бы улицу наглухо затыкая: не любят люди состоятельные хождений всяческих мимо окон своих, тележного скрипу, суеты зряшной. Добрый гость через Рыношную площадь пожалует, недобрый — тут ни к чему, а кому

по делу негромкому, тот и задворками проберется, площадь минуя.

Пятидесятник Анкудинов — мужчина бессемейный, телом крепок, но головою часто хвор бывает по причине склонности к зелью винному... Но себе на уме: изба — что крепость, двор крыт, в хлеву коровы, на конюшне четыре лошади, в жилом амбаре трое работников-башкирцев, из пленных, а в избе при господине хромой прислужник русский. Полная чаша!

Гореванов своего коня у ворот привязал, второго скакуна в повод взял, застучал в тесовы ворота. Отпер слуга хромой.

— На-ко, дед, сведи сего аргамака на конюшню вашу. Ничего, что хром, как и ты, зато кровей не в пример добрых, оздоровеет скоро. Что Силантий Егорыч, дома ли?

Старик буркнул, кивнул. Повод принял.

В горнице никого не было. Иван на образ Спаса покрестился, в спальню заглянул.

— В добром ли здравии пребываешь, Силантий Егорыч?

Можно б и не спрашивать, без того видать: здравие у пятидесятника — не приведи господи. Лежит на кровати под одеялом пуховым, на плешивой голове мокрое полотенце сбилось жгутом, опухшее лицо в поту. Пред ним на скамье квас в бураке берестяном, кислая капуста в тарелке, бутылка зеленого стекла, а в ней вино. Анкудинов показал глазами:

— Налей мне.

Иван потянулся к бураку.

— Дурак! Сперва вина налей.

— Не след бы с утра-то.

— Не твое дело. Лей!

Ручища его тряслась, плескала водку на широкую грудь. Приподнялся, приладился, опрокинул чарку в жарко раскрытую пасть. Туда же Иван сунул щепоть капусты. Анкудинов отвалился, забубнил, жуя:

— Замаяла лихоманка... Склиницу не сдержал, выронил, разбилась. Ефрем, черт хромой, на зов нейдет, налить хозяину не хочет. Ужо встану, втору ногу ему, анафеме, покалечу. А ну, Ивашка, налей ешшо.

— Как хошь ругайся, Силантий Егорыч, не налью. Сперва про дело доложусь...

— Про дело без тебя ведомо. Налей, за твою удачу

выпью. Хошь из мужиков ты, а хватка казачья, хвалю. Много лошадей взяли?

— Крестьянский табун возвернули сполна.

— То учинили вы не гораздо. Утаить бы с пяток — мол, башкирцы съели.

— Башкирцев всего-то шестеро было, нешто каждый по лошади съел?!

— Кто их считал, шестеро али сотня... Нет, не гораздо дело изладили.

— Казаку грех крестьянина обижать.

— Эх! Не обессудь, Ивашка, а дурак ты. Мужиком был, таковым и остался. У казака — что схватила рука, то и его.

— Трех лошадей у воров поимали, то добыча праведная. Тебе, Силантий Егорыч, кланяемся конем добрым. Ногу ему пулею задело чуток, да покуда ты оздоревеешь, и на нем ездить можно станет. Ты мне пистоль свой давал, так вот, принес я.

— Пистоль у тебя нушай будет, мне, хворому, нужды в нем покуда нету. А сколь денег мне принес? — глянул остро, не по-пьяному.

— Каки деньги?

— За ясырь, каки ешшо. Знаю ведь, троих башкирцев взяли.

Немощен, а свою выгоду и лежа ухватить норовит. Коня ему мало, вишь!

— Ясырь не выкуплен, да и корысти от него большой не чаю. Двое полоняников худородны вовсе, кому надобны? Ты ж, Силантий Егорыч, побойся бога, не обижай казаков...

— Станете верой и правдой службу справлять, мне во всем прямить, то и вам обид не будет. А ежели своевольство да воровство, тогда на себя пеняйте.

— От нас воровства нету никоторого. От тебя же терпим...

— Остерегись! Воровство — от меня? Облыжны речи твои слушать не желаю!

Он хотел подняться. Но застонал, зажмурился, упал на подушки.

— Ахти, мать пресвятая Богородица!.. М-м... Налей-кось.

— Не налью. Сперва доподлинно разберемся, чьи речи облыжны. — Иван убрал бутылку под кровать. — За службу казаку безземельному конному жалованья

в год семь рублей. Да жалованья хлебного двадцать четыре пуда. Я знаю, читал в реестрах окладных. А нам ты о прошлый год сколь выдать изволил? Иному рублев с пять, иному и того поменее! А утаил хлеба от нас...

— Ты свое сполна получил! Али не так? Ну и по-малкивай.

— Получил. Но рот мне тем хлебом не заткнул ты.

— Можно и иным чем заткнуть...

— Не мне, а тебе, Егорыч, глотку потребно казенной печатью оградить, чтоб наши деньги вином туда не текли. А ты с казаков еще и выкупу ясырного хошь! Не жирно ли?

Анкудинов губы расквасил плаксиво, заприбеднялся:

— Ванька, креста на тебе нету! Того гляди, богу душу отдам, да ишшо ты мучаешь... О господи!

— Коня трухменского доброго тебе отдаем,— гнул свое Гореванов.— Деньги ж от выкупу ясырного меж собою раздуванием, коли дадут деньги. И жалованье казакам впредь чтоб сполна давал.

— Эй, Ивашка! Ты пошто ноне экой храбрый? Чаешь, что боле не подымусь я? Ой, гляди, парень, дерзки речи твои не забудутся...

— Покудова ты подымешься, я завсегда на ногах. Недолго мне в седло сесть да в город Катеринбурх съехать, довести Геннину-генералу, каков ты есть нам казачий голова. Бывало, в Кунгуре я с генералом вот как с тобою счас...

— Ежели б как со мною, то и повесили бы тебя во Кунгуре. И пошто ты взъярился на меня, убогого? Забыл, каков здесь появился ты, рванный да тощий? Моей волею в силу вошел, моей правой рукою сделался, так на благодетеля свою не замахивайся, Ваня. Ин ладно, зла на тебя не держу. Клячонку пораненную, полудохлую дали, и за то спаси вас бог. Кабы ешшо башкирца одного в работники... ась? От меня ж твоим казакам завсегда... Да налей же, доколе мучить будешь!

Выпил, крикнул блаженно.

— Ну, ты ступай, Ивашка, в сон клонит. В канцелярию поди, спроси там, бумаг каких по казачьей службе из уезду не получено ли. Отписки им составь, завтра мне покажи. Все доверяю тебе. Сказано: правая рука ты моя.

— Ладно. Оздоравливай, Силантий Егорыч.

— С вами оздоровеешь — на тот свет... Иди.

Гореванов поехал на конторский двор. И тут его окликнул проходящий, из чужого десятка, казак:

— Тебя Ахметка ищет. К Соловарову побег. Шибко, грит, надо.

3

Еще в граде Тобольске, сбежав туда от нищеты улусной, Ахмет по своей воле крещен был во храме — ин-верцев в службу государеву не брали. А бедному татарину куда боле, как не в казаки? Нарек его батюшка-поп именем христианским — Савка, сиречь Савва-тей. Однако обличье у Ахмета-Савки таково скуласто, узкоглазо, что никто, опричь попов да писцов, именем христианским его не называл — Ахметка более подходяще. Сам-то вспоминал, что Савка, лишь когда в церковь захаживал.

Церковь в Башанлыке новая, благолепная. Бревна еще не помрачнели, смола на них золотистая. Ставлена церковь на месте удачном, на горке. Внутри ж бедновата, иконы письма простого, незатейливого, в окладах медяных — нету в поселке заводском купечества именитого, жертвовать на украшение храма некому. Зато здесь тихо, бессуетно, покойно: день будний, мужики все по работам. Молятся смиренно с пяток баб да девок, два мальчика с маткою, старик поклоны земно бьет.

Ахмет, как всегда, оробел, в дом божий войдя, и поглупел от робости. Богов множество, все на крещеного татарина глядят с сомнением... Самого Христа Ахмет побаивался — большой бог, строгий! Деве Марии не доверял — хошь богородица, а баба, однако, что она может?.. Вот Никола — хорош бог, он всех бродячих любит, грехи им прощает. Где он тут? Придерживая саблю, чтоб не звякнуть, шапку за пояс заткнув, на цыпочках прошел Ахмет вдоль иконного ряда, Николу нашел, по лысине да по книжке узнал, опустился на колени. Стал молиться.

«Николка-бог, здравствуй. Это я, Савка, крещеный, совсем русский. Вот, к тебе пришел, молиться буду. Бачка Николка, ты хороший, добрый, самый казацкий бог. Скажи Христу, чтоб дал мне лошадь. Одна есть, еще надо. Сам знаешь, при одной лошади казаку худо. Подохнет — что делать буду? Гляди, кланяюсь тебе,

башкой стукаю, дай лошадь запасную, Николка. Дай еще девку-ясырку. Сперва лошадь, потом девку. Вот пойдем другой раз воров имать — пушай Христос в ясырь девку дает, толстую, сладкую. Скажи Христу, я ему свечку куплю, как деньги будут. Каждый праздник в церкву ходить буду, молиться буду. Я не татарин, я крещеный Савка, из десятка горевановского. Не забывай, Николка, дай...»

Вздыхнул, распрямился, по сторонам огляделся. Чего еще попросить надобно? Чего тут другие себе просят?

В церкви прохладно, пахнет хорошо, свечечки теплятся редкие. Шепот грустный слышится, будто листва осиновая трепещет. Эвон старуха богородице плачется... Поодаль, колен не преклоняя, таращится на иконы мужик-толстобрюх, одежда справна, а лицом скуласт, темен. Наверно, тоже татарин крещеный. Русские попы многих крестят. Сукна за то дают на кафтан, крашенины на подклад, холста на порты с рубахою. Отчего же и не креститься? У богатых татар кафтан есть, рубахи есть — им русская вера на што? А бедному креститься можно, аллах простит...

Стоять на коленях жестко. Ахмет сел на пятки, задумался. Не перепутал бы Николка с именем-то. Пожалуй, отдаст лошадь какому-нибудь иному Савке. Просил ведь тогда попа тобольского, чтоб оставил прежнее имя — Ахмет. Поп заупрямился: в святцах-де Ахмета нету. Теперь живи как хошь...

В зад пнули — подскочил Ахмет. Над ним староста церковный шипит как гусь:

— Расселся, греховодник! Во храме, яко в капище поганом, сидит, ноги калачом! Встань, мать твою... помилуй мя, господи...

Ай какой сердитый староста! Ахмет встал. На икону глянул. Николка не сердится, он добрый. Боги всегда добрее, чем прислужники ихние.

— Изыди, бусурман немаканы! — староста ворчит.

— Крещеный я, Савка я! Пошто дерешься, шайтан! Тьфу!

Ткнул старосту ногами и ушел от греха.

После прохлады, сумрака на дворе опажнуло жарой, солнце в глаза ударило. В пыли воробьи пищат, на колокольне галдят вороны. Благодно в церкви, а на воле все ж краше...

— Салям алейкум,— вкрадчивый голос над ухом. Тот пузатый, скула татарская...

— Алейкум салям,— ответил Ахмет. Спыхватился, шапку надел, нахмурился важно: одно дело с богом говорить, другое — неведомо с кем.— Кто таков? Чего надо?

— Зачем кричать, не надо кричать. Я человек торговый, храбрец да купец всегда в дружбе жить должны — один добычу берет, другой покупает, войну и торговлю благословил аллах...

Болтал он по-татарски, журчал ручейком степным, Ахмета под локоть подхватил, словно знатного бая, повлек с площади церковной в проулок. С лавочниками якшаться не часто Ахмету доводилось, но, сколь упомнит, всегда от них в обмане был. И этот хитер, видать. Круглой рожей угодливо маслится, пузом в закоулок теснит. Чего надо? У Ахмета всего богатства — шапка да сабля. Шапка — цена в грош, а сабля, она в службе кормилица, продавать ее нельзя.

— Стой, купец, дале не пойду. Говори, что надо?

— Нешто казак такой храбрый боится торгового человека?

— Бояться мне неча. Мне по службе идти надо...

— Не сцещи, Ахмет, ты не в погоне скачешь.

Да он и имя знает!

— Не Ахмет я, Савка крещеный.

— Знаю, в церкви тебя видел. И как из церкви, крещеного-то, гнали, тоже видел. Но я не мулла и не о вере говорить хочу. Послушай, батыр, пусть у нас с тобой на шее болтается крест неверных, но кровь в жилах течет татарская, и сердца открыты братьям по крови, а не по вере.. Ахмет-батыр, ты храбрее и ловчее русских казаков, и за то должна быть тебе награда, ибо аллах справедлив. Хороший наездник достоин хорошего коня, скакуна, быстрого, как ветер...

— Коня?!

Уж не русский ли бог так скоро хочет исполнить просьбу Ахмета о лошади? В узеньком переулочке, меж заборов ветхих, огородов и бань посадских, заблазнил-ся в глазах у Ахмета красавец вороной со звездочкой белой на лбу, головой он вскидывает, звенит начищенной медью наборная уздечка, а копыто оземь бьет — летит пыль на бревна чьей-то бани... Ахмет оглянулся: а девка где? Просил ведь еще и девку...

— Будет конь, будет десять баранов...— купец журчал.

Очнулся Ахмет. Нету коня, то банька-развалюха, курная, черная. Ай купец, заболтал совсем!

— Ты не похож на купца, на муллу похож, пустыми речами торгуешь!

—, Аллах — свидетель, мои слова приведут тебя к источнику богатства! Но здесь не место для важной беседы...

— Ты болтлив, как глупая женщина, но речей важных не услышал я. Пусти, лучше в кабак пойду...

Купец вцепился в его рукав, зашептал в ухо:

— Вчера аркан Ахмет-батыра захлестнул на лету степного орленка. Теперь тот орленок в клетке томится, о аллах!..

— Ты говоришь о байском сыне? Верно, мы повязали троих воров, сидят в тюрьме они.

— Да, в тюрьме урусов сидят трое. Но лишь один достоин мчаться свободно в улус. Отец молодого орленка — богатый человек, да продлит аллах его дни. Он хочет подарить Ахмету коня. Вай, молодой джигит, горячий, неразумный! Славы искал — волю потерял.

— Отец его богат? Хорошо. Пусть шлет казакам выкуп.

— Но, батыр, ты сам знаешь: воля за выкуп — позор для удальца...

— А пушай чужих лошадей не отымает,— сказал Ахмет по-русски.

— Батыр! Ты рожден в юрте на кошке, ты сам еще молод и горяч! Пожалей честь молодого удальца! Не русские, а ты взял его арканом, ты и помоги ему бежать...

— Вона! — понял наконец Ахмет.

— Никто не узнает, на тебя не подумают,— текли соблазнительные слова.— Бай пришлет тайно коня и барашков. Скажешь, купил барашков, скажешь отнял коня. Вах, какие скакуны бегают в башкирских табунах! Резвый конь догонит добычу, умчит от беды. Молодой джигит, малай совсем, честь ему сохрани, батыр!

Льнул, тискал Ахметов локоть, шептал, и в его журчании слышался звон наборной уздечки, свист ветра встречного...

— Ты, ты один достоин награды, батыр...

Да, он один мчится в травяном просторе, и ветер в

лицо, и конь не знает устали, а впереди... Что там? Враг? А он один скачет в степи?.. Где ж казаки горевановские?!

— Подожди, купец, замолчи, надоели обманные слова!

Где казаки? Вместе погоню вели, жару терпели...

— Ахмет-батыр служит неверным. Отец пленника тоже платит ясак русским — такова воля аллаха. Отец не сердится на батыра, который полойил его сына, готов даже наградить. Мало десяти баранов? Он даст двадцать.

Там, в Ишимском улусе, не русский воевода, а татарский мурза отнял у нищей семьи Ахмета последнего барана, и тогда Ахмет пешком ушел в Тобольск...

— Сам аллах посылает тебе двадцать баранов. И коня!

Когда аллах что-нибудь давал Ахмету, то хватали обычно чужие жадные руки. Но теперь он — казак горевановского десятка, его начальник Ивашка справедлив, он не обманет. Ивашке все одно, татарин, русский ли, был бы в службе исправен, в товариществе верен. Ну и Ахмет не обманет, напрасно купец льстивыми речами изливается, лжет соблазнительно. Жаль, слов ответных не сыскать... Ахмет оттолкнул торгового человека и пошел прочь. Тот следом засеменил.

— Подожди, батыр, условиться надо, куда малайку приведешь, где коня, барашков возьмешь...

Не будет запасного коня, лишь поманила шелковистая грива. И тут нашлись сильные слова: стегнул купца хлесткой русской бранью, длинной, затейливой, чтоб купец сразу понял все: и про улус Ишимский нищий, и про неправды мурзы, и про совесть Ахметову... Враз легче стало.

— Не батыр, безмозглый баран ты!

Сердце бранью облегчив, стал Ахмет, как саадак со спущенной тетивой. Ответил без злости:

— Гореван умный, ступай с ним говори.

— После он меня догонял, плакал. Говорил: боюсь идти к Горевану, он большой начальник, потому Ахмета искал, просил...

Иван усмехнулся:

— Многоглаголив ты стал, как твой купец. Он где-ка?

— У кабака ждет. Может, к нему пойдем? И сразу в кабак бы?

— Сюда покличь.

Купчишка с порога закрестился, закланялся — то ли иконам, то ли Ивану. Речь завел льстивую про храбрость и доблесть преславного господина десятника. Иван остановил:

— Каков я есть, сам ведаю. Пошто пришел? Будя изгибаться-то, сказывай.

— Бай Тахтарбай желает тебе, господин, здравия и всяческого в делах преуспевания. Бай богатый, сильный, весь улус под милостью его, под плеткою его. Большой человек Тахтарбай! Кто большому человеку услужить сумел, тому хорошо. Кто прогневит его...

— Ладно, я и сам не убогий. Гляди, вот сабля, вот пистоль.

Ахмет языком щелкнул: ай, молодец Ивашка, ай, красно бает!

— Твой Тахтарбай, поди, за ясырь выкуп давать хочет? Так вот тебе мой сказ: пушай князек, али кто он там, гонит двадцать голов.

— Сколь? — прошептал купец.

— Двадцать.

— Лошадей?!

— Ты думал, блох?

— О, алла! — торговец, забывшись от огорчения, протянул к иконам ладони, как в мечети то делать надлежит.

— Да уж тебе барышу не будет, — Иван подмигнул Ахмету.

— Господин, наверно, шутить изволит? Ха-ха! — угодливо завеселился и торгош.

— Они тож шутили, когда лошадей крестьянских отымали, пастухов били?

— Бай Тахтарбай очень жалеет. Вах, молодой сынок, глупый, без родителева ведома в набег ходил.

— Глупость завсегда расплаты требует. Пушай родитель малайку выпорот, чтоб впредь не баловал.

— Ах, господин мой, у Тахтарбая, продли аллах его дни, столько забот, разве за всем углядишь! Господин, не сочти мои слова дерзкими... однако где слыхано, чтобы за одного полоняника выкупу брали двадцать лошадей!

— Пошто за одного? За двоих. Башкирец, который свою коня малайке отдал...

— Слуг у бая и без него много, бай Тахтарбай только за сына выкуп дает.

— Байский сопляк и клячи дохлой не стоит. А вот другой-то — за его верность и храбрость и табуна не жалко. Стало быть, за обоих вместе недорого беру — двадцать голов. Поврозь их не отдам.

Купец задумался всего на мгновение: передавать ли баю таковы слова?

— О мудрейший господин сотник! Если я скажу Тахтарбаю, что ты ценишь слугу превыше хозяина, бай убьет слугу.

— Вон как! А что, пожалуй, у него дурости хватит. Пес с ним, скажи, что двадцать голов за одного мальчишку, а слугу — в придачу.

— Воля твоя, а цена непомерная, клянусь!

— Коль покупится бай, в накладе не останемся. Продадим ясырь персиянам.

— Персия от Башанлыка далеко...

— То не беда, калмыки близко, они с кизилбашами ясырем торг ведут. Через калмыков хошь самого Тахтарбая продадим, ежели его байская честь к нам за коньми воровать пожалует. Да тебе-то какая печаль? Поди скажи баю: двадцать голов.

Гость почтительно склонился:

— У господина сотника слова, как стрелы, и за ними в колчан господин сотник не лезет...

— Не сотник я. Ступай. Да говори там, чтоб кони добры были.

Купец, с поклонами пятась, на Гореванова исподлобья взглядывал. Хитер и в торге крепок Гореванов, пусть покарает его аллах! Большой начальник будет, ежели ему башку в сече не снесут или русские воеводы не сломят...

4

Как Башанлыкский завод еще только строить зачинали, первым делом воздвигнуто было добротное из дикого камня строение, о двух ярусах хоромы: вверху канцелярия, внизу тюрьма. Тут же флигель обширный для чинов управления, уставщиков да приказчиков. При тюрьме же сарай правожный — для экзекуций,

сиречь наказаний телесных. От сих наипервейших строений и весь завод быть пошел.

А заводского строения в Башанлыке — одна домна, два горна, молотовая фабрика одна ж, четыре амбара под железо и всякий провиант да амбары под припасы лесные. Вкруг сего избы, землянки для жительства людей работных. Весь посад стеною обнесен для бережения от башкирцев, которые хоть и государевы ныне данники, но своевольны, до грабежей охочи, земли же их близко.

В царстве Российском во все времена, при всех почти государях близ трона непременно временщики обретались, и случались они иной раз самого царя грознее. На Башанлыкском заводе таков же пребывал порядок: самого управителя редко кто видеть сподобился, всеми делами вертел помощник онго, господин Тарковский Казимир Карлович, польский немец в русской службе. Допрежь сего состоял он в пехотном полку, за некие подлости удален на Уральские казенные заводы. В деле горном не дюже смысленный, но господин хваткий, увертливый. Когда наезжал в Башанлык сам главный управитель Татищев, нашёл в заводском да рудничном устройстве небрежения многие. Ожидалось, что если не чинам многим, так вороватому Тарковскому сыск строгий учинят и быть ему с должности устранимому. Да вскорости Татищев сам молитвами промышленника Демидова смещен был. Тарковский же остался, упущения тоже. Хотя своих выгод Тарковский отнюдь не упускал.

Кроме людей пришлых, мастеровых, железному делу обученных, числилось за заводом приписных крестьян полторы тысячи душ из четырех селений. Но числилось только по ревизским сказкам, то бишь согласно последней переписи. С той поры иные померли, иные в нетях. Бежит и мрет народишка от заводских тягостей, в людях работных великая нехватка. Посему помощник управителя господин Тарковский (рекомый заглазно «комендантом Таковским»), о казенных пользах радея, велел в тюрьме сидельцев зазря не держать, а, выпоров сколь по вине их пригодно, наряжать бы в работы: неча казенный харч переводить даром. Секли тоже не до упаду, а с расстановкою: побьют вполовину или в четверть указанного, да и отпустят на работы, а подживет спина, еще побьют и отпустят. И для казны не убыльно,

и милостиво вроде. Оттого Тарковский почитал себя просвещенным человеколюбом.

Казакам, поверстанным большею частью из людей вольных, гулящих, службу гарнизонную не шибко доверяли. Канцелярия, тюрьма, покои комендантские и управительские состояли под охраною солдат караульной команды. И казачий пятидесятник, и солдатский поручик пребывали в подчинении того же Тарковского, и был он всем силам ратным заместо воеводы.

Гореванов и Ахмет, к тюрьме направляясь, шли улицею посадской. У плотины сопели, вздыхали водяные машины, ухала молотовая фабрика, на товарном дворе лязгало железо. А на конторском дворе, за каменными его стенами, тихая сонная жара. Караульный солдат в тенечке под навесом посиживает, ружье меж колен. Сухарь грызет, чтоб дрема не долила. На казаков только глянул, не остановил — эти свои.

— Полоняников кормил ли? — спросил Гореванов у Ахмета.

— Утресь хлеб давал, вода приносил. Мало-мало сытые.

— Пригляди, чтоб баенок весь хлеб не отымал.

— Байского сына комендант особо держит, в иной камере. Приказывал ему солома подстилать. Глядеть надо, чтоб мимо тебя комендант выкуп не забрал себе.

— На то ты и представлен, чтоб глядеть.

— Я за башкирцами надзирать.

— И около их тоже... От господ всякое жди.

По каменным ступеням сошли в караульную. Сумеречно здесь, прохлада подземная. На нарах солдат храпит, двое у стола лениво играют в пешки — пополам колотые круглые деревяшки. Казаки остановились поглядеть. Пожилой солдат разгладил серые бакенбарды, прицелился, попал щелчком в пешку, к себе ее придвинул. Второй щелчок у него не получился, сразу четыре пешки врозь шарахнулись, а то негоже. Другой, помоложе, сгреб со стола все, раскатил «кашу». И — щелк, щелк... Пальцы молодые, гибкие, не закрученные — щелк, щелк. Рожу соорудил важную, ловкостью своей перед старшим товарищем величается. Ахметка ему помешал:

— Чо глазеешь, ясашна морда!

Гореванов, за казака обидясь, коленом солдата легонько толкнул — пешка мимо «смазалась». Но десятнику ничего солдат не сказал: нельзя, он началь-

ство, всяки письменны дела за пятидесятника правит...

Из караульни еще три ступеньки вниз, тут двери каморные на засовах, иные и на замках заперты. Ахмет к одной двери приступил — засов взвизгнул. Навстречу Гореванову с подстилки соломенной шатко поднялся байский сынок. Верхняя губа под черным пушком то ли улыбкою дернулась, то ли плачем злобным оскалилась, зрит он над собою врага, но и господина, от чьей милости свобода, судьба, жизнь зависит. Стоит над ним урус начальник, левая ладонь на рукояти сабли, в правой плетть о сапог похлестывает. Страшно парню, и обидно, и стыдно за страх свой.

Ахмет сказал:

— Сапог-то на ем хорош. И халат, гляди. Казак таку одежду в праздник не носит, а он — на разбой...

— На чужое не зарься.

— Не чужое — добыча наша.

— В полон взят мальчишка, и довольно ему бесчестья. Ежели, выкуп взяв, нагишом его отпустим, то уж казачьей чести поруха выйдет. Айда глянем тех двоих.

Захлопнулась дверь, засов скрежетнул. Пленный дух перевел: не стегнула плетть уруса по самолюбию молодому...

Чтоб в эту камеру зайти, надо в пояс неволе поклониться — дверь низка, и низки потолки сводчатые. Четыре ступени еще вниз, в яму. Пол из камня плитного, чтоб сидельцы подкоп не учинили. Едва Гореванов порог переступил, как чуть не под ноги башкирец на колени пал, зад задрал, будто его стегнуть приглашает. По повадке узнал его Иван — тот, отсталый, без всякой драки взятый.

— Эко его бай насобачил. Сведи к Анкудинову, пушай теперь нашему пятидесятнику кланяется.

Второй полоняник на казаков лица не поднял. Сидит на холодном камне, сам как каменный божок монгольский. Спина пряма, бритая башка серой щетиной поросла, глаза закрыты. Грязна и рвана рубаха грубая, в прорехи темная кожа видна, сквозь нее кости выпирают. Сапоги русской выделки — поди, с убитого содрал. Подле сапога на полу ковшик с водой, аржаного хлеба ломоток, мало еденный.

— Так и сидит истуканом, — пальцем указал Ахмет.

— Да он живой ли?

Ахмет из-за пояса выхватил плеть-камчу, сунул пленнику под бороденку, голову ему приподнял. Черные глаза открылись, уставились в потолок отчужденно. Тоска в них.

— Ладно, не тронь,— велел Гореванов.

— Его Касымка звать. Сидит молчит ровно мертвый. Вон тот за него говорил — мол, Касымка он. В улусе — баба, малайка — сын. Бабу — ничего, малайку — жалеет шибко. Скучает, кушать хлеб не хочет.

— А ну, растолмачь ему: скоро отпустим к бабе, к сыну. Выкуп пригонят — и отпустим не мешкая.

Ахмет перевел. Башкирец не шевельнулся, только желваки на скулах обозначились. Ахмет щелкнул языком:

— Ежели долго не пригонят — помрет, наверно.

Но вдруг Касым быстро проговорил что-то. И вновь замер.

— Чего он?

— Говорил, шибко бедный, выкуп давать некому.

— Ну, это еще поглядим. Айда отсель.

На двор выйдя, шурясь от яркого солнца, Гореванов молвил:

— Мужество надобно в ратном поле, а в тюрьме и того боле.

— Нешто в тюрьме ты сживал?

— Не доводилось. А впредь — от суммы да от тюрьмы не зарекайся... Этому, как его, Касымке, баранины снеси. Баенка дверь нашим замком запири, надежней будет.

— Вашему грамотейству наше почтеньице,— сказал Гореванов, в канцелярию входя. Душно, томно здесь, хоть и окошки настежь. Подьячий за столом сидит в исподней рубаше, босой, на носу капля пота повисла. На привет не откликнулся. Занятый он: следут взором за большой мухой, что над столом лениво жужжит. Вот, анафема, на чернильницу села. Подьячий — ничего, глядит, мушью наглость терпит. Перелетела на бумагу недописанную — ага! Вытаращил глаза, длань занес, наметился... Раз! Вот она. Давнул в горсти, поглядел, кинул на пол. От мухи и на казака очи обратил.

— Ты, Гореванов, где запропал? Пошто доискаться не можно?

— Вот я. Анкудинов прислал — бумаг каких нет ли? Подьячий ладонь о рубаху вытер.

— Бумаги опосля. Тебя господин комендант требует. Посылано уж за тобой, не сыскали.

— В тюрьму я заходил.

Возвеселился подьячий:

— Самое тебе там и место.

— Тебе, мил человек, по делам твоим давным-давно там место, а вот досель тут сидишь, мух ловишь. Где комендант?

— В судную поди, там он, таким, как ты, предерзостным, укорот дает. Дождешься, и твою спину батогами погладят.

— За что?

— А все вы, казаки, воры!

— Против дьяков куды уж нам...

— Тьфу! Урежут тебе язык, Гореванов, помяни мое слово!

Судная изба среди каменных строений конторских одна деревянна стоит, из сосновых бревен складена, на две половины поделена: в одной господин комендант суд правит, а ежели кто не винится, ведут того на другую половину, где служитель из ссыльных, бывший капрал, детина ражий Карпыч злоумышленника в покорство приводит, правду надобную из него добывает. Кому ж после суда праведного порка уготована, ведут в амбар праведный на экзекуцию.

Однако сей день молчалива изба судная. Вчера большая часть солдатской команды отправлена имать на дорогах людишек беглых, а в таком разе комендант суд чинить опасается. Рассудил лишь несколько безотлагательных дел — от избы уходили понуро двое бедолаг, за ними уставщик шел, суковатой палкой поигрывал, будто скотину гонит. А вот на крыльцо сам комендант Тарковский выйти изволил. Без сюртука по случаю жары, но в треуголке и при шпаге. Казачьего десятника ястребиным взглядом ожег.

— Сколь за тобою посылать? Где черти носят?

Ответствовал, поклон по чину отдав:

— Пришел вот.

С ног до головы оглядел казака презрительно: ишь морду наел, каналья! Прибыл сюда из Кунгура тощ и рван, а за год в Башанлыке от харча доброго, от воли казачьей в тело вошел, плечьями раздался, борода вол-

нится приглядно. Комендант Тарковский любил рывнуть по-медвежьи, голосом властным утратить. Но против Гореванова отчего-то не кричалось, когда и хотелось бы, и надобно. Что-то в казаке этом было... Или не было чего-то. Раболепства не чуялось, а это закричать на него весьма мешает. И на сей раз комендант приказ изъяснил без обычных ругательств:

— В правежном амбаре мужик дожидается, вели ему штаны сымать да всыпь полста горячих.

Тарковский с крыльца сошел, треуголку снял, платочком лоб вытер.

— Людей бить — то служба не наша, господин комендант.

Из-под платка брови белесые насупились. Но и опять же не рывкнул комендант, уместным почел до отеческого назидания снизойти.

— Пятидесятник ваш хвор, Карпыч ушел с солдатами беглых вразумлять. А ты ступай и пори, коли приказано.

— Да за какие провинности его бить?

— Тебе не все едино?

— Лошади и то не все едино, куды ее гонят. В обрыв, хлябь болотну нейдет...

— Ты не лошадь, а казак служивый! — кончилось комендантово терпение ангельское. — Лошадь! Изменники, воры, чтоб вас всех разорвало! Лошадь казенную пропил тот прощелыга, ежели тебе знать то надобно, черт твоей матери! А ты укрывать? Ты ворах потворствовать?! Сам кнута хошь?! Пшел! Пригляжу, каково приказ мой сполняешь, пся крев!

Толкнул Гореванова к правежной. Пришлось идти. И то: мужику все одно бити быть, не сей день, так когда Карпыч воротится, а уж он-то, Карпыч, охулки на руку не положит.

Правежная — не амбар даже, а сарай, из ивовых виц плетен, щеляст, дабы вопль наказуемых далече слышать было, прочим в отстрастку. Воняло назьмом, кожами, еще чем-то отвратным. Солдат караульной команды и седоватый мужичонка в замызганной рубахе сидели рядом на правежной скамье, беседу вели мирную. Пред комендантом встали. Солдат грудь выпятил, во фронт подтянулся. Виновный, догадавшись, кому палачом быть, на Ивана щурился с полуулыбкой. Ни страха, ни злобы, ни обиды на лице морщинистом. Ли-

нялый мужичонка, много жизнью, видно, трепанный, да не пужлив. Господин Тарковский в воротцах стоит, сквознячок ловит, треуголкой на себя машет.

— Начинай!

Солдат усы встопорщил:

— Чего стоите, мать ваша курица! Вали его!

Мужичок без суеты, деловито развязал гашик, портки спустил, будто просто так, до ветру собрался. Рубаху задрал, лег на лавку. Снизу вверх на Ивана взглянул: дескать, ладно ли я лежу, сподручно ль будет господину казаку хлестать? Иван плетью затылок почесывал, медлил. Не подымалась рука для удара. Спросил:

— Как же ты, братец, коня-то, кормильца своего?..

— Да ведь на грех мастера нету, благодетель ты наш...

— Бей, чер-рт! — комендант подскочил, плеть у Ивана выхватил, сунул ему свою треуголку. — Кххы!..

Хлестнула ременная плеть, дернулся тощий зад, еще, еще... На бледной коже вздувались багровые полосы, мужик екал горлом, но терпел, не выл.

— Кхы, двенадцать! Кхы, тринадцать! — отсчитывал Тарковский, с каждым ударом сатанея.

На двадцать первом счете мужичонка застонал протяжно, вскинул с локтей своих лицо, еще более сморщенное страданием. Иван шагнул, поймал занесенную плеть.

— Дозволь и мне...

— Прочь!..

— Запаришься, господин, не барское оно занятие.

Отнял плеть, размахнулся широко, р-раз — взвыл мужик диким голосом.

— Во-о, так его, растак! — пропел довольный комендант.

Крик захлебнулся, захрипел надсадным кашлем.

— Бей, чего стоишь, песий сын!

Иван замахнулся... но сзади кто-то ухватил его за руку.

— Дяденька, миленький, хватит, ой, хватит!!

Девчонка! Отколь взялась? Тонка, как соломинка, а вцепилась — не оторвешь.

— Как смеешь! Кто пустил? — во всю грудь Тарковский рявкнул.

— Он тятенька ейный, — пояснил солдат. — Вместе пришли.

— Нет, как смеешь препятствовать?! Пор-роть! Хле-
щи ее!

Иван заслонил девушку.

— За что, барин? Она чай лошадь не пропивала.

— Молчать! Бей, приказываю!

— Охолонь, барин. По экой жаре горячиться не след.
Вишь, тятка ее сомлел, чуть тепленький.

От ровного, уговорливого голоса Тарковский вроде поспокойнее сделался. Треуголку нахлобучил. Девку кругом обошел, оглядел со вниманием. А с виду*ей годовков шестнадцать. Домотканый сарафанишко выцвел до голубины, платочек белый, из-под него коса светлорусая ниже пояса. Тоненькая, белая, среди троих сердитых мужиков — барина, солдата и казака — словно лучик солнечный проник в зловонный сарай правежный. Солдат состроил девке рожу зверскую: беги-де отсель, покуда сарафан не задрали да плетью не погладили. А она нейдет, хоть у самой от страха губы прыгают.

— Дяденька, ради бога, дозвоьте нам идтить! Милые, не надо боле!..

Комендант к ней было руку протянул, да на Гореванова покосился, «гм» сказал, плюнул, мужика пнул коленом.

— Убирайтесь!

Вышел вон. Солдат к мужику наклонился.

— Подымайся, коли можешь. А ты, девонька, пошто встревала? Али не боязно себя, эку тоненьку, барскому гневу подставлять?

Мужик все еще кашлял. Дочь ему встать помогла. Придерживая на заду портки, чтоб по рубцам не елозило, поклонился Гореванову.

— Спаси тя Христос.

— На здоровье. А лошадь, хоть и казенну, берегчи надо.

Дочь шепнула:

— Айда, тятенька, пойдем.

Иван глядел, как шли они: в ярком проеме ворот — мужичонка битый враскоряку, девичья молодая стать опорю ему.

— Хороша у пьяницы девка, — солдат заметил. — Пропадет, однако.

— Не каркай.

— Да я что... Комендант на нее глазищи паялил...

Хромой балалаечник седые кудри к плечу клонит, прилаживается, пальцы разминает — да как свистнул, гикнул, вдарил:

Гей, гуляйте, казаки,
Не жалеете пятаки,
Коли живы будете,
Червонцы добудете!

Пьяно в кабаке. Ныне горевановскому десятку праздник вышел, сам черт их стороною обходит.

Да на Яике, на реке,
Во Яицком городке
Житье распривольно...

Из яицких здесь лишь Васька Порохов, и тот беспутный, бродячий. Но под вольную казачью песню радольно и гуляется. Звенят кованы сапоги, гнутся половицы — это Филька Соловаров, распахнув руки, понизу вприсядку мелким бесом стелется. Над ним Порохов избоченился и ленивой проходочкой притоптывает, озорным глазом рыжей кабацкой бабенке подмигивает и вдруг — у-ух! — рассыпал лихую дробь вокруг бабы пьяненькой. Афоня Пермитин степенно дрыгает то ногой, то другой. А балалайка частит, в пот вгоняет — веселись, душа, пляши, нога!

Со двора в окна заглядывают: понизу — головенки ребячьи, над ними — бабьи платки, а поверх — мужичьи бороды. Завидуют — вона какая горевановским удача подвалила.

Сам десятник Иван Гореванов пьет мало, но веселья не портит: и песню завести горазд, и беседу, коль плясуны приустанут. Между тем за своими приглядывает: не учинилось бы какого непотребства пьяным делом. При гульбе строгость более надобна, чем в работе.

Гореван собой пригож — блудная женка, играя, платком ему ухо щекочет, ластится, станом дебылым так и виляет. Иван ее маленько локтем отодвинул:

— Ну-кошь, не засти пляску.

— Уй, строгие мы какие! — ее хмельные глазки призьню так и светятся. — Ванюшенька, правду бают, из монашеского ты звания, беглый? А меня, Ванюша, и монахи не обходят. Да взгляни хоть, экой ты! В кабак пришел, а сидишь святее архирея.

— Иди пляши, Дуня. Успевай, покамест балалаечник не захмелел,— выпроводил ее мягко.

Губки надула, к Порохову перекинулась. Афоня Пермитин осудил его:

— Пошто отогнал? Бабенка пышна.

— Грязна.

— Зато ласкова. А замараешься, так в бане отмоешься, в церкви отмолишься.

— За вино — нешто сладка ее ласка?

— Даром — слаще? — хохочет Афонька. — Выпьем давай.

Казак Семка тычет в бок Ахмета:

— Пей, бусурман, скула сибирска!

— Крещеный я,— сердится Ахмет.

— Право? Тем паче пей. Лакай, друг, назло вашему аллаху! Веселись!

— Мне и без вина весело — Ивашка коня дал! Вах, знатный конь!

Гореванов хлопнул его по спине:

— И ты казак знатный, Ахметша. Ты его, Семка, не спаивай.

Васька Порохов, наплясавшись, десятника облапил, чмокнул в лоб мокрыми губами.

— Ивашка, атаман ты наш, башка премудра! За малая-сопляка экой богатый выкуп требовал! Казаки! Эй, уймится, слушайте! Казаки, возгласим Иванку атаманом? Право слово. На кой нам ляд Анкудинов сдался? Пошел бы он к...

— Сядь,— шлепнул его на скамью Иван.

— Не-ет, на что нам Анкудинов? Вина ему дай, ясырь дай, коня трухменского дай — за каки доблести? Теперя Ахмет ему полведра винища снес — за что?

— То гоже,— вмешался Соловаров. — Пушай Анкудинов запьется к чомору. Ты, Иван, его не слухай. Коня отдали — так ездить на нем пока не можно, продать — так за полцены. Анкудинов же все одно ездок никудышный: вечером пьян, утром хвор, днем середка на половинку.

— Стало, за пьянство ему наше подношение?

— А что? — хитро подмигнул Афонька. — Коль пить бросит да своим умом почнет дела править, он столь начудит, что хошь беги. Трезвый он паче хмельного дурной. Лучше пусть нашему десятнику от него и впредь доверие будет.

Порохов не унимался:

— Еще и башкирца ему подарил ты, Ивашка. Продать бы купцу в работники, деньги пропить всем миром...

— Не бояре мы холопьями-то барышничать,— сказал Иван.

— Ясырь с бою взят, добыча праведная, продать не грех. Башкирцы сколь наших девок, мужиков персиянам продали — тыщи!

Один из казаков, лицом посуровев, молвил:

— Свояка мово Саввы Полухина из Ключевского высела сестру-девицу угнали в прошлый год. А у Максима Боброва жену тоже.

— Оно и худо, что мы и башкирцы продаем друг дружку, а надобно заодно бы... — покачал Иван головой. Соловаров опрокинул в рот чарку, усы рукавом обмахнул, крикнул:

— Худо, нет ли, а живет испокон сия торговлишка. Эх, братцы, мне б ханѧ ихнего споймать!

— И с женами всемя? — хохотнул Васька.

— Сказывают, у ханов табуны несметны, золота и камнейев самоцветных и всякого богатства не считано. За хана выкуп огреб бы...

— Бери! — гаркнул Порохов. — Хватай хана! Обдери его как липку! Погуляем уж всласть! Поедем в Верхотурье-город, по всем кабакам зальемся, друг сердешный Филька...

— Ис. Я б на Русь обратно, землю пахать. Избу поставил бы из бревен добротных, чтоб как терем боярский...

— При богатстве да землю пахать? Так не бывает. За сохою ходить тому пристало, у кого денег ни гроша, ума ни шиша, храбрости на таракана только. Казачья судьба — не пахать, а саблею махать, храбростью зипуна себе добывать.

Соловаров отвечал раздумчиво:

— Ноне я казак, да родом крестьянский сын. В деревне своей, на Тамбовщине, хотел, вишь, землицы прикупить, хозяйство ставить крепко, да не сдюжал, силов не хватило... А ведь как тянулся, недопивал, недоедал, по грошику скапливал... Нет, Васька, деньги, они и пахарю надобны. С ними ни боярин, ни дьяк, ни сам черт меня не потеснит.

— Про черта не ведаю, делов с ним не водил. А от бояр да дьяков не откупишься, им все мало. От них

средствие — сабля! — Васька вскочил, руками замаяхал. — Сказывали старики, когда во Яицком городке Степан Тимофеич Разин стоял, — где те бояре-дьяки подевались...

— А после куды подевались казачьи сабли? Атаману — плаха, остальным — петля.

— Зато гульнули деды — не нам чета!..

— Будя! — крикнул Гореванов, — Ты, Васька, ешь пирог с грибами да держи язык за зубами. Ежели на плаху шибко охота, то хошь бы за дело, не за слово пустое.

Притихли пьяные речи. Кабацкий целовальник, видя, что на гостей печаль пришла, дернул за ухо балалаечника. Тот спросонья с маху по струнам вдарил, зачистил плясовую. Женка Дуня, простоволоса, на красной роже ухмылка до ушей, мимо Васьки пьяной павой заходила, измызганным платочком помахивая. Васька взвился.

— Чего сидим мы? Казаки али думные мы дьяки? Не велик пост, казацкое воскресенье ноне! Иэх, тари-тари, куплю Дуне янтари!

Дуня с привизгом ему:

Уж я тебе за янтари...

Ах, никому не говори...

— А и впрямь айда-ко плясать, — поднялся Соловьев. — Пропьемся, тогда и думать станем.

— Размять, что ль, ноги, — и Пермитин пошел степным приплясом к целовальниковой бабе, забыв, что своя в окно глядит.

Гореванов улыбался плясунам, но сам в круг не шел, балалайке не подпевал. Не ко времени — от байки про выкуп, что ли? — вспомнился день вчерашний, как пленных отдавали.

С утра ярилось солнце в пустом, блеклом небе, жгло горы, перелески, сушило землю, пашни жаждою томились. Злое нынче солнце. Прогневалось небо, грозит пожарами, недородом...

За острогом на равнине приречной пыль с утра, и дым, и топот, крики. Пахнет шерстью паленой: казаки лошадей, кои для себя, клеймят своим тавром. Для торга пойдут неклеяемые. Купец-татарин крещеный вертится лукавым бесом, другие барышники тоже не зева-

ют, налетело их, что мух на пададь. Русский казак при удаче шибко добрый бывает, тароватый, задешево отдаст, потом при нужде втридорога купит.

В стороне верхами трое улусников. На лицах скуластых, темных, как седельная кожа, тень презрения к суете жадной, к щедрости глупой. Улусники выкуп пригнали. Ругался бай, всех бил, пока мулла с купцом не улестили: вах, удалой сын у бая Тахтарбая! Русские глупы, но молодого карагуша¹ оценили по достоинству, оттого баю Тахтарбаю честь, не надо скупиться, не надо торговаться, надо сына выкупать.

За полдень управились казаки с табуном, в острог загнали, чтоб вороватым улусникам соблазну не было. Оседала пыль, висел над рекой в безветрии парной дым залитых костров. Улусники терпеливо ждали: десятнику Горевану верить можно, отпустит ясырь, не обманет.

Гореванов с двумя казаками, при них Ахмет толмачом, вывели из ворот острожных пленников. Парню сказано было, какой выкуп отец дал, — за него одного два десятка отборных скакунов, а Касым — так, даром, ради почтения к байскому роду Тахтарбая. Узнав это, баенок стал себе дорог, от гордости превознесся, на десятника и казаков взирал надменно. Раздулся от важности, страхи недавние забыл. Казакам смешно. От удачи подобрев, малая потешили — поклон отвесили ему, сами ухмыляются в бороды. Баенок ухмылок не заметил, но и на поклоны ответствовать не унизился, животишко выпятил, шагов десяток прошел достойно и не утерпел, побежал, вскочил на оседланного коня.

— Стой! — Иван у казака ружье выхватил. Парень скакуна осадил, съезжился.

— Ишь обрадовался, — Гореванов ему сказал. — Верного слугу покинуть неже.

Касымовы глаза на десятника широко уставлены, не верит, что и его к бабе, к мадайке пустят. Насмежаются неверные урусы? Какая нужда им отпускать без выкупа? Или милостивый аллах помрачил их разум?

— Айда, айда домой, — легонько подтолкнул его десятник. — Нет, погоду маленько, спросить хочу. Али так хорош барин твой Тахтарбай, что за сынка евоного ты под сабли башку подставлял? Ахмет, растолмачь ему.

¹ Карагуш — орел (башк.).

Стоял Касым, на земляков глядел, на молодого хозяина, который в седле все вертелся, страхась казачьего ружья. Урус начальник говорит с Касымом голосом добрым. Станный урус. Зачем спрашивает, и так понятно... Ладно, пусть слушает.

— Чего лопочет башкирец?

— Ему, бает, все одно пропадать было, что от русской сабли, что от байской палки. Тахтарбай велел сына беречь. Касым без малая вернется — бай убьет. Касым малая спасет, сам погибнет — тогда, может, бай семье его хлеба дал бы маленько.

— Выходит, не от любви к барину, а с отчаянья на рожон лез, бедняга? Ну пушай идет с богом.

— Айда, Касым.

Этот не побегал. Уверившись в отпущении своем, поклонился издали казакам...

Звенит, гремит, гуляет кабак. Васька подскочил:

— Чего задумался, атаман наш удалой? Али новый ясырь брать замыслил? Веди! За тобой, хошь на край света!

— Думаю вот... Поговорка есть: ворон ворону глаз не выклюнет. Отчего ж человек человеку голову оторвать готов? Неужто вовек и у всяких народов так: у кого богатство, того и власть, а остальным хошь пропасть?

Филька Соловаров палец вверх поднял:

— Знатко, надобно богатым быть, и вся тут премудрость.

6

Колокола не звонят — плачут голосами человеческими. Возносятся их жалостные звоны-плачи к небу пустому, к солнцу нещадному, молят у бога дождика для пашен, как молит голодный ломтик хлеба у богача. Дай-й, дай-й, дай-й, господи! Спаси от глада и мора, грядущего в знойном мареве на земли иссохшие! Несутся в звонах тех слезы баб, мужиков, детишек: господи милостивый, спаси! И без того худо, страшно живется в краю приграничном, и от басурманских набегов разор, и тяжки подати государевы да поборы господские, надрывна заводская работа. Спаси, господи, люди твоя!

Крестный ход после молебна в поле возвращается к храму. Впереди лавошник благообразный, дородный фонарь несет. За ним справа другой мирянин с крестом

запрестольным, а слева — третий с иконою Пресвятой Богородицы. Потом хоругви несут, за хоругвями священник с дьяконом. Хворый старичок дьякон от зноя изнемог, большая свеча в руке его на сторону клонится, кадило за рясу цепляется, голос старческий дребезжит, по бледному лицу грязный пот льется. Совсем плох дьякон в башанлыкском храме, другого бы надобно. Псаломщик Тихон, в первом ряду певчих шагая, за стариком приглядывает: то кадило поправит, то свечу, то самого старца за локоть поддержит.

За певчими следует управитель с семейством, комендант Тарковский, уставщики, мастера, плотинные, прочая заводская старшина. Казачий пятидесятник Анкудинов едва от болезни восстал, ковыляет на нетвердых ногах, двумя десятниками подpiraем — ему тоже охота дожидка, ибо от жары хворь его усугубляется. Пот с него каплет, пропахший винным зельем. Далее простой люд идет, казаки, солдаты. В руках свечи восковые, пламя их не видно в солнечной яркости.

Гореванов с толпою шел, подпевал клиру; в годы отроческие при монастыре Никольском едино что радовало — пение стройное, слуху и сердцу приятное. Но когда с полей ко храму крестный ход возвращался, ослаб голос его, стало пение отрывочным: весь обратный путь не образ девы Марии созерцал — иной, земной образ искал в толпе и сарафан до голубизны выцветший, словно из вот этого неба сшитый. Что ж, крестный ход — дело свято, да шествуют в нем люди грешные, не всяк на поповские только гривы любит... Баб молодых, девок на молебствии множество, есть на кого любоваться. Девы на выданье, вдовушки да и замужние молодухи на пригожего десятника глазками поводят: дождик надобен, а и добрый молодец некую жажду утолить может... Потому-то иная, приблизясь, — очи на свечечку опущены, щеки не жарою разрумянены, — шепчет меж словесами молитвенными: «Каково поживать изволите, Иван Федотыч?» Поклонится учтиво: «Вашиими молитвами, Авдотья Харитоновна». И сызнова тот сарафан взглядом выскивает. А девка та и незнакомая во все, единожды видена, и то в месте недобром, в месте правежном...

Казак Ахмет-Савка рядом идет, свечку несет, шепчет:

— Николка, ты добрый! Мне лошадь обещал — дал.

Гляди, свечку тебе несущу. Николка, дождика нам дай! Видишь, люди просят, батя-поп кричит — почему не даешь, Николка? Башкирски муллы тоже дождика просят, аллах тоже не дает — пошто, а? У тебя, видно, воды нету, у аллаха нету. У какого бога вода есть? Тому богу свечку твою отдам...

— Ахмет, святым грозить нельзя.

— Осерчают? Вах! Все начальники таки: просишь — не дают, ругаться станешь — бьют...

Рослый дюжий мужик все время дорогу заслонял, не видать из-за него... Иван отстранил сермяжную спину, вперед стал пробираться. Сухая горячая пыль вздымается, в нос, в глаза порошит, наворачиваются слезы, и чудится людям — то от молитв в небе влага копится... Но пыль кругом, только горячая пыль.

Догнал. Девка как девка, Одежду не боярышня, красую не царевна. Да станом крепкая, ладная. Ручонка маленькая, да не только для свечи сподоблена — вона как тогда за плетъ схватила цепко, сильно. Такие девки что в избе, что на огороде, что на фабричной работе иного мужика ухватистей. А доля их и мужицкой горше...

Шествует крестный ход, в молитвах, в пыли... Иван девчонку обогнал чуток, поглядывает искоса. Белый плат повязан до глаз, видно личико округлое, ресницы опущены, губы совсем девчоночьи, припухлые, молитву шепчут. Ах ты девонька, птаха малая в перышках голубых, слышна ль на небеси сердечная мольба твоя, видна ль оплывшая в зное свечечка восковая? Хотелось заговорить, про отца бы спросить, что ли, — не отважился: молитве негоже мешать. Да и обидел отца ее, хоть не своею охотою бил. Не своею охотою, по господскому велению — так отчего совесть неспокойна? Не оттого ль, что он, десятник казачий, саблю и пистоль при себе имея, приказу жестокому не перечил, горем слезы на сей земле еще одною каплею приумножил? Не оттого ль господь прогневался, засухою наказует, и стонет народ от поборов неправедных, и кривда злорадствует кругом не оттого ли, что люди, и честные, и совестливые, по слабости духа своего вселенской кривде не перечат и тем ей потакают?

Но мужик-то коня пропил... Ежели всяки непотребства прощать, этак и весь завод пропьем. Срогость Руси надобна, ибо велика страна и народ в ней нраву разно-

го. Так где истина? Или посередке меж добром и злом? Жестокостью и прощением? И где в той истине, на каком ее краю десятнику Гореванову себя блюсти?

— Куды путь держит атаман наш? Пошто буйну голову повесил?

Одумался Иван. Эва! В розмыслах глубоких не заметил, как и молеbstво отошло, люд честной от храма по дворам своим растекается, а сам он бредет неведомо куда за сарафаном, что саженьях в десяти голубеет... Рядом всей бородой улыбится Афоня Пермитин.

— Али спишь на ходу, ровно конь заморенный? Зайди ко мне в избу, испей бражки.

— После молебна да сразу бражничать?

— А чего? На Руси никакое доброе дело без хмельного питья не деется. Выпьем за дождик, авось этак крепше молитвы тучи двинет.

Уходит вдаль голубой сарафан, платочек белый...

— В другой раз, Афоня. И без браги голова дурна — напекло.

— Ну и бог с тобою. Ахметша! Пошто за Ивашкою тянешься? Ты за мною айда, зальем попову молитву.

— Верно, Ахмет, ступай-ка с Афоней.

За воротами острога, за мостом через ров в обе стороны расползся выселок. Избы здешние низки, закопчены, ютится в выселке нищета, голь перекатная. Избенки ставлены наспех, складены из чего бог пошлет, житьельствовать в них долго, видать, не чаяли. Бывало не единожды, в налете внезапном ордынцы дотла выселок выжигали, и сызнава он возникал. Бывали налеты и свои: солдатская команда беглых искивала, лавливали. Лавочники, барышники, господа заводские и прочие состоятельные худородный выселок не жаловали; побавивались в одиночку по кривым проулкам хаживать. Скудно, смутно прозябал выселок.

Вкруг Ивана собачня заходилась лаем, свирепствовала: р-распластает вдр-рызг! Казак оружный им, мелкоте беспородной, не по зубам, сами со страху голосят. Но в выселке собачий лай на пользу — упреждают: чужой человек пришел. Затаились избенки, приникли: пошто пришел? Гореванов ножами песью стаю пуганул, подошел к развалюхе, куда голубой сарафан скрылся. И уж коль явился, зайти следует.

В сенцах не поберегся, головой о притолоку треснулся.

— А ты кланяйся, когда в наши хоромы пожаловать рискнул,— вострел его насмешливый голос.

День белый на дворе, а в избухе сумрачно. Поморгав, пригляделся. С улицы, со двора избушка не красна, ветха, а внутри столь опрятна! Стены белены, пол земляной ровен, дух здесь чистый, травяной. Тесно, бедно, а пристойно. На дощатых нарах белая холстина. Под лоскутным одеялом мужик лежит спиною кверху. Иван шапку снял, перекрестился на передний угол.

— Здорово, хозяева.

— О-о, гли-ко! Опять пороть? И то, заду моему полдюжинки горячих еще недодано. Спускать штаны али посидишь, отдохнешь сперва?

— Лежи знай, не зубоскаль. Проведать пришел, как ты теперича вроде крестник мой. Полдюжины горячих — бог простит.

— Бог-от простит, он милостив. Комендант — навряд ли. Ну ин садись вон на лавку. Водочки бы тебе поднести, да нету, уж не взыщи, служивый.

— За водочку с тебя взыскано довольно. Не чарку вымогать пришел я, а просить за битье не злобиться.

— Что ты, батюшка! Вот оздоровею — в ножки поклонюсь за битье твое милосердное!

— И ты лежал молодцом. Голосил таково отменно, что и дочь твоя спужалась.

— Старался. Ажно в кашель ударило. Кабы не ты, господин комендант вусмерть забить мог! Противу его лютоści твоя порка — баловство ребяческое. Вишь, счастливый я: страшна плеть, да не дал бог околеть. Скоро подымусь. Подживет спина, и иди робь, Кузьма.

— Тебя, что ль, Кузьмою звать?

— Ага.

— А по батюшке?

— Как Стеньку Разина — Тимофеич. Только разные нас Тимофеи на свет божий пустили. Степан-то Тимофеич сам горазд был ударить, а меня, Кузьму Тимофеича, всю жизнь другие колотят. И то: он атаман, я мужик. Должно, так уж мужика бог устроил: душа — богова, тело — государево, спина — барская. Ништо, я привыкший. Коль долго не бьют — скучаю: ах, начальство про меня забыло! И таково тоскливо станет, что выпить охота. Ну и выпью. Глядишь, и бьют. Живу дале весело.

— Ты стерпи, не пей.

— А пошто? Я выпью — доволен. Начальство выпорет — тоже довольно. Всем удовольствие!

Экий мужичок веселый. Лежит пластом, а боли и злости не оказывает. Из-под лохматой брови озорной глаз на казака поглядывает, в голосе надтреснутом ни стона, ни жалобы. Телом худ, да душою крепок Кузьма Тимофеич. Поди, и дочка в отца удалась...

— Девка-то где твоя?

Спросил и покался: оцетинилась бровь, стал остер глаз, голос глух.

— Ты будто меня проведать пришел? Вот меня и проведай, как хошь, а дочь не трожь. Она тебе покуда не крестница.

Гореванов сам на слово скор, но промолчал на сей раз. Неловко ему стало. Отвернулся к окошку, смущение пряча. На улице пусто. Под заплотом пес лежит в пыли, кусает блох в паху. Иван псу обрадовался: нашел тропку, куда разговор свернуть.

— Собаки у вас заполошны, прямо разорвать ладят.

— Умнейшая животи́на! — отозвался Кузьма охотно, по-прежнему весело. — Они охрана наша. Кто сюды сунется — царский писец али с товаром купец, милостивый барин аль злой татарин, — они и взлают, а мы глядим в оба: на коленки пасть, на брюхо лечь аль оглоблей хрясь да в лес убець...

— Складно баешь, Кузьма свет Тимофеич, — обрадовался Иван, что хозяин на неугодный вопрос не осерчал. Поднялся с лавки. — Прощевай. Оздоровливай. Еще зайти дозволишь ли?

— Приходи, ежели твоя милость будет. А не придется, ишшо лучше, собакам лишний раз глотку не драть.

На другой день горевановцы в дозор ходили — все ль окрест покойно, нет ли угрозы какой землям приграничным. Но все тихо, слава богу. Жара, безлюдье. Лишь за полдень, когда казаки, вконец изопрев, под березами дремали, Гореванов и Филька завидели далеко-далеко в стороне восточной людей малым числом и с пяток телег. Филька догонять наострился.

— Кажись, беглые. На башкирские земли тянутся. Пойду казаков подымать.

— Кони замороены, не поены. Да, может, и не беглые. Может, за солью обоз. Не наше дело.

В Башанлык к ночи въехали. Иван пятидесятнику сказался: никого не видали, кроме обоза купецкого, что за солью, должно полагать, на Ямышевское озеро шел.

Еще день на всякие службы срасходовался. Покончив с делами, воротился Гореванов в избу свою. За стеною жужжит прялка хозяйки, у которой он на хлебах. Голосенки ребячьи. Хозяин на дворе лошадь распрягает, покрикивает. От застенных чужих шумов домовитых Ивану грустно сделалось. Спать ему рань неохота. Пойти разве к Кузьме, провести? Обрадовался даже, будто лишь сейчас придумалось...

Мимо кабака проходя, завернул, бутылку вина купил. День воскресный, час не поздний — в самый раз идти гостевать.

Солнце на лес легло, когда он, собачьим облаян, на Кузьмов двор вошел. За избушкой огородишко, на четырех грядочках редька, лук, репка зеленятся. И поливает грядки Кузьмова дочка. Господи, до чего в работе баска, все-то ловко у нее, сноровисто...

— Бог в помощь, — шапку он снял.

Поклонилась. Платочек поправила до бровей. Коромысло подхватила, ведерки лубяны да и пошла бороздою, словно плыла над зеленью ухоженной... За соседским заплотом скрылась, не оглянулась. Вздохнул казак: хороша Маша, да не наша... Направился в избу.

Не вовремя наведалься — или тот, другой, гость не вовремя, — сидит у Кузьмы дьякон церкви Преображенской, отец Тихон. Гореванов с поры отроческой, монастырской недолюбливал особ духовных. Отца Тихона во храме видывал, но знакомства с ним не водил.

Дьякон, молодой еще, облика смиренного, со скамьи встал, казаку поясной поклон отвесил. Волосы жиденькие, белесые, сзади в косицу заплетены, лицом бел и тонок, одет в подрясник потертый, холста домотканого. Скопидомны, жадноваты служители божьи... Гореванов в угол покрестился, хозяину и гостю поклонился достойно, сел. Тогда лишь присел и дьякон — руки в рукава, очи опущены долу. Кузьма Тимофеич неловко, боком сидел на ложе сенном. Глядел на Ивана неприветно. Дьякону подморгнул:

— Слышал, отче, к Каменскому выселку опять неведомы ватажники набегли. Пять коров да телку угнали. Отчего така напасть, а?

Отец Тихон отвечал негромким приятным голосом:

— По грехам нашим господь наказует...

— Ты все про грехи. А по моему разуменью, оттого лихие людишки балуют, что казаки наши замест карательной службы по гостям гуляют. Ведь оно как: чей ни грех, а крестьянину поруха за всех.

Гореванов понимал: уйти бы отсюда надобно, чужой беседы не рушить — незванный гость хуже лихого татарина. Однако слово сказано не только ему обидное, а и всему казачеству в укор...

— Зряшно баешь, Тимофеич. Каменских коровенок наши служивые отбили, хозяевам отдали. Ватажка разбеглась, не слышать их теперь. Ежели я тебе не люб, дядя, то и сказывай прямо, всех казаков не порочь.

Чтой-то зол, неласков ныне Кузьма Тимофеич. С того ли, что на заду ему сидеть больно, ерзает, уместиться ладом не может.

— Хошь, казак, чтоб тебе прямили? Изволь! Но и ты без утайки ответствуй: чего ради сюда ходишь? Меня, убогого, проведать? Эка забота приспела! А не тайный ли сыск замыслил? Так помни, в высылке не только собаки злы...

Белое лицо дьякона болезненно изморщилось:

— Окстись, для чего речешь гостю дерзостно!

Но Иван уж шапку в охапку.

— Не впрок вам беседа такова, ежели казака от ярыжки не различили. Прощевайте, беседники благонравные.

— Прости великодушно, хвор Кузьма, оттого и речи ведет неразумны,— Кузьме перстом погрозил: — Грех тебе, грех! Гордынею преисполнился, раб божий!

Кузьма привстал, избочась.

— Ладно, не сердчай, служивый. Может, и сдуру поклеп я возвел. Да в диво мне от чинов воинских забота добрая. Ты сядь, смени гнев на милость,— к дьякону обратил растрепанную бороду: — Гордыня, баешь? Какая, братец, гордыня, коли в скудости ныне. В кои-то веки пришли ко мне человеки, и нету винца поднести, чтобы душу отвести. Вот грех-то в чем!

Гореванов, остыв, полез за пазуху, бутылку зеленую вынул. Отец Тихон покачал укоризненно головой. Но Кузьма воспрянул, над столом воспарил драным голубем.

— Гляди-ка! Дьякон, ликуй! Раб божий Кузьма, на сей земле мученик, ныне благодати удостоился. Хошь покуда не от бога, от десятника — все одно благо!

— Не богохульствуй.

— Не буду, отче, не то кабы ангелы дар небесный не унесли. Ну, казак, сколь за мною долгу теперь? Полдюжины плетей да склянка вина.

— Плети я тебе по службе, а вино по дружбе. Пей во здравие, авось сочтемся на том свете угольками.

— Ты, мидок, пошарь-ка на печи, добудь лукѡвку, мы ее с сольцою вкусим. Прошлой осенью ездил в обозе на Ямышевско озеро за солью, малость уворовал. Вот у нас теперь луковка, сольца и чарочка винца.

Приговаривая, кособоко проковылял к полке, принес себе чарку берестяну, казаку — оловянну, дьякону — по чину его духовному — стакашек синего стекла.

— Желаем тебе, казак, сколь можно дольше в седле держаться. Отче, не вороти рожу-то, благослови трапезу.

— Вредоносно тебе зельесие, — укорил дьякон, благословляя все ж чарки и нарезанную луковицу. Выпили. Кузьма крикнул, зашурился, подышал.

— Теперь, брат, со всех концов я распробовал, какой ты хорош человек. Другой раз на правеж поведут, уж сделай милость, изволь самолично постегать. От душевного человека и битие приятственно.

— Ежели вдругорядь коня пропьешь, постегаю. Конь, он как друг, разве можно его продавать.

— Продавать? Что ж ты, парень, нешто я на такую пакость себя уроню.

— Вот те на! Куды ж лошадь девалась?

Мужичонка плечами обвис.

— Не продавал я, видит бог...

— На вино променял?

— А? Да выходит так. Охота есть, так послушай, будет молодцу наука. Вишь, тогда о полдень доехал я до постоянного двора. На горе мое денежка в кармане завелась. А денежка у нашего брата покойно не лежит, она там шевелится, гребтит. Дай, думаю, щец похлебаю. Сперва ж чарочку малую приму с устатку. Выпил. Думаю; что я, щей не едал? Хлебца пожую, и ладно. Ну-кошь, еще одну выпью. Потом целовальник сам третью налил — не выливать же обратно. На хлеб денежки и не хватило. А жара — не приведи боже... Ну и пробу-

дился ввечеру, во дворе на земле почиваю. Азям¹ на мне, шапка при мне, лапти на ногах — лопотина дырява никому не нужна. А лошади нету! Полон двор лошадей и телег, а моей каурки не сыскал, ищи-свищи... Голова тяжела, а от горя и весь сам тяжел, белый свет помрачился... Бегаю, всех пытаю: не видели каурую мою? Постояльцы смеются: пропил-де и заспал. И пошел я, братцы мои, пешком по дороге. Иду, шагаю, а в глазах-то все плывет, туманится, черен свет кругом... За околицу вышел, где никто меня не видит, лег в пыль придорожну — нету силов никаких... Округ меня полынь, трава горькая, и во мне полынь, горечь...

Лохматые брови на переносье изломались, надтреснутый голос перемежался кашлем, всхлипом ли.

— Лежу, горюю. А от крайнего двора пес, огромный волкодав, стон мой услышал, набежал, рычит на чужого... Так не рванул же! Пес, зверь! А понял — в беде я великой! Он мне... он мне руку лизнул... лег поодаль, скулит, да так жалостно скулит, словно голосом человеческим выговаривает... Ох, мол, Кузьма ты, Кузьма, жизнь твоя не краше, чем собачья наша. И, братики мои, от песьего к горю моему разумения улил я слезами, ровно баба неразумная. Так и плачем двое у околицы села чужого...

— Божья тварь весьма способна сострадать горю человеков.

— Да-а... И пошел я пешком на Башанлык. Вот, как, что сотворилось.

— Так надо было коменданту и обсказать.

— Сказывай не сказывай — лошади-то, голубушки, нету. А коли нету, то меня к ответу. И за дело, виноватый я.

— Вестимо, малой чаркой начал, да большой бедой кончал. Не пить бы тебе совсем.

— Тогда станет и того горше. Езжу по градам и весям, гляжу, сколь много неправды кругом деется! У кого сила есть, тот совесть потерял. У кого совесть, бессилен тот. Меня беспутным почитают, пьяницею зовут, а у меня, пьяницы беспутного, болит, болит совесть, на гнусь житья нашего глядучи! Все вижу — и ничего изменить не могу, убогий!..

¹ А з я м — мужская одежда типа полупальто.

— Сирым да убогим один господь защита и утешение.

—...Таково обидно станет, прямо хоть в омут головой! А и в омут не можно, потому как дочь одна останется, без защиты на сем свете жестоком...

Иван хотел сказать: «Какой из тебя защитник...» — да смолчал. Без того Кузьме ныне худо. Когда на работе человек, при деле, мелкие насущные заботы большую печаль отгоняют. Четверо суток один в избе лежа о жизни думал, а отрадным думам взяться неоткуда. Вот и залилась печалью обычная его веселость. И нечего сказать в утешение. Хоть бы дьякон молвил утешное слово.

Дьякон и впрямь молвил, будто мысли Ивановы услышал:

— Смятенна душа твоя. Непостижимое тщишься постигнуть, но того не дано смертному. А ты смирись, раб божий. На бога уповай. Токмо в молитве ищи покой душе страждущей.

В словах отца Тихона звучала примиряющая, баюкающая грусть, в негромком голосе сочувствие. Кузьма кивал согласно, может быть, словам благостным, может — своим мыслям. Гореванову такое поповское утешение не понравилось.

— Молитва только богу угодна, от мерзавцев же ею не отмолишься. Про мерзавцев в писании толково сказано: око за око, зуб за зуб.

— Да ежели силы нету? — вскричал Кузьма.

— Когда один молится, другой вино пьет — третий над ними твори что хошь. Ежели те двое протрезвились бы, хватило б, чай, сил за наглость третьему-то зубы выбить, глаз подбить.

Дьякон оглянулся на дверь, на окно. Перекрестился. Кузьма подумал, спросил:

— Ну и как мыслишь ты всех враз отрезвить?

Вот этого Иван не знал. Прервалась беседа.

Светлый вечер пал на Башанлык. Но не принес желанной прохлады, сухо дышал в полое окно запахами пыли, дерева, жухлой травы и дымком костровым — бабы выселковые по дворам огоньки развели, похлебку варили.

— Что ж мы эдак, однако, — тряхнул Кузьма нечесаной башкой. — На доброй встрече да невеселые речи?

Застолье — не богомолье. Тут мы — корень царства всего, воин, поп, мужик. Живем все поврозь, так хошь выпьем дружно! Пей, дьякон. Будь здоров, служивый. Как имечко твое крещеное? Пей, Иван-воин.

Опорожнил чарку, понюхал луковку. Улыбнулся.

— Вот и гоже. Все ж хорошо жить на белом свете!

— Экой ты неунывный, — усмехнулся Иван, лук от него принимая.

— А поскулил маленько, и будя. Больших удач господь не посылает, так надо и малым радоваться. Вовсе-то без радостей нешто можно? Коль жизнь не всласть, на кой пес она сдалась? Песню, что ли, а?

Взмахнул руками, сморщился от боли. Но упрямо крикнул, завел надтреснутым голосом:

Гулял, гулял молодец
По зеленой мураве....

Дьякон застенчиво улыбнулся и покрыл мягкой грустью тонкий плач Кузьмы:

По зеленой мураве,
По студе...ох, по студеной по росе...

Глянул на Гореванова, устыдился и смолк. А у Кузьмы голос окреп, лихо взыграл:

Да соколом поглядывал,
Кистенем помахивал...

Прощаясь, Иван положил на стол монетку пятиалтынную.

— Мы, Тимофеич, выкуп за ясырь взяли, так вот...

Кузьма назад монету отодвинул.

— За винцо благодарствую, а деньги не приму, не прогневайся.

— Голодно вам...

— А кому сыто? Милостыню подавать ступай на паперть церковну. Да не серчай, что за соглядатая тебя почел было. Думал, беглых вынюхивать приволокся. Прости, братец.

Вышли с дьяконом вместе. Иван подумал, что близкими товарищами им не бывать, но все ж отец Тихон супротив иных духовных лиц поприятнее будет.

Кузьмова дочка и в сумерках над грядками хозяйствовала, траву сорную выпалывала. Казак улыбнулся труженице пригожей, дьякон поклонился.

Услышало небо людскую мольбу, да поздно — август к исходу шел, когда хлынули дожди не в добро обильно, гноя копенки сена, по травинке мужиками собранные. На пашнях низинных, сгубленных летней сушью, теперь лужи стояли, и от струй неумных пузыри по ним плавали. Грядущая зима голодной виделась: ни людям хлеба, ни скотине корму. С первыми снегами, того и гляди, башкирские ватажки набегать учнут, тем же бесхлебьем гонимые на разбой. Станут зорить нищие деревнишки, последнее отымать, в полон хватать на продажу.

Но покуда не пришло ватажкам время, казаки в Башанлыке службу несли малую. Разве что в ближний дозор иной раз комендант либо пятидесятник нарядит.

Казаки беломестные¹ имеют земельный надел, избу свою, хозяйство, им при любой погоде забот невпроворот. А которые черные, безземельные да бессемейные, те о сю пору по избам скупают, бражку попивают, ежели есть она.

Гореванов бражничать не любил. Вечерами, от службы досужими, в высылке был частый гость. С собою не лукавил: дескать, Кузьма Тимофеич — мужик занятный. То есть он хоть и вправду занятный, да не к нему только шагал по грязи, укрывшись кошомной попоной: любо ему на Евфросинью свет Кузьмовну глянуть, как прядет она, рубаху отцову латает, либо еще что — на все девка расторопна. Когда непогодь, мокреть на дворе — уютно сидеть в ухоженной избенке, степенные беседы вести с хозяином, украдкой засматривая на пригожее девичье личико, освещенное лучинным огоньком, на маленькие сноровистые руки. Днем видал ее у заводских амбаров — с другими девками, бабами рогожи плела, кули сшивала. Но там, во многолюдстве, не станешь же ее разглядывать. А здесь, в избе либо на огороде, иной раз и словом переброситься можно. Фрося не в пример отцу — молчаливица, скромность девичья в ней уважения достойна.

В избе Кузьмы и дьякон Тихон — частый гость. Си-

¹ Беломестные казаки жили своим хозяйством, не получали жалованья и не платили податей. Черные казаки своего надела не имели, получали жалованье от казны.

дит, смиренник, руки в рукава и тоже на девицу взглядывает. Подрысник на нем беден, потерт, да опрятен, сапоги много ношены, да завсегда свежее дегтем смазаны. Иван, ближе знакомство сведя, к дьякону притерпелся. Хотя и церковная он крыса, но чистоплотен нравом. Худо одет, но не от жадности поповской, а от бедности праведной.

В башанлыкском приходе любой мирянин сказать мог: дьякон Тихон благонравен и учен изрядно, только чудной маленько, не от мира сего человек. Да и дьяконом-то он не был, хоть и называли его так миряне по простоте душевной, а состоял при храме всего лишь псаломщиком. В училище монастырском преуспевал Тихон во всяких науках, поведения был весьма похвального, в Башанлык приехал с отзывом отменным. Надлежало ему в скором времени сочетаться браком с поповною из соседнего прихода, и после сего уже в сан духовный его рукоположат, и станет Тихон настоящим дьяконом. Невеста, женитьба, вся грядущая церковная судьба его в епархии была заранее предreshена, так что оставалось Тихону только отдаться вполне воле божьей да следовать путем, предначертанным свыше. Прихожане с первых дней так его и звали: дьякон Тихон, никаких сомнений на его счет не имея.

Сам же он, наоборот, имел сомнения: должно, в монастыре его либо недоучили, либо переучили излишне — зачудил вдруг отец Тихон, умствованием неуместным сам себе благодатную стезю как плугом перебороздил... Съездив раза три в соседний приход, в дом невестин, объявил предreshенному тестю, что жениться не желает и не станет. Поп скрепя сердце по-хорошему его спросил, какая на то причина. А Тихон и причины-то настоящей не обсказал, сослался, что нету-де промеж них с невестою никакой любви, а поелику ее нету, то и венчаться грех и обман. Поповна была уж не первой молодости, посему ее родитель прибег с жалобою к башанлыкскому попу: да вразумит жениха егозливого. Тут всем церковным советом наставляли строптивца на ум всякю, и псалмы царя Давида ему чли, и под конец бранили матерно, добра ему желая, а он только крестится. Таково упрямство явил, что все диву дались. Ведь сулят ему дьяконский чин, а после тестевой кончины быть попом в приходе хлебном! Не преуспев, отступился совет церковный: пушай-де прозябает упрямец во

псаломщиках, ежели экий он дурак. Поповне иного жениха сыскали.

Досужие бабы сарафанным путем прознали истину: невестушка-то с изъянцем была. С каким? Тут слухи разные ходили. Одни баяли, что хвора с дурного глазу, другие — рожа после оспы шадрива, третьи — и не сглазена, слава богу, и рожа гладкая, а всего-то брюхата от монашка захожего. Но все в одном сходились: никакие это не причины, чтоб не жениться, тем боле что, того и гляди, церковь в Башанлыке без дьякона останется вовсе, а оно негоже, молитва слабже.

Тогда принялись Тихона прельщать вдовушки да родители дочек на выданье: жених хотя и бестолков в делах житейских, да смирен и непьющ, и то дар божий, а семейная жизнь заставит выкинуть из башки пустые про любовь мечтания. Вдовушки в храм зачастили, таково богомольны сделались: Христу крестятся, на псаломщика вздыхают. В избы, где девка — невеста, с почетом Тихона зазывали на пироги, винца ему подносили. Он выкушает чарочку единую, от второй открестится, пирога отведает, благодарность хозяевам изречет голосом приятным да и уйдет себе на церковное подворье, где обитал в пристрое поповского дома. Не токмо что жениться, а хотя бы приласкать ненароком какую-нито бобылку Тихон отнюдь не соблазнялся. Испытав его на все лады, отступились вздыхательницы: должно, сам он с изъянцем, идол твердокаменный...

И оказалась совестливая душа Тихона от всех прочих башанлыкских душ как бы на отшибе: духовное словие пренебрегало им за строптивость, женское — за невнимание, казакам поп не товарищ, работному люду недосуг беседы благие. От былых надежд осталось только прозвание: величали миряне псаломщика по привычке отцом дьяконом.

Скудость и одиночество переносил Тихон с твердостью. Кормился крохами, что уделял псаломщику поп от мирских подношений. Сам Тихон с бедных башанлыкских мирян ничего не брал — грех-де сымать с нищего суму. Сам горенку тесную обихаживал, лопотину свою стирал, кормился жалованьем скудным да грядкою на поповском огороде, на коей своими трудами овощ взращивал. Всегда охотно навещал он убогих, болящих, утолить страдания их кротким словом. Того ради и к Кузьме хаживал. Но только ли? Гореванов мыслен-

но рядом ставил отца Тихона и Фросю... Нет, какая из нее дьяконица! Ну а казачкою была бы подходящей? Но такую мысль гнал от себя...

Дьякон — молчун, редко в беседу встревал, более к словам чужим присовокуплял речения да притчи из священного писания. Сидел руки в рукава, будто холодно ему на сем свете... Молчит да слушает, как Кузьма, за день в одиночестве наскучавшись, без оглядки словами сыплет.

— Бегут работные, ох, бегут...— говорит с одобрительной веселостью, нюхая луковку.— И то: к черту-дьяволу пойдешь, коли жить невтерпеж.

— Не поминай лукавого, бо вездесущ враг рода человеческого...

— То и беда, отче, что лукавство всюду. Корысть, насилие. Сам бог велел работному с завода бежать. Э, разве поп да казак поймут мужицку тягость! Вот я — не приписной, не крепостной; вольный, кажись, а в кабале всю жизнь. А которые к заводским работам приписаны, им каково? Мужик землю пашет, хлебушко растит себя и семью кормить — то своя ноша, не в тягость она... Заводская каторга — она мужика гнет. Да еще горюшко — подать государева.

— За приписных мужиков подать заводская контора платит,— сказал Гореванов.

— Ага, два гроша в день. Еще и кормит — горстку муки с толокном пополам. Эко сыто-денежно! Да и те корма не даются задарма: за два-то гроша стребуют работу безжалостно, с полпята утра до восьми вечера. И в деревне, в хозяйстве надел тож работы требует — на казенных-то харчах кабы не зачах. А подать! К примеру, робенок у мужика родился, бог сына дал, в старости кормильца — то радость? Плясать али слезы лить? Сынку, скажем, неделя от роду, а если записан уж в бумагу ревизскую — плати за него тятка, ровно за работника могучего, семнадцать гривен подати. Да свой отец, старик ветхий, немощный — и за него, как за работника, еще семнадцать гривен. Да родной брат от заводской каторги в бега ударился — и за него плати сполна. Как за всех подать отдашь, по два гроша в день получая? Еще и писцы канцелярски обманут, уставщик штраф сдерет. Да, при барском гнѐве, палачу, чтоб не всю кожу со спины спустили. Да попам, чтоб урожай вымолили. Вот и посудите, что мужику милее,—

вечно в муках жить или на чужбине голову сложить? Едино, что на месте держит,— с робятишками да бабами далеко не убежишь. Да еще надежда, что должна же когда-то на лучшее повернуть доля мужицка.

— Как она повернет?

— Вы с дьяконом грамоту постигли, вам бы лучше знать. Я же разумею: когда-нито перестанет мужик слезы лить, и почнет он в отчаянности лютой кровь проливать, свою и чужую, винную и невинную...

— Тише! Уймись! — дьякон замахал руками. — Умствования предерзостные оставь, всеу они и во вред. Чрез соблазны, тако ж чрез строгости начальства ниспосланы Всевышним испытания рабам божьим. Сказано бо: несть власти, аще не от бога. Все в руке его, нам же, грешным, надлежит испытания многие претерпеть с кротостию, себя в смирении блюсти.

— Эх, дьякон! Знаю тебя за человека доброго, иначе побил бы! Твое смирение и есть вред! От нашей кротости у них, супостатов, еще боле лютости. Казак вон правду баял: бей мерзавца по зубам, чтоб и у него смирение внутри завелось. Так, что ль, Иван-воин?

Гореванов тоже не согласился с дьяконом.

— Послушать тебя, так что ни дьячишка, то помазанник божий. Всяк прыщ на мужичьей шее свят будто. Эдак блохи и клопы — тоже твари неприкосновенны, ибо суть творенья божьи? Не ведаю, не хватает ума: что делать надобно? Но врагов своих николи не люблю. Ибо они от любви моей еще более размножаются, пуще озвереют. И выходит оно так, что смирение рабское грехи на земле умножит. Нет, дьякон, огрызаться беспрерывно надобно.

— Верно, казак! — хмельно блестел глазами Кузьма.

День праздничный был, сентябрю пятое число — тезоименинство государыни Елизаветы Петровны. Заводские работы, опричь неотложных, к ранней обедне кончились. Ради праздника и зная Кузьмы слабость принес Гореванов вина. От того да от досуга праздничного разгладились морщины, помягчали лица, запросилась из души беседа на язык.

— Братцы мои! — Кузьма кулаками взмахнул. — Была б у меня силенка хошь малая, я бы... ах!..

— То-то, что «ах». Бодливой корове бог рог не дает.

— Поглядим еще! Дайте срок, скажу словцо им, энтим...

— Не похваляйся все, раб божий. Что воздвигнешь в оборону себе, терпения кроме? Истинно мудрость гласит: мужик терпением силен, нищетою богат...

— Всю жизнь терплю, дьякон. Не из страха за себя, никчемного,— за дочь страшусь... Но дайте срок, я скажу!..

Вошла Фрося — она у хворой соседки хлопотала,— и мужики хмельную беседу оставили. Гореванов и дьякон поклонились девице. У казака пряник в кармане приготовлен, но угостить не посмел. Кому-то Фрося достанется на радость, на беду ль?.. Непросто бедняку уберечь жену пригожую от распутства господского. Защитою будет разве что мужнин сан, ежели, к примеру, за священника выйдет, либо сабля, ежели за казака...

8

Комендант Тарковский спровадил казаков горевановского десятка в дальний дозор, пройти близ улусов башкирских, не замышляют ли разбоя улусники. О ту пору конь Иванов охромел, запасной же не объезжен ладом, дик под седлом. И послушался десятник: замест себя головою в разъезд Пермитина послал: Афонька — мужик основательный, очертя голову в свару не кинется, людей зазря не погубит. Сам же Иван, коменданту не доложившись, в Башанлыке остался. Негоже так-то, да ни к чему лишний раз начальству досаждать оправданиями. И послушанье это вскоре одну беду отвело, другую насунуло. Не дано ведь человеку знать, где его беда застигнет, в ратной ли сечи или дома на печи.

Весь день со двора не выходил, доносчикам досужим на глаза не попасть бы. Смазал коню дегтем пораненно копыто, чистой тряпичей обвязал. Пошел в избу седло чинить.

Тут прибег чужого десятка казак. На икону не глянув, шепнул весть тревожную:

— Счас был на канцелярском дворе, твою девку видел...

— Какую это мою? — усмехнулся Иван, а у самого сердце дрогнуло: видали, чай, на Башанлыке, в чью избу на высылке он повадился.

— Ну Куземки Бесконнова дочку. Ее комендант в покои свои увел...

Выпало седло из рук, звякнули стремяна.

— Сама шла?

— Куды денется. Велел ей в покоях полы скоблить. Знамо, какие полы, не первую девку портит.

Сапоги враз на ногах, сабля на боку, пистоль за поясом.

— Ивашка, я пеше прибер, дай коня, с тобой пойду.

— Нет. Уходи да помалкивай. Коли что, один я в ответе.

На запасного коня полудикого вскочил да плетью его — бурей вырвался из двора жеребец, понес бешено, собак яря, кур пугая. Во двор канцелярский ворвался, прынул с коня, захлестнул повод за бревно коновязи. Заметя, что не в себе казак, загородил ему часовой путь в барские покои.

— Не велено.

— Прочь! Дело спешное, — отстранил ружье, прошел. Солдат видел утром, как горевановцы в дозор уходили, поверил: издаля десятник воротился, видно, и впрямь спешная весть.

По лестнице наверх мигом взбежал, толкнулся в запертую дверь. Ударил кулаком. Стал сапогами бить. Пока не рывкнули там:

— Кто?!

— Я, Гореванов! Отопри скорее, барин! Спешное дело!

— Какое дело? К Анкудинову беги, нех тоби дьябль...

— Пьян Анкудинов, отопри, ино беда великая сотворится!

Засов лязгнул. Иван пнул дверь, она распахнулась, барина ушибла.

— Кан-налья, мать т-т... — и присел Тарковский — в грудь ему пистоль направлен.

— Девка где?

— Ты пьян, пес!

— Сказывай, не то... — пистоль к носу, учуял Тарковский запах пороховой из дула.

— Какая девка? Да ты, пся крев, грозить посмел! Да ты...

Понял Иван, сей миг барская злость преодолит страх, кинется зверь солдат звать либо на пистоль прямо... Миг еще...

Но вторая дверь, что в опочивальню, заходила ходуном, изнутри по ней колотили столь же смятенно, как Иван только что. Оглянулся, промешкал Тарковский, Иван крутнул его за плечи спиной к себе, пистоль в затылок:

— Отпирай, барин.

У того шея и уши белы стали, как в муке обсыпаны. Пошел, от железного холодка плечами поводя. Неверною рукой нашарил в кармане ключ, не вдруг в прорезь им попал. Бух! — вдругорядь коменданта дверью треснуло, рыкнул от боли, от злобы. Фрося, простоволоса, кофта рвана, глаза сухо блестят, шагнула и — от пощечины мотнулась комендантова голова затылком в дуло... Смолчал.

— Стой! — ухватил Иван за руку Фросю. — Успел ли чего с тобою?..

Вырвалась, вышла из горницы. По тому, как шла она, как стан ее прям, догадался Иван: не успел барин...

— Ну, господин, падай на колена. Падай, не то в лоб свинец вгону! Не предо мною, пред иконою. Клянись! Давай зарок, что боле девки сей не коснешься. Сказывай: истинным богом клянусь и зарекаюсь... Ну же!

Холодное железо жгло затылок. Тарковский выдавил сквозь зубы:

— Истинным богом... клянусь... Будь ты проклят, шкуру спущу, изменник, вор! Убери пистоль!

— Браниться пред иконою грех. Курок-то взведен, прижму чуть — и накажет тебя господь смертно. Ну!

— ...И зарекаюсь девицу тронуть...

— А ежели нарушу...

— Ежели нарушу, да наказан буду смертию лютой... аминь...

Оглянулся, железа более не чуя. Казак уж у порога. Но пистоль нацелен, курок взведен.

— Вставай, господин комендант. Да помни впредь, казаки — не баре, но их лучше стороной обойти, за обиды щедро платят. И насчет девки зарок помни накрепко.

— Эй! — крикнул Тарковский все еще на коленях. — Противу тебя зарок не давал я!

— В другой раз дашь.

Хлопнула дверь. Комендант повалился на пол, кулаками в половицы бил, хрипела в глотке брань непотребная..

С неделю Гореванов к Кузьме не захаживал. От комендантского гнева подале, ходил со своими в дозор часто, оставляя Ахмета приглядывать тишком за Кузьмовской

избой. Дома оставшись, с Пермитиным либо с Васькой Пороховым в избе своей вел беседы про разные дела казачьи. Спать ложился — саблю да пистоль подле себя клал.

Однако утеснений от коменданта не замечалось. Будто и не бывало меж ними стычки. И то: барину Тарковскому срамно про то болтать, а Гореванов на самохвальство не падкий. Не забыл, не простил комендант, но кто знает, когда и какую месть он уготовил.

Дождил сентябрь. Башанлык тих лежал под морсящим небом, затаился в недобром безмолвии — не за горами уж зима, и будет она голодной ныне. Даже кабак, цареву кружало, питухами теперь оскудел. Хромой балалаечник, трезвый и несытый, песни плачевные наигрывал, в лад редким захожим гостям. Лишь завод по-прежнему стонал, ухал молотами. Но и в его уханье что-то недоброе слышалось, водяные колеса у плотины скрипели надрывно, будто и бездушные машины близкую людскую бескормицу загодя оплакивали...

Однажды вечером к Гореванову прибег Кузьма. В лаптях и на босу ногу, от дождика рогожею прикрылся. У порога лапти скинул, не наследить бы мокрыми.

— Сколь разов прибегал, все тебя дома нету. — И в ноги пасть норовит: — Спаситель ты наш!..

— Не клонись, не падай, — ухватил его Иван под мышки. — Али пьян?

— Тверезый. Земно поклониться хочу! Сказывала Фрося, голуба моя...

— Не вались же, Тимофеич, я те не икона чудотворца. Сядь. Вы-то как живете? Что комендант, не тревожит?

— Молчит покуда.

— Ты про случай тот никому не говаривал?

— Ни боже мой! Даже дьяку неведомо.

— И ладно. В добром ли здравии Евфросинья Кузьмовна?

— Тогда спужалась шибко. В избу прибежала — будто лихоманка ее треплет. Но дочь моей породы: страхам да печалям недолго предается. А за тебя со слезою молилась матери божьей, счастья тебе просила у заступницы святой. Уж ночь, а она все шепчет: пошли-де здравия воину Ивану, в ратном поле удачу...

— Уходили бы вы из Башанлыка. Боюсь за вас.

— Куды? Недоимки на мне, долг за лошадь утрачен-

ную. В деревнях не укрыться от соглядатаев управителейых. Куды пойдём, Ваня?

— К казакам на Яик.

— Дорогою схватят солдаты либо башкирцы. Моя песня спетая, неча страшиться. А не дай бог попадет Фрося к нехристям в полоң... И тут неволя, да христианская все ж.

— А поведай, Тимофеич, где баба твоя, мать Фросина?

Кузьма навалился на стол костлявой грудью, подпер бороду жилистыми кулаками.

— Сироты мы с Фросею... Не люблю боль на люди выставлять, но тебе, Ваня, ежели таково желание имеешь, поведаю.

Уставился на огонек лучины из-под лохматых бровей.

— Счас я закорюка пьяна да бита. Смолоду же — ух, орел был! Весел, певун, лицом пригладен. Вином не ушибался, ни-ни. Мы из града Хлынова, тятенька ямщиком были, своих лошадей держали. Какие лошадки у нас были, я те скажу!.. Н-да. Изба новая, хозяйство. Небогато, но справно жили.

Говорил Кузьма — будто не про себя сказывал, про то, что ему в лучинном огоньке привиделось.

— Говор у тебя не хлыновский, Тимофеич. Хлыновски не так бают.

— Всякого люду на путях-дорогах повидано, всяких говоров слыхано. Грамоте не учен, а толковать, когда тверезый, и с господами сумею, ежели добрососедны попадутся господа. А то они с нашим братом все боле кнутом да мотом. Н-да. В каких далях побывал, какие города повидал в годы молодые! На Соль Вычегодскую, на Великий Устюг езживал. В Чердынъ однава. Тоже богатый город, воеводский. А и наш Хлынов не хуже и богатым купечеством славен. Все кругом блазнилось в те поры богатым да славным... Было времечко! Не деньки — песни! Оно, может, и тогда забот хватало, да ныне, издали, из лет недобрых таково ладное то жильё чудится! И удачлив я был. Сколь раз в лесах богу маливался, разбойничков завидя, но лошадки уносили... За удачливость меня купецкие приказчики и господа хлыновские жаловали, со мною охотно ездили. В селеньях больших торговых сударушки, белы лебедушки ямщика привечали. Так-то, братец...

Без копоти горит сухая лучина. В огоньке ровном

зрят затуманенные глаза мужика воспоминания далекие...

— Ну-к вот. Довелось мне взять купца с дочерью, из торго-ярмарки до Хлынова. Не то чтоб именит купец, но в богатестве изрядном. А дочь баска, казиста, королевна-девка. Глянешь — петь охота. Я и пел. Когда экая краса тебя слушает благосклонно, отколь и голос берется. Оглянусь на нее и зальюсь жаворонком. Я ей тоже приглянулся. Так-то песнею зачалась любовь наша... да худо кончилась. Вишь, девка норовом в батюшку свою вышла, балована, своевольна, запрету ни в чем знать не желает. Кого приласкать ей, совету не спросит. Ну и любились мы тайно... Родителю ее открыться я и в уме не держал: купец гордый, с мужиком родниться вовек не согласится. Дочь за купецкого же сына прочил, и уж все у них оговорено было. А девка в сумасбродность вошла: тебя, грит, одного люблю, за иного не хочу. Увези, грит, тайком, на лихих лошадках своих умчи, с тобой ничего не страшусь. Тебе, сынок, девки такое не говаривали? Милай, да от таких речей все забудешь, и простое звание свое мужичье не вспоминаешь, и черт тебе не страшен! Даже и не в девке сила — в любви этой самой. Околдовала любовь девичьей красою, русою косою, губами ее сладкими... И — уносите, кони, любовь от погони! Сколь денег у меня приколплено, и серьги ее — попу в деревеньке убогой, чтоб обвенчал без родительского благословения. Недели две у дружка мово, ямщика тоже, укрывались. Потом воротились в Хлынов, в избу мою. Тятенька ругал меня всяко, кнутом постегал. А купец — ровно так и надо, будто мы по согласию его. Только за нею приданого ни копейки, ни ветхой шубейки. Да мне приданого не надобно. Хуже, что чужи мы люди с тестюшком: к нам не идет, к себе не зовет. Мол, венчались без благословения, так и живите без оногo. С дочерью он и допрежь свадьбы нашей не в ладах пребывал. Сызмала ее избаловал и после уж строгостью не мог одолеть. Мне сказал: «Дурак ты, Кузьма, не така жена тебе надобна». Не поверил я в тот раз. Поверил позднее.

— Руглива была?

— Сказываю, балованна сызмала. Балованную бабу — ни крестом ни пестом. Среди русских баб такие редкость, слава богу.

— Так чего ж она?

— Погоди. С год мы жили ладно. Сам дивился удач-

вести своей: жена ласкова, самовольство наше обошлось без драки, без шума. Доченька родилась. Себя виноватым чуя, понес ребеночка тестю — на младенце вины нету. Купец глядеть не захотел, внучкою не признал. Дочь от себя как отрезал: ни гнева, ни привета. Что ж, обиды я на тестя не затаил, чванство его купецкое не осудил. А вот что помнить надо бы: яблоко от яблони недалеко откатывается. Самодурство в роду — жди беду. И дождался... Как любила сгоряча, так и бросила, ровно плат с плеча. Кха... Нет ли, парень, испить чего? Першит горло.

Иван из корчаги квасу налил, жалея, что не держит у себя вина,— в самый бы раз, чтоб у гостя в горле, на сердце отмякло...

— Воротился я это из Соли Камской. Нету любезной моей. Тятенька мой тучею хмурится. Вишь, умчалась она в Вологду с дьяком, что в Хлынов часто езживал по делам земским... Чем ее прельстил, когда слюбиться успели, бог знает. Собою-то невзрачен, нравом пакостен — пойми вот женскую душу! Правда, богат так богат! Государеву службу правя, наворовал вдоволь. А что воровством добыто, того не жалеют. Она ж привыкла в холе жить, в бархатах ходить, нешто ей ямщицкая изба поглянется. Крадче от тятеньки мово сунула младенца бабе-соседке, рупь денег за пригляд и улетела, умчалась...

Лучина чадила, потрескивала — сучок в ней попался. Гореванов лучину сменить не шел, чтоб повесть не прервать.

— Улетела в Вологду. Я с неделю страдал, тоскою исходил. Не стерпя, поехал к ней... В дом дьяческий величавый зайти не насмелился. Подле храма стерег. Да напрасно все... не умолил вернуться. Разлюбила-де, и весь сказ. А дите? — говорю. За дите, грит, богу ответ держать буду. Стоит предо мною — красивая, в шелке, в жемчугах. Чужая... И, веришь ли, не могу ее даже стервой обозвать — жалею. Потому, с душою черствой, легко ли будет ей! Пока молода — ништо все. А потом? Молодость минует, души нет — что ей останется? Богатство? Оно души не заменит.

— Что же с нею случилось?

— Бог весть. Не ездил боле на Вологду. Запил я. Завил горе веревочкой. После прежних-то моих всяческих удач да экая поруха... Тятенька и бранил, и бивал.

В то время и тятенькины дела пошатнулись... Известно: пришла беда — отворяй ворота. А я все по кабакам кручину запиваю, да запить не могу. Тятенька и говорит: либо-де выкинь дурь из головы либо иди на все четыре стороны, семью не позорь, не разоряй. Бывший тесть однажды у кабака встрел. Говорит: понял теперь, что дурак ты? Ответствую: нет! Она меня истинно любила! Говорит: дураком ты, Кузька, и остался. Пока, грит, остатний ум не пропил, уезжай отсель, не смеши добрых людей! Про внучку слова не молвил. Каменного норова купец был. Однако души все ж поболее, чем у дочки евоной: подал мне двугривенный на опохмелку. Не принял я двугривенного. А совет принял: не сказавшись никому, даже тятеньке, завернул Фросю в одеялко да со знакомым ямщиком знакомой дорогой — в Соль Камскую. О тот год бирючи на площадях царев указ чли: плотникам, ямщикам и иным охочим людям, кто согласный на Сибирь ехать, дадут на дорогу харч, деньги для обзаведения на новом месте, подати два года имать не станут. Поверстался. И вот уж семнадцатый годок носит нас с дочкой по дорогам сибирским... Когда зачали Башанлыкский завод строить, сюды меня турнули. Так-то, братец мой. Видно, правду дьякон бает: за радость сто-крат горем платим. За счастливые полтора годочка мне платиться всю жизнь. А Фросе за что?

Лучина догорела. Только уголек в поставце светится. Тьма горницу заполнила, и дождь за стенами слышнее стал. Гореванов нащупал свежую лучину, вздул огонь. Кузьма так и сидел, бородой в кулаки, не в силах от прошлого оторваться. Гореванов его не тревожил.

— Фрося-то не в мать уродилась. Иной раз повадка вроде мамкина проглянет... хватило ж духу коменданта хлестнуть по роже поганой! Но своевольства неудержного нету.

Все так же в огонек лучинный вперясь, заговорил тут Кузьма Тимофеич об ином, сегодняшнем, что и у него, и у Ивана до сих пор лишь в мыслях туманилось, а словами не сказалось:

— Вот чего, парень, спросить хочу. Не след бы мне, да уж спрошу прямо. Вот, энто, ходишь ты... Дьякон тож. Захаживаете, со мною речи ведете. Рад вам. Только понятие имею — не меня ради... Мужики вы степенные, разумные, обид от вас не видим никоих. Одначе кабы молва дурная не пала. Два эких видных молодца в

избу, где всего-то и добра — девка баская... Э, скажу прямо! Дьякон — добрый, тихий. Но ты мне люб боле. Женись, брат. С радостью отдам тебе Фросю. Она, вижу, отличает тебя противу прочих. Не сумлевайся, жена будет достойная. Ежели, не приведи господь, черный день нагрянет, не пошатнется, опорю станет. Такие бабы в черный день тверже нашего брата, мужика. Не пристало свою дочь хвалить, да я правду сказываю. Не осуди, Иван, пойми...

Рукою махнул, отвернулся. Долго сидел так, к двери отворотясь. Ответа не дождался. Встал.

— Ну, прости, ежели что не так молвил. Еще раз спасибо тебе за Фросю. Идти надобно.

— Погодь. Коли взялись мы друг дружке прямить все без утайки, так и я скажу. Фрося твоя глянется мне, как ни одна девка до сей поры. Но женой назвать — не отважусь. За нее же боязно, кабы со мною не пропала скорее, чем с тобою...

— Пошто? Не гулеван ты, не пьяница, от людей в уважении.

— Так то от людей. А мерзавцам поперек горла стою. У них же ныне сила и власть. Жениться — стало быть, смириться, за жену, за семью дрожать, перед неправдою помалкивать. У меня ж смирение, кое и было богом отпущено, все в дитячьи годы, в монастыре, еще потратилось. Сам видишь: хожу по краю, когда сорвусь, не знаю и заботы о том не имею. Но ежели рядом еще родной человек из-за тебя страдает, то муки стократ горше. Одна голова не бедна, а и бедна, так все она одна. Как Фрося твоя ни люба мне, ради покоя ее от венца отказываюсь. Сердцу вопреки говорю: отца Тихона сан духовный защитой лучшей будет ей.

Дождик перестал. Или утишился — не слышать его. Сверчок домовито цвиркает. Лучина уголек сронила, зашипел в корытце с водою.

— Да-а... Вон ты, парень, каков. Я в твои годы дурней был, безогляднее... Но прав ты: не след жениться, коли жизнь — волчица, а ты хошь не медведь, да все ж и не заяц... И напрасно я с экой болтовней пристал — еще неведомо, какую пакость господин комендант учинит тебе. Вот что, Ваня... Мне на Яик не дойти. А ты не мешкал бы... Беги, парень!

— Какое зло сотворил я, чтоб бежать отсель?

— Сотворил ты добро. Но на Руси всяко добро дело

не дай бог как тяжело дается, дорого обходится... Ну да сам гляди, ты меня разумнее. Пойду. Фрося думает, поди, что запил тятя опять...

У порога стоя, поклонился.

— Ежели надо постирать чего, подлатать ли, так приноси. Для тебя Фрося с радостью... Прощевай.

10

От края до края заполонили, обложили небо низкие тучи, сыплют холодный мелкий дождь. Равнодушные тучи. Им дела нет, что надо же холмам, рощам, зверям, людям хоть на минуту, хоть изредка увидеть солнечный свет... Нет неба, нет солнца. Словно и не будет их уж никогда...

И под этот осенний дождь упала на Башанлык странная тишина. День не праздничный, будний, рабочий, а завод не шумит, не ухаёт, молоты умолкли, на подъездных дорогах таратайки не скрипят, возчики на лошадей не шумят — замер завод неурочно.

А перед двором канцелярским работная толпа, ропщет множеством голосов, сумятица. И, зная, некому тот ропот глухой расколоть криком властным, ременным хлестом: управитель в Екатеринбург отбыл, солдатская команда опять беглых ищет по уезду, комендант Тарковский из покоев своих к народу выйти не дерзает.

Тюрьма да контора — всему основа. Потому забор вокруг подворья высок и прочен, ворота железом обиты. От вражеской рати в пору отсидеться, тем паче от толпы разбродной, неоружной. Но не таков господин Тарковский, чтоб — от кого! — от быдла немытого осаду терпеть! Кипит в нем голубая шляхетская кровь — разогнать чернь, пороть, на цепи! Но как разгонишь — при тюрьме караул в пяток солдат...

Канцелярского подьячего малопрятная рожа приснилась Гореванову... К какой еще напасти экий сон несуразный?

— Да пробудись ты!

Не сон... Тьфу!

— К черту, к лешему, к Анкудинову иди! Я из дозора ночью приехал, спать хочу...

— Господин комендант за тобою послать изволил, неладное у нас деется! Бунт у нас! Подымай всех казаков, к конторе веди!

А сам весь, как утопленник: мокрый, грязью измазан — должно, полз бороздой огородной. Уж не до спеси, верещит слезно:

— Скорее, не то смертоубийства не миновать! К конторе подступили, слова воровские кричат, грозят!

Сел Иван, зевнул, потянулся. Обуваться стал неторопко. Пусть господин Тарковский потрясется да побесится. Но рядом трясся и бесился подьячий. И, видя сборы десятника мешкотные, по-иному заторопил:

— Гонец послан в Михайловскую слободу за драгунами. Ужо наедут вскоре — кабы и тебе в опалу и пытку не угодить за промедление твое...

— Вишь, оболокаюсь, не в подштанниках же к коменданту предстану. Вот пороху к пистолю сухого надобно еще... Беги, скажи, счас, мол, будет Гореванов.

— Не-е, боязно. Я за тобою следом... Ох, господи, владыко живота моего, сохрани и помилуй! Да собирайся живей, матери твоей черт!

— Казаков собрать надоть...

На заводах в земле порубежной так повелось: казаки от ватажек разбойных оберегают, солдаты в посадах строгость блюдут. У каждого служба своя, в чужую соваться не след. Казаки про непокорство сегодняшнее и сразу знали, но по избам сидели: не наша-де то забота. Коней нехотя седлали и выезжали неторопко.

Как уж из улицы казаки показались — шатнулась толпа. Вымокшая, рваная, бедная... С пустыми руками пришли все работные. Ни дреколья, ни дубин, ни жердей. Маячат шапчонки войлочные, платки бабьи... хлещи их, секи, топчи... До слободы Михайловской полдня скакать, к завтраму будут здесь незнакомые драгуны, сами замуштрованные, забитые, станут хлестать, топтать конями голодных мужиков и баб — и не убежать, не заслониться им от каторжной судьбы... Гореванов поднял глаза на крест церковный: господи, вразуми!...

— Гореванов! Ко мне!

Из малых воротцев конторского двора в сопровождении капрала и двух солдат появился Тарковский, в треуголке, в мундире, при шпаге. Ястребиные глаза по толпе шарят, лица бородатые колюче щупают, зачинщиков выискивают. Безлика толпа пред ним. Выкриков крамольных не слышать. И не угрозою веет от понурого скопища. Молви слово, надежду сулящее, — на колени в грязь падут. Но у Тарковского иные слова наготове: зачинщики

быть должны, сыскать их надо, уязвить толпу словом колким, обидным — пусть откликнется, кто горяч, себя пусть окажет...

— Кто работы прервать дозволил? Какой праздник у вас, скоты? Отвечать!

Пригнулись головы, как от грома небесного. Шевелятся посинелые губы, слов не находя. Велик для них чин комендант, он казнить и миловать волен, и многих тут боем нещадным казнил уж, а чтоб миловать, того не слыхано.

— Пьяницы, подлое быдло, бунтовать выдумали?!

У капрала сабля наголо, у солдат к ружьям штыки примкнуты. За головами толпы высится плотный ряд казаков. И, входя в раж, комендант взялся за эфес шпаги.

— Плетей захотели? Будут вам плети! Кто крамоле зачинщик? Ты? Ты? Отвечать!

Гореванову с коня всю площадь видно. Уставщиков, мастеров, духовных — ни единого. Пришли из лесов углежог, с рудников пришли рудокопы, коновозчики тут, фабричная обслуга, из деревень приписных крестьяне. Работная сила, скованная привычной покорностью. Не посвист разбойный — плач голодный заставил сюда идти. Падают слова комендантовы без отзвука в глухую тишину.

— Казаки! Сабли вон! — сатанел комендант.

В ответ из глуби восплакал голос:

— Батюшка, рази мы бунтуем? Обнищали, силов нету никаких! Робенки голодную смертынькой помирают...

Гореванов отыскал голос: старуха морщинистая с младенцем на руках.

Плач ее всколыхнул омут...

— Пошто, барин, ругаешься?

— Добром твою милость просим — хлеба дай нам!

— Пашни посохли, сено погнило, чем жить?..

— Ма-алча-ать! По работам ма-арш! Ну! Жить вам надоело?!

— Надоело, барин.

— Мы ровно кляча заезженна у хозяина нерадивого.

— Вели, барин, хлеба нам ссудить. Не то провиантски склады разобьем!

— Все одно погибать, дак хошь поемши...

— Не вам одним грабить!..

Теперь толпа угрозой вздымалась. Иглой блеснула из ножен шпажка барская:

— Казаки-и! Слуша-ай! В сабли их, секи! Солдаты, стреляй! Бей, мать их!..

Солдаты вскинули ружья. Толпа отшатнулась, понялась, но взмыли над головами две-три каелки горящие...

От воплей дыбились, ржали кони. Гореванов поднялся в стременах, пистоль поднял. Выстрел оборвал крики. Глядят с опаской: мало казаков, да при оружии они. Один комендантов выкрик:

— Дурак! Не в небо, в крамольников пали!

Иван коменданта взглядом прошил:

— А пошто? Кто крамольник? Не ты ли, барин? Дай хлеб им.

— О-о, измена!

— Ты и есть изменник, людей царевых голодом моришь. — Гореванов указал на коменданта. — Ты, барин, изменник.

Тарковский понял, чего ждать ему теперь... Выставив перед собою шпагу, пятился к воротам.

— Капрал! Ворота запереты!

Откуда-то канцелярский подьячий вынырнул, устремился к коменданту, успел-таки во двор заскочить, поспособствовать... Толпа теперь, коменданта не видя, опешила. Работные толпились, всяк свое кричал.

— Айда по избам,— велел Гореванов своим казакам. — Обошлось покуда без смертей, и то ладно.

Заворачивали коней, поспешно и угрюмо отъезжали в улицы. Ускакал домой и Гореванов. Смутно ему было. Сей день обошлось, но ведь это не конец.

— Ахмет, чего за мной тенью ходишь?

— Худо тебе. За вином не сбегать ли?

— Вином беды не залить.

Сел к столу. Ахмет у порога на пол, ноги калачиком. Сидели, сверчка слушали. Ждали бог весть чего.

На первых порах дождались Ваську Порохова да Соловарова Фильку. Васька влетел веселый, жаркий, зипун нараспашку.

— Чего ж сробел, Ивашка, не стрелил? Казаки с тобою во всем заедино, времечко гожее выдалось — солдат в Башанлыке нету. Айда, Иванка, мужичье там еще! Разнесем вдрызг контору ихнюю, казну возьмем...

— А дале чего? К утру драгунов жди.

— Дале — ищи нас свищи! На Яике да на Волге такие ли дела учинялись!

— Пошто же ушел с Яика? Ты, Василей, не мути. Мы-то на конь и прощевай Башанлык, а куды мужики пойдут? У них тут и земля, и изба, и всяки животы. Ребятишек, тятку дряхлого в переметну суму не посадишь, на кляче сошной от драгун не ускачешь. Нет, не путем ты баешь, Васька.

Порохов за ухом почесал, на Фильку оглянулся.

— Не путем,— Соловаров кивнул.— Затеять разбой, казну пограбить, самим сбежать, а сотни людей на расправу покинуть — ладно ли так-то? Лучше как Иванка сделал, от тех и других отступиться.

Но Порохов, взбаламученный событиями, никак уговориться не хотел.

— Офицера-то все ж надо б кончить. Паскудник он! Башанлык вольным объявить. Завод порушили бы к такой матери...

— Надолго ли воля? Драгуны...

— Чего драгуны? Ежели с работными вкупе, не взять нас! Ты грамотен, умен, тебя атаманом!

— Пустое болтаешь. Для атаманства в себе силы не чую. Своей башкой рисковать куда ни шло, а чужими жизнями играть несогласный.

— А и свою башку под топор совать неча. Беспременно уходить тебе надо, Иван, после сегодняшнего, не мешкая.

— Верно, уходи,— поддержал Соловаров.— Не спустит тебе комендант.

— Измены никакой я не замышлял. Крови не дал пролиться, разве за то можно винить?

— Беги, Ивашка! Не ищи смерть, она сама тебя найдет. Замордуют на дыбе... Ой, братцы! — Порохов зажмурился, головой покрутил.— От сабли, от стрелы, от пули помереть завсегда я готовый. Чтоб в полной силушке, в честной драке. Неволи ж, пытки — страшусь! Не приведи бог! Жуть... Ты, Иван, спасайся, пока цел. Хошь, я с тобою?

— Казаки ни при чем, с меня одного спрос будет. Я и отвечу. А бежать — нет. Тогда ославят: Гореванов — разбойник и вор.

— Тебе-то что? Когда себя уберечь надо, курица и та бежит без оглядки.

— Не уйду.

— Ой, пожалеешь! Ну айда нето в кабак. Выпьем напоследок за здравие десятника нашего Ивашки Горе-

вана! Чтоб ему, дураку ученому, набраться все ж ума да и убечь.

Иван в кабак не хотел. Побранив его сожалеюще, они ушли.

— Ежели чего, нас свистни. Придем, выручим,— кричал Порохов, уходя.— Ахметша, айда с нами вино пить.

— Не ходи, Ахмет, в кабак,— сказал Гореванов.— Домой ступай. Передай нашим казакам: ежели кто за мною придет, пушай не встревают, напрасно не рискуют. Иди.

Ахмет послушно поклонился и ушел.

Но вскоре новый гость явился, Афоня Пермитин. И тоже укором начал:

— Не гораздо сотворил ты...

— Знаю. Да как надо-то? *

— А на рожон не переть бы. Коменданту не дерзить.

— Вот те на! Стало быть, голодных людей саблями сечь?!

— Не про то я. Но управителю грозить пистолем — это уж, братец, не одобряю! Наедут драгуны — и рабочим все одно битыми быть, гиблое ихнее дело. А и на казаков ты беду накликал, почнут нас зорить, пожитки отымать наши. Надо было коменданта хитростью обойти... Мол, сперва пятидесятнику Анкудинову доложусь...

— Анкудинов, как шум услышал, так и запомирал, лихоманка его взяла, от дела хворостью открестился. Может, иначе и надо бы мне, да уж как умел...

Афоня покашлял, в окошко глянул.

— Ишь, опять дожличка бог посылает. Дороги размочило, беда! Разве что к полудню драгуны сюда поспеют...

— Тебе-то что? Ты, Афонька, не был с нами на площади, не схотел.

— Так ведь твою я десятка. И с меня спросят тож...— еще помялся, покашлял. И сказал то, за чем явился: — Я тебе, Иван, не супротивник. Был ты нам хорош десятник. Только не обессудь, отойдем мы от тебя теперича... Которы казаки беломестны, велели прощенья у тебя просить — отстранимся, мол. Пойми, хозяйства у нас, детишки, бабы... Опять же коровенки, земляца... Добро, у тебя ни кола ни двора, вскочил в седло и поминай как звали. Нам так не можно,— он вдруг пал на колени.— Прости нас, бога ради! Совестно, да что делать, хозяй-

ством мы повязаны... Ежели розыск учинится, мы бранить тебя станем, не серчай уж. Тебе все одно, а нам, може, от разору избавленья...

— Вставай. Грязен пол-то. Не бойтесь, скажу на распросе: казаки-де непричастны к действиям моим.

— Тебя, чай, не спросят, опоздают... Погодь, да ты когда отсель уходишь-то? Поспешать надо, Иван.

— Коль сбегу, вас и потянут на пытанье.

— Да ты спятил, паря! Бери харчей поболе и утешай...

— Будя! Пожитки свои берегите, а моею головой не хозяйствуйте. Уйди с глаз, Афонасий. Передай беломестным, что обиды не держу. Известно, своя рубашка ближе к телу.

— Исполать тебе,— поклонился Пермитин. Плечами пожал: — Невдомек мне, святой ты али просто глуп...

— Как хошь суди.

— Прощевай. Удачи тебе.

Истекал день. В сером мороке сумерки крались воровски. Иван огонь не вздувал, сумерничал один, думал. Вскоре быть расспросу, а за ним и правез грядет — готов ли ко всему? В одиночку устоять, на брюхо не пасть, других не задеть — сил достанет ли? Товарищи кои в кабаке смятенье заливают, кои по избам притаились. Комендант, ровно волк в логове, сидит в стенах каменных, злобствует, день завтрашний в нетерпенье ждет. Мужики с площади разбрелись по избам курным и не ведают, что дале им делать. А Фрося что? Вспомнишь про нее — реветь впору...

Скрипнула ступенька, шаги в сенцах крадутся. Не Фрося ли, на помине легка?.. В останний час судьба порадует? Не надобно! Опасно тут Фросе...

Иван — к двери, отпер. Отлегло и опечалило: не Фрося то, мужик какой-то... Разглядел:

— Дьякон, ты?! Какая нелегкая занесла? Входи, сейчас лучину спровору.

— Не надобно, бога ради! Явился тайно, упредить... Сей час отец Иона со двора канцелярского воротился, пономарю сказывал: противу тебя злоумышляют, в узилище ввергнуть хотят. А ежели супротивство окажешь, то и смерти предать скорой, без покаяния. Спасайся из града сего, беги от суда неправедного! Ведаю: чист пред богом ты в помыслах своих! Беги, Христос с тобою!

— Как же ты, отче, насмелился?..

Но тот пропал уже, только ворота скрипнули. Ай да отец дьякон, ну спасибо.

Не успел от двери отойти, опять коротко петли визгнули. Ну вот и конец дню тревожному, да и воле конец... Стучат громко сапоги, в сенях грохнулась бадейка с водою. Два солдата вошли. В темноте избы штык звякнул.

— Хозяин, эй! Гореванов!

— Тут я. Чего надо?

— Пятидесятник к себе кличут. Собирайся живо, слышь?

— Не глухой. Зовет, так иду. С ружьями пошто за мною?

— Для обережи. Неспокойно времечко настало. Эка тьма у тебя. Кто ишо в избе?

— Один я.

— Пошевеливайся!

Хорошо хоть успел дьякон уйти, с солдатами разминуться. Анкудинов-то, знать, живо протрезвел: не казаков за Иваном послал — солдат у коменданта выпросил. Казакам теперь нету доверия.

Пятидесятник не джое пьян, сидит в мундире, при сабле. Встретил по-доброму, велел супротив сесть, завел нытье обычное про хворости. И вроде к слову пришлось:

— Пистоль мой возверни-ка. Полегшало чуток, завтра уж начальству предстану, так чтоб при всех причинах быть. Дай-кось и сабельку твою глянуть, добрая ли сталь?

— Не вертись, Силантий Егорыч. Сказывай прямо, чего ради оружие отымаешь?

Анкудинов страдальческую рожу состроил:

— А то тебе неведомо? Под караул тебя велено доставить. Жалко мне, да сам понять должен — служба. Давай сабельку, давай. Ай, дурак, что натворил! Моею хворостью, моим доверьем ты злоупотребил. Грех тебе! Солдаты, вяжите руки ему, болезному.

Из-за анкудиновской спины Иван ухватил свою саблю.

— Не дамся!

— Ванька, одумайся! — сизая, как у утопленника, анкудиновская образаина еще боле оплыла, заколыхалась. — Ишо мало ты начудесил?!

— Вязать не дамся! Пушай так ведут, смирен буду.

— Ин бог с тобой. Клади сабельку, Ваня. Ты мне

завсегда как родной был, помни о том, зазря на меня тама не клепай. Ведите его, солдатушки, не бойтесь, его слово крепко, не сбежит.

Во тьме осенней вели Ивана к тюрьме. Бранились солдаты, в грязи оскальзываясь. Ночь Ивана соблазняла, тьма думу нашептывала: руки не связазы, солдаты нерасторопны... Еще малость, еще сотня шагов по грязи — и двор за каменной оградой, и поздно будет о побеге замышлять...

— Казак, ты уж не сбеги, Христа ради. Забьют ведь нас.

— Не бойсь.

В тюремной караулке чадил смоляной светец. Комендант здесь собственной персоной, Гореванова дожидается — эка честь казаку! В треуголке, при шпаге, во всем параде — ровно фельдмаршала встречает. Окинул взором ястребиным, недоволен остался: не повязали изменника, будет ужо солдатам трепка. С руками свободными выглядит казак непочтительно, неподобающе... Ишь вперился, не сморгнет. Надеется на чернь башанлыкскую? На своих казаков? Времечко-то вельми смутно.

— Под замок его. Стеречь сугубо. Капрал, головою ответишь!

Когда арестанта увели, сказал капралу:

— Сему наглецу простой порки мало. Как драгуны придут, спровадить крамольника в Катеринбурх с конвоем сильным. Там мастера пытошные ему спеси-то поубавят.

И пошел в покои отписать в Екатеринбург, каков злодей есть Ивашка Гореванов.

11

«...Прибыв декабря первого числа, Демидова старые и новые заводы осмотрел... В хорошем весьма порядке и в самых лучших местах построены...»

Поморщился от зависти к заводчику партикулярному и от ломоты в пояснице. Лист бросил, другой взял, перечитывал бегло.

«...А на государевы заводы сожалительно смотреть, что оные здесь заранее в добрый порядок не произведены... весьма ныне в худом порядке: первое — не в удобном месте построены и за умалением воды много прогулу бывает, второе — припасов мало, третье — мастера

самые бездельные и необученные... Уктусские и Алапаевские заводы построены в весьма неудобном месте... дома стоят, и из оных пушки лить без исправки до будущей весны невозможно...»

Далее свое донесение перечитывать не хотелось — таково противно. Подписал: «Генерал маэор Георг Вильгельм де Геннин». Чихнул, ругнулся по-русски. Висячий свой нос в большой плат высморкал трубно. В декабрьские холода по демидовским заводам вояж свершая, великой остуде подвергся, теперь недужилось, в жарко натопленном кабинете озноб бил порою, дыхание спирало. Но паче того обида мучит: у Демидова изрядно крепко дело поставлено, на казенных же заведениях, как ни бейся, непорядки многие, от помощников нерадивых одно воровство, пьянство. Новый городок Екатеринбург столь добротнo замыслен, но строится многотрудно: в людях постоянное оскудение, бегут прочь людишки неведомо куда. Известно, житье на заводах — не мед. Все подчиняется регламенту адмиралтейскому: утром в полпята колокол бьет на работу, с одиннадцати до полпервого перерыв, после сызнова работа до семи либо, летом, до восьми часов. Но что ж делать — адмиралтейский регламент государем введен. Требуеt государь железа, пушек, тесаков. Невозможно дать в работах ослабления: ежели станут заводы казенные железо давать скудно и не столь добротное — кабы не отдали их владельцам частным, кои только и ждут, чтоб весь Урал прибрать к выгоде своекорыстной.

Акинфий Демидов молод, но лукавства в нем в избытке! Вкупе с приказчиком Степкою Егоровым, по хозяину лукавым же, принимал Геннина угодливо, обхаживал всяко. Едва не впрямую взятку сулил. Предлага́л на ночь в покои девку прислать... На что девка, когда всю спину изломило, из носу течет. Ап-ап-чхи-и! — чихнул троекратно.

Тотчас явился конторский начальник Головачев.
— Кликать изволили?

Не видеть бы никого, не слышать бы... Геннин встал, к Головачеву спиною повернулся, к окну подошел.

Снег, мороз. Деревья голые, черные. Под окном на дворе обербергамта и на льду чеки Исети — всюду, сколь глаз объять способен, снег дорогами, тропами исполосован, всюду копошится людской муравейник. Вон солдаты стучат топорами, вершат крышу дома гостевого для

постоя приезжих. Служивые эти, девятьсот солдатских душ, из Тобольска полк, присланы для обережи Екатеринбурга, но пришлось их тоже заставить работать, чтоб строительство города надолго не затянулось. Жалованье солдату — одиннадцать алтын в месяц. Геннин просил у царя дозволения платить им еще по три копейки в день за работу, да государь скостил половину, всего полторы копейки давать повелел. Из солдат многие тоже в бега ударились... На цепь, что ль, приковывать людишек?

Головачев у двери ворохнулся, о себе напоминая. Все так же в окно глядя, Геннин ворчливо сказал:

— Вот что... Башкирским и иным улусным старшинам отпиши, копии изготвь сколь потребно: беглых имали бы и в Екатеринбург под караулом гнали. За поимку оных брали б у них все их пожитки... кроме лошадей. Поисковым командам в поимке тех беглецов всякое вспоможение чинили, дабы тем их злое намерение пресечь. Ты понял?

— Не извольте беспокоиться, все сполним.

Копошатся люди на снегу. Строится новый град российский, именем государыни-императрицы нареченный. Но не гораздо прытко, мешкотно движутся люди и лошади, мало, мало строителей, нерадивость, оплошность кругом... А поясницу ломит, голова, что котел чугунный...

— Стой,— окликнул Головачева.— Не ведаешь ли, что за арестант эвон? В цепях к тюремному каземату ведут. Сдается, рожа его знакома мне.

Головачев подбежал, из-под генеральского локтя в окошко пригляделся.

— Осподи, память-то у вашего благородья каково отменна! Сей вор на Кунгуре при канцелярии пребывал малое время писцом, да по нерадивости его изгнан был...

— В чем воровство его? — перебил Геннин.

— На заводе Башанлыкском, в казаках тама обретаясь, смуту затеял, крамольны речи сказывал. За то его сюды на розыск да правез вчера с железным обозом под караулом...

— Ступай.

И когда Головачев уж за собой дверь тихохонько притворял:

— Стой! Вели ко мне привести вора.

Оставшись один, глубоко вдохнул воздух, жаркий, спертый. Пробормотал:

— Душно! Свежего бы воздушку...

Понимал, несбыточно сие. От свежего морозного ветра болезнь усугубится, кровь пойдет в кашле... Или с того и болезнь, что наглухо заперто все, нет дуновенья чистого?.. О, майн готт, давно ль, кажись, дышал без опаски соленым ветром Балтики! Давно ль, силам своим не зная меры, воевал под российским флагом противу Карла Шведского, возводил в Новгороде редуты, в Финляндии укрепления военные, застраивал пушечнолитейные заводы в Петербурге... Давно ль — всего двадцать годов назад — он, артиллерийский инженер, в любую погоду не страшился мчать в повозке или в седле по мерзким дорогам Олонецкого уезда, ставил крепко дело плавильное, сыскивал в России и в странах зарубежных себе помощников толковых, бергмейстеров, гитенмейстеров... Давно ль!

Ныне одолевают недуги. Силы уходят, страшно мороза и ветра свежего... И не счастливей ли генерала тот молодой казак-писец?.. Тому пытка предстоит. А бессилие, хворь — не пытка разве? И неведомо еще, что судьба уготовит генералу престарелому, который, столько лет в империи Российской прослужив, так казнокрадству и не обучился, богатства на старость скопить не умел...¹

Привели арестанта. Поклонился генералу в пояс — кандалный звон резанул воздух.

— Ты кто?

— Башанлыкской полусотни казачий десятник Ивашка Гореванов.

Конторский начальник усмотрел в повадке крамольника неуместную наглость. Осадил ехидно:

— Был десятник; стал изменник, будешь покойник.

— В сем последнем чине мы все будем со временем...

— Молчать! — Геннин мотнул головой, уронив с носа каплю. — Каков гусь! — и Головачеву: — А ты не встревай, прочь поди.

— Вор опасен может быть...

— Пшел!..

¹ В царствование императрицы Анны Иоанновны бывший управитель Уральских заводов де Геннин занимался «потешными делами» — изготовлением фейерверков для бесконечных царских праздников.

— Как прикажете... — Головачев скользнул за дверь. Геннин арестанта разглядывал. И тот глаз не потушил, стоял без дерзости, но и без робости. Генералу это не понравилось: коли в цепях ты, должен явить покорность, трепет. Хотел прикрикнуть, а — чихнул.

— Будь здоров, барин, — просто сказал арестант. — В баньку б тебе, веничком...

— Молчи! Ишь лекарь мне сыскался.

Сел в кресло, слабость и озноб чувствуя. Отдышался. И уже не сердито:

— А ответствуй-ка мне, лекарь банный, чего тебе в казаках не жилось? Чего ради к измене склонился?

— Христианску кровь не пролил, разве то измена? За что мужиков убивать было? Не от баловства они работы оставили. От недорода, притеснений мрет работный люд, нешто казак должен смерти множить?

— Все люди смертны, сия истина непреходяща. Только дело, на благо отечества содеянное, остается долго на земле.

— Разве то дело и благо, когда народ бедствует и мрет? Разве то бунт, когда справедливость ищут?

— О бунте мне ведомо. Государевой казне поруха от него содеялась, потому и карать бунтовщиков неослабно надобно. Не о том любопытствую. Ответь, как посмел ты присяге изменить, приказу послушаться? Казак присягу дает от всяческих врагов дело государево блюсти, а ты бунтовщикам потакал, сам кричал дерзко.

— Коменданта назвал изменником, так он и есть таков. Пошто вы, управители набольшие, над мужиком править бестолковых да корыстных начальников ставите? Выходит, сами вы вора́м потакаете, кои народ грабят...

— Молчать! Ты мне кто, верховный прокурор?! Я присягал государю моему, а не народу, и совесть моя чиста!

Ивашка усмехнулся:

— Чиста, барин. Как стеклышко — и не видать ее. Под твоею высокой рукой народу тягость, государю кривда — добро ли ты служишь?

Негодование стеснило грудь: «Пред бунтовщиком оправдания себе ищу?!»

— Вон! Головачев! В каземат его! Кха, кха... хамы!!

Зазвенели цепи. Головачев вытолкал арестанта. Бить плечистого парня остерегся: даром что солдат рядом,

вору терять неча... Словцом ехидным кольнуть не пре-
минул:

— Правду говорят: дураку и грамота вредна. Доум-
ствовал, домудрил! Погоди, вздернут ужо за глупость
твою!

— Не за мою, за чужую. И не меня одного, все цар-
ство за господскую глупость слезьми и кровью пла-
тит.

— И опять дурак ты выходишь. Ха, за чужу дурь,
вишь, страдает! А ее во благо себе потреблять надобно...

— Как ты, что ль? Знаю тебя: нашему вору все впо-
ру. Дурость и ум, совесть, честь чужая — все ты жрешь,
чавкаешь. От чего люди добрые сблюют, ты жиреешь.
Гляди, кабы не лопнул. То-то вони будет!

— Не тебе нюхать! — разозлился Головачев. — Нос
твой скоро собаки отгрызут с башки отсеченной.

— Вот и лопнешь с радости такой.

— Языкаст! Скажу палачам, чтоб перед казнью
язык-то усекли...

— ...Да тебе бы добавили — сподручнее будет на-
чальству всяко место лизать.

У Головачева более слов неостало, а злость сверх
горла подперла. Хотел в затылок звездануть, уж кулак
поднял — казак, то почуя, обернулся, с усмешкой в упор
глянул. Опустился кулак сам собой.

«Господи батюшка! Уродится же экая рожа, для
битья совершенно непригодная...»

Генерала бил озноб, гнев, кашель. Прибежал лекарь
Иоганн Спринцель, совал к губам пахучую жидкость в
пузырьке гишпанском, брызгал водою. Геннина одели,
укутали, отвели в его флигель и уложили в постель. Го-
ловачев вертелся бесом, лекарю помогать тщился, уте-
шал:

— Сему наглецу велел я батогов немедля...

— Пшел к дьяволу! Стой! Казака бить не смей! За
крамолу будет розыск сугубый, а к моей хвори он непри-
частный. — А Спринцелю прохрипел: — Не стану вонючу
пакость глотать, водки мне! Да вели баню топить.

После бани и водки лежал в поту — хоть выжми.
Однако легче сделалось. Кашель не трепал. Приказал
Вильгельм Иванович свечей принести и бумаги те, о ба-
шанлыкской крамоле, что к сыску представлены. Супру-

гу от 'себя' отогнал: не мешай, поди в гостиную болтать с лекарем, благо до пустословия оба зело охочи. Читал бумаги и думал.

В сумерках, свечи задув, лежал и думал, думал. Потом велел кликнуть конторского начальника.

— Что казак?

— Сидит в каземате. На вид смирен, да в тихом омуте...

— Пусти его.

— Куды?

— Совсем пусти. На волю. Но клятву возьми с него крепкую, что впредь на казенных заводах и окрест более его не увидят.

Головачев взгляделся: не бредит ли их благородье с хвори да с водки?

— Тойсь как же его, разбойника, на волю? За какие заслуги?

— Честен и прям сей казак. Ныне честные столь на Руси редкостны, что кабы и вовсе не перевелись... Ты, Головачев, сего разуметь не способный. Пусти, приказываю.

Головачев остолбенел.

— И... и... и цепь с него снять?

— Ну и дурак ты. В цепях куды ему уйти? Сей секунд выведи казака со двора самолично. Пшел.

Ночь от метели белеса. Ветер сечет снегом колким. За вихревой кисеей расплывно видятся большие костры, подле них черные, на чертей похожие мужики — утресь почнутся земляные работы, надобно оттаивать стылую глину.

Бьются тщетно вихри в неколебимый утес тюремной стены. Головачев и тюремный смотритель глядят, как пропадает в метели человек, заносят след его белые струйки...

«Диво! — хмыкает Головачев. — Господин управитель хошь и немец, а дурь в ем самая российская. Эко удумал: бунтовщика на волю, а меня, верного слугу, облаял всяко. Я бумаги пишу неоплошно, разборчиво, взятки беру не боле иных, а сколь званию моему приличествует — каких еще честных ему надо?..»

Озяб и пошел к себе, в квартиру теплую, казенными дровами топленную, на казенные деньги обставленную. Вспомнил: давеча в контору приходил подрядчик, что поставляет кожи для шитья сапог солдатских, и презен-

товал он Головачеву ковер восточного узора прелестного. Кожи-то гниловаты, а ковер хорош весьма... Вспомнил то Головачев, и на душе приятнее сделалось.

12

Мели белые метели. Сменяли их голубые весенние ветры. А там и летний знойный сухой налетел из далей азиатских, опаяя рощи и нивы. Остудить землю холодными дождями неслышно приходила осень. Шло времечко, тянулось, летело — кому как повезет. Год миновал. И еще...

Город Екатеринбург превеликим усердием Василия Татищева и муравьиным старанием десятков тысяч безмянных душ успешно построен был, и Вильгельм Иванович де Геннин с радостью в Петербург отписал: «Екатеринбургский завод и все фабрики в действе, а именно: две домны, две молотовые, три дощатых молота, два беложестяных молота, укладная, стальная, железорезная, проволоочная, пыльная мельница, и еще скоро две молотовых поспеют в действо».

Идут теперь с Урала в Россию пушки, лемеха, штыки солдатские, палаши драгунские и прочие весьма надобные изделия. А сам он, ныне генерал-поручик, все так же радуется о пользе заводов казенных, и все так же старания его увязают в препонах премногих. Всякого рода управителей корысть ненасытная, воровство подрядчиков и поставщиков, пьянство мастеровых, бегство рабочих, бумажная канитель никчемной переписки со столицею — на все это надобны силы и время, а того и другого нехватку Вильгельм Иваныч постоянно и с каждым годом более чувствовал. За большими и малыми заботами генерал и думать забыл про арестанта Ивашку Гореванова.

Да и в Башанлыке немногие помнили. Сперва слух был, что бежал он из-под караула. Иные за подлинное сказывали: верно, бежал, да при сем его солдат застрелил. Казаки башанлыкские к тому больше склонялись, что убежал все ж Ивашка из Катеринбурха. Уставщики и прочие господа посмеивались: после попытки далеко не убежать. Кто чему хотел, тот тому и верил. Вскоре исчезли из Башанлыка трое казаков горевановских: Порохов, Соловаров да крещеный татарин Ахмет... Все голь перекатная, слезы лить по ним некому...

Межгорьями, пролесками, по землям башкирских улусов движется обоз. В телегах пожитки небогатые, ребятенки малые, косы, бороны, лемеха. Мужики, бабы, детишки постарше пеши идут: весна лишь вначале, трава мала, неукормлива, лошаде́нки тощи — грех здоровому в телеге ехать. При обозе солдаты, человек их с десять, с ружьями, идут вольно, безначально, с мужиками едино.

Переселенческий обоз не диво в местах отдаленных империи Российской. Гонит казна работников заселять земли, доселе никем не паханные. Гонят заводчики партикулярные на рудники своих крепостных, у российских помещиков приобретенных. Гонит нужда крестьян целыми деревнями — на новых местах пожить хотя бы два года безобро́чно¹, для себя лишь работая, а там что бог даст. И раздаётся тележный скрип в окраинных глухоманях, звучит речь русская, молитва православная, плач детский, окрик приказчи́й. Бредут людишки черные: кто поохоте — на свой страх и риск, кто поневоле — с конвоем солдатским для обережи и противу бегства.

Но в башкирских краях и дорог-то путных нету, и села христианские далеко позади остались, и не слыхано тут благовеста церковного. На горах тут лес дремуч и дик, меж гор долины не паханы. Чужая сторона... Дале́че на полдень за башкирскими улусами, за рекою Белой, на Яике-реке издавна ставлены городки казачьи. Но до них много еще верст чужих, опасных, немереных.

Скрипит, вздыхает, тянется обоз. Бредут люди. Тяжко им о прошлом вспоминать, страшно о будущем думать. Не по указу барскому либо казенному — от каторги заводской идут искать себе воли. В дали полуденные ведет надежда. Лошади тощие кивают понурыми головами: где-то там — люди знают где — есть луга зеленые, сладкие травы, прохладные водопои, ибо не может быть всегда и везде эта вот едва заметная трава с горькой полынью пополам. А людей надежда ведет: где-то там — бывалые да хожалые путь туда ведают — есть еще

¹ Новоселам давали двухгодичную льготу — не платить налоги (оброк).

укромные места, без заводов, кнутов, дьяков, вельможных воров. Ибо не может быть везде и всюду каторга.

Правят обозом пять-шесть мужиков отчаянных. Двое солдат, годиков тому с пяток, по сим местам с полковником Головкиным в поход хаживали русских беглецов на заводы обратно гнать, а ныне вот сами в бегах, в не-тях значатся. Одноглазый мужичок тропами этими из киргиз-кайсацкого полона шел, теперь от российского ярма в обратну сторону бежит. Старик раскольник, жилец скита разоренного, распытав у калик переходных доро-гу, уходит к Яику поближе: сказывали, там много приверженцев древнего благочестия, двуперстием крестятся там, молитвы чтут по книгам заповедным, а не по скверне еретической никонианской. Да еще парень гулящий, от ватажки отбившийся, ему тропы знакомы — с улусниками торг водил, грабленое сбывал.

За дорогу случалось не раз и не два: от стрелы ночной басурманской, от хвори голодной, от устали по грешной земле ходить помирал кто-нибудь. Сымали шапки мужики, шептали бабы покорное: «бог дал, бог и взял». Молодой попик, тоже беглый, в подряснике тре-паном, махая самодельным кадилом без ладана, с трав-кой пахучей дымящейся, пел «со святыми упокой». И шел обоз дальше, оставя за собой вехою свежий холмик с крестом березовым. И не ссечет тот крест суеверный ко-чевник, ветер не повалит, ибо с молитвою он врыт глу-боко. Сказывают землепроходцы: не счесть русских без-вестных крестов, березовых, сосновых, всяких, от самого стольного града Питербурха и до моря-окияна студеного, до страны богдыханской, а и дале, поди, те кресты есть.

Миновала весна. А беглый обоз все идет, тянется... По траве желтой прошлогодней пустились они в стран-ствие. И вот уж солнце по-летнему припекает, а травы поднялись, зелены и высоки — косить бы в пору. Несчи-тано верст отшагали ноги — в опорках, в лаптях, бо-сые — по теплым от солнца горным камням, по студеным росам, по мокрети ненастной. Вставали на пути горы, леса, пресекали путь реки вешние. Все прошли. И кончи-лись горы, холмы, леса, раскинулась впереди степь изум-рудная до самого окоема.

Началась тут среди беглых шаткость. Иные шумели, что далее идти негоже, а в обрат воротиться бы малость,

к лесу, к холмам поближе. Мол, чего там встретится, бог весть, а тут — гляди-ка! — всего довольно. Лес, и грибки в нем, и ягоды летом. Бревен на избу — вали, строй. Лыко на лапти, баклуши на ложки — все лес даст. А как придут солдаты беглых имать — лес же и укроет. В степи — от страху одного помрешь, отовсюду тебя видать. Нет, негоже в степь идти.

Другие толковали, что тут-де и башкирцы сумасбродные, и уфимского воеводы служивые, и из Катеринбурха солдатская команда скоро дотянется, и лес не убережет. Коль пошли, так уж подале, чтоб не нагнали да кнута не дали.

Пугала степь. Место ровное, от беды некуда спрятаться. А где конец, где места укромные?

Тут Ермил Овсянников, слободы Шадринской крестьянин разоренный, изрек глухим басом:

— Чужедальней стороны страшитесь, а своя-то, родная, не страшнее ли? В здешних урочищах селиться нам опасно. В лесах не отсидимся, не белки мы, ежели солдатская команда придет имать беглых. Тож и от башкирских князьков всякой продажи жди. Мужики, на Яик нам править надобно.

— Яицки атаманы хуже башкирцев продадут! Им от царя указ даден: беглых не примать.

Ермил свое гнул:

— Атаманы всяки бывают. Есть на Сакмаре в казачьем городке вольный атаман... Земляк мне, шадринский родом. По зиме люди его в наш край прихаживали, сказывали: с Сакмары выдачи нет.

Ежели человек молчит, молчит да вдруг вот этак забасит уверенно — слова его в диво, и верить охота. Полезли к Ермилу с расспросами. Но Овсянников опять замолк, любопытных отгреб ручищами, как медведь малинник, и пошел к телеге своей в дальнейшую дорогу изладиться.

Погалдели еще малость, и так положили быть: на Сакмару править всем миром, ибо разделиться — пропадать беспрременно, а всем вкупе есть надежда и дойти с божьей помощью до реки Сакмары той, где атаман живет добер, откель выдачи беглым нет.

Бездорожна степь, да ровна. Идти по ней вольготно, беспрепятственно. Босые ноги по мягким травам устают меньше. Летечко выдалось к странникам благосклонное: солнце сияет, порою дождик прольется, освежит, ветерок

степной услугой дышит, прохлаждает. Пожилые бабы, к голодовкам давно привыкшие, выискивали съедобные травы, на привалах похлебку варили. Прежние страхи, боязнь ровного места не то чтоб забылись, а как бы отодвинулись: до сей поры бог миловал, авось и дале милость его не оскудеет.

На шестой в степи день божья милость отступилась.

Дороги в здешней стороне редки и неторны, однако есть они — торговля всюду заведена, без нее что за житье, а коль торговля, то и пути ею протоптаны. И утром встретился кибиточный обозик купчихи калмыцкого мирного. Упреждал их калмык: видал-де шайку башкирцев гулящих, налетели, пострашали, а не тронули, малую дань взяли только. Должно, на уфимские волости собираются, русских купцов шарпать. Теперь шли беглые с большой оглядкой. К вечеру завидели в равнинной дали: сперва словно тень от облака, после будто вода полая, а не за малым и ясно разгляделось — люди конные к обозу скачут. Вот она какова, степная беда, — ни убежать, ни спрятаться!

— Распрягай! — по-унтерски зычно крикнул солдат Репьев. — Телеги в круг становь!

Коль начинается дело воинское, Репьеву весь начал: не впервой ему стрелы да сабли басурманские — и под Азовом бывал, и на башкирских бунтовщиков с полковником Головкиным хаживал. Многие страхи ратные и труды походные претерпел солдат. А мерзлую землю уральскую долбить кайлом сил не достало, убог.

— Не робей, шевелись, детушки! Баб, ребятишек в середину!

Лошади храпели, близкую опасность чуя, вздрагивали ребрастыми боками. Покрикивал команды Репьев, мужики сполняли проворно. Вот уж не обоз — редут ошестинился кольями да косами, обложился боронами тележный бастион. Не голосили бабы, ребятишки не плакали. Священник, посреди табора стоя, медным крестом людей и лошадей осеял, молитву читал громко: «Да воскреснет бог и расточатся врази его...», сам же глядел не в небеса, не на конницу вражью, а на свою попадью молоденькую, как она среди других молодых тоже к схватке готовится, пику из косы самодельную ловко, словно ухват, держит. Воззвал священник голосом и сердцем:

— Господи! Спаси и сохрани нас!

Окончив на том молитву, взял и он рогатину.

Уж не тень темна по траве стелется — различимы лошади в беге, халаты, островерхие колпаки... В страхе смертном возрыдалось тонко бабье причитанье:

— Богородица пресвята, что будет-то?

— Будя! — прикрикнул Репьев. — Побереги слезы, еще сгодятся. Не робей, мужики, солдаты бравы! Кто с ружьем — порох, пули беречь! Как он на выстрел подскочет, пали в лошадь, без лошади он слаб... Детишков укрывай, бабы! Под кошму детишков, стрела б не побила. Не робей, братцы, выстоим! Их менее полусотни, солнышко им в очи слепит...

Визг резанул дикой жутью, кровь леденя, косо сверкнули кривые сабли... Над травой орда ветром стелется, лет ее стремителен, неудержим, катится, визжит, конские морды оскалены, сабли, колпаки кошомны, лиц людских не видать, одно лицо у орды, един оскал... Что остановит их лет, крест ли медный, что поп встречь подъял, телеги мужицкие, колья ли заостренные?.. Рухнет тележный ряд, увязнут колья в конских бьющихся телах, упадет крест из мертвой руки попа под конские копыта и захлестнет орда, полонит!..

— Солдаты! Пли!

Дружно вдарило из-за телег по визгу, по лаве... Нежданным был для орды ружейный бой, ошеломил. На всем скаку заворачивали коней, в стороны раздались, тележный табор кругом обтекая. На истоптанной траве две лошади бились, убегал пеше кривоногий башкирец в полосатом халате.

— Молодцы, браво! — бодрил Репьев людей. — Заряжай, готовься!

Но, оборону нахрапом не сломив, крутились ватажники в отдалении, пулю не достать. Белобрысый парень рогатину к телеге прислонил, отер пот со лба, улыбнулся:

— Визжат таково страховито!

— Страх впереди еще, — Репьев сказал. — Но штурмом идти им не резон. Хошь нехристи, а тоже жить, чай, и им охота. Не унывай, братцы, держись крепко, поглядим ужо, чья виктория станется... Эх, пушечку б сюды...

День истекал, солнце отяжелело, на край степи прилегло сплюснуто. И по тому ль каленому кругу, поперек его черные всадники маячат зловеще... В обратную сто-

рону глянуть — та ж орда конная, вечерним светом озарена кроваво.

— Ишь, снуют. Никак сызнава кинуться ладят.

— Навряд ли. Уж спешились которые... Противу ружейного бою они, вишь, не прут.

— А и нам некуда деваться. Видно, пришла пора в сей степи полечь. О господи, без покаяний, без креста зарюют...

— Кто ж зарывать станет? Зверям да коршунам в харч пойдут кости христианские...

— Помереть — не велика беда. Знали: не на пир идем. Вот жалко детишков, баб, девок. Им неволя, бесчестье — то хуже смерти.

— Братцы, вы чтой-то? Неча загодя помирать. Бог не выдаст, свинья не съест.

— Должно, не шибко надобны мы богу-то...

— Берегись!

Стрела на излете царапнула лошади холку, кляча на дыбы, едва девку не зашибла. То молодой степняк лихость показывал: рисково приблизился, стрелил, ускоркал.

— Поиграть ему охота...

— Чего и не играть, коли ихняя сила.

— Не надо б на голо место выходить, в лесах бы остаться.

— И в лесах погибель настигнет, ежели такая тебе планида. Гляньте, мужики, сколь раздольна земля тутошная! Распахать, засеять — всем бы хлебушка хватило, и нам, и башкирцам.

— Не ко времени байка твоя, Митяй.

Коренастый мужик, сидя у колеса тележного, насаживал топор на длинное топорщице: чем не секира! К нему баба склонилась:

— На-ка, накинь. Рубаха празднична, батюшка крест на нее прикладывал. Да слышь, Пантелевич, как оне оборону-то сломят, уж ты расстарайся, отец, Нюрку нашу своею рукой пореши. Грех нам, ежели дочушка на поруганье нехристям достанется...

— Без тебя знаю. Давай рубаху. Сама гляди тама, мне недосуг будет...

Солдат Репьев, всей обороне голова, на ордынцев зорко поглядывал, своим покрикивал:

— Перву штурму отбили, афронт неприятелю добрый учинен. Хошь малая, да виктория наша!

— Они конные, нам же ровно место непривычно.

— Солдат русский что на ровном, что на горах, везде стоит храбро, только б генералы не оплошали.

— Ты у нас генерал brave. Да из нас-то ратники, что из дерьма пуля.

— Ништо. Солдаты откель берутся? Из мужиков же. А пошто борона здесь? Бороны наружу клади, для пушного заслона фортеции нашей. Пушай ихняя конница на наши зубья напорется! Гляди веселей, орлы деревенские! Скоро солнышко зайдет, ночью они до штурму неохочи.

Солнце пало за край степи, облив полнеба медвяной желтизною. Висел на востоке молодой тонкий месяц, в темнеющем небе все более яркость набирая. Всадники вольно разъезжали вокруг беглого табора, но к налету приготовлений не заметно среди них. Костры там задымались. Ветерок донес запах дразнящий — похлебку из конины варили башкирцы. И у беглых костерок засветился, кипятили бабы для ребят болтушку из травы да толокна.

Репьев совет собрал.

— Худы дела. Ретираду учинить некуда, осаду не высидим долго без корму, без дровец, без воды. И сдаваться им на милость тоже не с руки. Знамо, какова от разбойников милость... Единой лишь твердостью сбережем ежели не жизнь, так волю обретенную.

— Коротка она была, волюшка наша,— вздохнул одноглазый.

— Коротка, да наша покудова. От расейской кабалы ушли, басурманский плен не примем! Часовых на ночь выставить. Гарнизне солдатской спать подле брустверу... Огонь травяной на нас не пустят, зелена еще трава. К ночи, гляди, туман падет, в оба уха слушать надобно...

От ордынцев донесся тут голос, острый, заунывный, как у муллы:

— Урус! Пошто свой юрта бросал, башкир земля гулял? Башкир много-много, урус пропадал сапсем! Вода нету, кушай нету, конь помирал, твой баба, малайка помирал, сам помирал! Шибко худо! Урус! Конь, кибитка, хлеб бросай, шурум-бурум бросай, свой земля, свой юрта гуляй!

— А вот на-кошь... Помирай сам! — солдат нацелил ружье на голос.

— Дура! — Репьев ружье отвел. — Припасу мало, неча в белый свет палить!

— Довольно мы пуганы, а он, азиатска морда, ишшо пужает! Пусти, я ему отвечу...

— Я отвечу, — Ермил Овсянников отмел пятерней егозливого солдата. В темнеющей степи кодоколом загудел густой Ермилов бас:

— Башкирцы! Джигиты храбрые! Мы в земле вашей, селиться не мыслим. А идем на реку Сакмару, к атаману вольному Ивану Гореванову. Джигиты! Челом бьем, дозвольте на Сакмару идтить!

Умолк Овсянников. Из сумерек ответа нет. Лишь уздечный звяк, ржанье конское.

Солдат, в ухе пальцем ковыряя, крикнул почтительно:

— Тебе, дядя, с эким гласом во храме «многую лету» возглашать! Молчит, молчит да как гуднет... И до того складно! Жаль, не поймут нехристи.

Репьев сказал:

— По-нашему разумеют многие. Поймут. Чай и они тож мужики, только веры иной.

— Ну, пушай мужики. Стало быть, сами у князьев своих в горсти. Князья же все одинаковы, разным богам молятся, а жадность княжья неумемна...

— Ладно, утро вечера мудренее. Спать ложитесь. Сон силы копит. Которы с рогатиной, с пикой, к телегам ложись. Остальной народ к середке. Солдаты, на вас надежа, служивые! Не проморгайте штурму. Часовые, слухай в три уха! Эвон туман...

Прохладный туман заволакивал степь. Расплывчато колебались пятна ордынских костров. Звуки слышались — не понять, в какой стороне...

Угомонился беглый табор. Быстротечна летняя ноченька, спи успевай, время не теряй. Да приснится тебе, мужик беглый, пашенка со пшеничкою колосистой, изба справная, семья сытая, волюшка вольная... Потому что ночь сия, может быть, последняя...

Лошаденки траву до землицы выгрызли, головы понурили. Ушами прядут, чуя дальнее фыркание чужих коней, шумы ночные.

— Чего? Ктой-то? — вскинулся Ермил Овсянников.

— Тише, родимый, не пужайся, — бабий шепот. — Евфросинья, батюшки Тихона женка я.

— А-а. Ну и ступай к попу, его буди, коли приспичило...

— Прости, Христа ради, что тревожу. Сказывал ты даве, будто атамана сакмарского Иваном звать Горевановым... Не служил ли он в казаках на заводе Башанлыкском?

— Ну, може, и служил. Тебе на что?

— Слух был, убили его в Катеринбурхе...

— Стало быть, жив, коли атаманствует. Иди, бабонька, спи.

Светла ночь, да густ туман — в пяти шагах телеги не разглядеть. Часовые шеи вытягивают, головами вертели, ночь и туман слушали. В самое глухое время, за полночь, услышались там, за белой мглой, голоса и топот конский.

— Разбудить наших? Не то кабы поздно не было...

— Погодь. Подыми солдат одних, чтоб ружья изготóвили.

Но те и сами повставали, солдатский сон к тревогам чуток. Костров ордынских не видать, погасли. Звуки и топоты в густой мгле вязнут. Скоро и затихло все. Успокоились часовые, прилегли солдаты.

А утро и впрямь мудренее вечера оказалось. Когда туман поредел, развиднялось, ахнули часовые: никого кругом! Чадят головешки на кострищах, и ни людей, ни коней.

— Что за притча!

— Нешто осаду сняли? Чего ж они спужались?

— Ты, Паньша, во сне таково громко... они думали — артиллерия... — балагурил на радостях солдат.

— Может, известились разбойники, что близко где солдаты?

— Не дай бог. Из огня да в полымя...

Пробудился табор. Влезали на телеги, тарашили глаза в поредевший туман. Не верилось в чудесное от осады избавление: редки на сем свете чудеса! Но рассеивался туман, и с ним сомнения развеялись. Заговорили радостно, заулыбались, закрестились. Поп Тихон высек огня, траву степную в самодельном кадиле воскурил.

— Возрадуемся, люди, явил бо чудо господь всеблагий! Воистину сказано: пути господни неисповедимы! Возблагодарим же коленопреклоненно...

От зари румяна степь, чиста, росными туманами омыта. Лошади тянулись за бруствер тележный, к влаж-

ным травам. Солнышко всходило, искрились росинки на траве. Таково кругом покойно, словно привиделось вчера все это с усталости, во снах ли — сабли, визг, лошадиные морды оскаленные...

Осмелились запрягать, дальше трогаться.

— Глядите-ка, ктой-то едет сюды. Никак башкирец — ишь, колпак вострый.

— Заплутал, дурной. А ну, из ружья пужани!

— Не смей! — Репьев упредил. — Один едет. Стало, с делом мирным. Надобно принять ладом, без никакой ему вредности.

Подскакал бесстрашно, осадил коня. Темнолиц, скуласт, халат выцвелый волосяным арканом подпоясан. За спиною колчан с саадаком, у пояса сабля. Глаза по лицам мужиков бегают. Залопотал по-своему. Одноглазый беглец, что у киргизцев в полоне побывал, язык здешних людей разумел, башкирца лопотанье толмачить принялся:

— Бает, левее нам принять надобно. Недалече, грит, уфимского воеводы люди служивые малым числом со вчерашнего дня табором стоят, на перепутье из Стерлитамакского яма. Чтoб береглись мы, грит.

— Ну, диво! Нехристь прибег нас от христианского полону убережь! А спытай его, пошто осаду сняли? Уфимских солдат убоялись?

Одноглазый, помогая себе рукомаханьем, рожи корча для понятности, башкирца расспросил.

— Бает, атаман Гореван хорош, башкирцам кунак. Друг по-ихнему.

Услыша слова «Гореван» и «кунак», всадник закивал, по-русски подтвердил:

— Урус, на Сакмар беги, беги. Башкир — нищево. Якши жягет Гореван...

Русские слова иссякли. Добавил что-то по-башкирски.

— Гореван ему знакомец, — одноглазый перевел. — Сего молодца Касымом кличут, он в тюрьме, грит, сидел, Гореван его отпустил. Они, степные люди, доброту помнят.

Башкирец стегнул лохматого конька, умчался солнцу навстречу. Священник благословил вслед удаляющегося всадника:

— Храни, господи, язычника, благую весть ныне принесшего...

Солдат Репьев улыбнулся ему:

— Ну, отче, хорош, видно, поп ты, коль молитва твоя услышана, неприятель столь поспешно ретираду учинил!

— Не священник я, во псаломщиках пребывал...

— Все едино. Нам что ни поп, то батька. Тем паче, сам ты беглый, потому за нашего брата молишься усерднее, чем за царя самого.

2

Атаман Арапов без отдыха гнал свою полусотню. На скаку пересаживались в седла запасных коней, тоже взмыленных, на скаку степь обозревали, в стремени привстав. С атаманом конь о конь казак Ногаев, узкоглаз, калмыковат, борода смоланая.

— Свинья ты,— ворчал атаман время от времени.— Дунгус ты. Замест дозору по вдовкам станичным прошастал, дороги без огляду оставил. Теперича гони вот сломя голову. Такую ораву не углядел, верблюд безгорбый!

Ногаев помалкивал, шурил в степную даль глаза раскосые. Посерчает атаман, побранится да и сменит гнев на милость, небрежение к службе простит. Зато и Ногаев, когда надобно, потрафит Арапову в делах тайных, хитрых...

— Да ладно ль едем, не сбился ли ты, кобель желтомордый? Ежели побродяжки до Сакмары успеют, отеть их уж не достать нам.

Пылит под копытами желтая полеглая трава, низкое солнце в глаза слепит: лето в осень клонится, день к вечеру. Кони устали, ругается атаман.

— Эвон! — указал Ногаев плетью.

— То-то же. Да не калмыцкие ли то кибитки?

— Не. Беглые они.

— Айда наперехват, молодцы!

С полверсты еще, и виден стал весь обоз. Арапов коня придержал, сдвинул шапку на ухо, затылок поскреб.

— Много их, однако.

Ногаев подсказал:

— Ежели с бабами, то сотни три с половиной. Оружьи есть, я счел восемь штуцеров¹ с багинетами².

¹ Штуцер — ружье с коротким стволом.

² Багинет — штык.

— Н-да... В таком разе подобает действо политичное. Эй, всем морды иметь благовидные. Не галдеть, не мать-каться. Чтоб видимость оказать: не орда мы, а люди государевы.

Чинной рысцой подъехали, поперек дороги цепью крепкой стали. Остановился и обоз саженьях в двадцати. Истомленные мужики, бабы, ребятишки глядели с тревогой и надеждой. Не знали, радоваться ли, в краю далеком видя людей русских, пугаться ли оружных всадников? Ропот над телегами: «Должно, пришли! Слава тебе, господи!» «Казак, а каки? Яицки или сакмарски?»

И Арапов прикидывал: чего от сего сброда ждать можно? Рогатины у них, косы на жердях длинных. Вот тот лапотник дюжий треснет оглоблю — не возрадуешься... Солдатишки, этим первый кнут будет. Но когда еще будет, а пока что в руках у них ружья. Нет, силою их не захватить.

Арапов бороду распустил, избоченился важно — шапка бобровым мехом отделана, кафтан короткий — галунном, уздечка — бронзою. Ногаев шепнул:

— Голь перекатна... Лошади негодящи, татарва на махан не купит...

Арапов на него локтем двинул: не пищи-де под руку, сам не слепой. Усы огладил, спросил величаво:

— Отколь бог несет, люди добрые? Куды наладились?

Коль путь заступили люди воинские, то первое слово солдату Репьеву, воеводе обозному.

— А мы, господа атаманы, издаля едем. На землях бы ничейных пашенкою сесть мечтание имеем.

Арапов ответом уклончивым не удовольствовался, политичные дьячи выкрутасы плести не мастак он. Спытал прямо:

— Беглые, стало быть?

— От вас, казаки вольные, не утаим, с заводов мы разных сошли. Такая там, атаманы, жисть — хоть живым в гроб ложись. Дозвольте где-нито приткнуться крестьянишкам обнищалым, укажите, сделайте милость, где оно сподручнее бы...

Арапов слушал вполуха. Считал, какого сколь оружия у мужичья.

— Гм. Указать можно, отчего ж... Сподручнее всего вам наобрат заворачивать. Потому как беглых принимать нам не указано. И вам бы, мужики, противу указу

государева непокорства никоторого не чинить, по прежнему жительству разойтись не мешкая! — повысил голос.

Качнулись рогатины да оглобли, будто вершины лесные под ветром.

— Чего он бает?! Обратной дороги нету нам!

— Не того ради эку даль одолели, чтоб с повинной на заводы вертаться!

— Тихо! — Репьев скомандовал. — А ты, атаман-батьюшка, из каких будешь?

— Яицкие мы. И присягу давали указы царские блюсти и прямить во всем. А вам бы меня, войскового атамана, слушать и сполнять все, как указать изволю. Поворачивай оглобли, мужики! Даю вам казаков для охраны, и ступайте восвояси... опричь солдат. Солдаты при оружии останутся пущай. С вами, служивые, разберусь ужо.

Репьева обойдя, выступил с крестом подъятым отец Тихон.

— Побойтесь бога, войны христолюбивые! Наги и босы, едино лишь силою небесною хранимы, влачились путями тернистыми... Ужели нет в вас сострадания к сирым и бездомным! Братья по вере, на совесть вашу уповаем!..

Ногаев шепнул атаману:

— Крестик-то золочен, кажись. А поп, чай, расстрига беглый. Дозволь, я его окрещу раза... — послал коня вперед, за спиной плетъ скрывая. Но встречу ему из толпы ружейный ствол нацелился.

— Куда прешь! Попа не тронь!

Выскочил парень, отца Тихона за подрясник сцапал, за телеги уволок.

— Сдурел, батя! Их, видать, не крестом, а оглоблею в совесть вгонять...

— Тихо! — Репьев опять усмирил. — Эх, атаман, не чаяли мы слов таких от вольного казачества. Затевать баталию отнюдь не желаем, да коли на то пошло, делать неча.

Моргнул Овсянникову, кивнул бродяге одноглазому. Мужики на лошадемок зачмокали, занукали, стали заворачивать передние телеги.

Атаман тоже на Ногаева осерчал за выскоч неуместный.

— Уйди, дурак! Не порть мне дело.

Арапов все не мог счесть в точности, сколько там ружей в толпе лапотной. Губами шевелил, пальцы загибал. И сперва не уразумел суеты в обозе. Ухмыльнулся самодовольно:

— Во! Пристрожил я, и поползут счас куды велю.

— Хм! — с сомнением прищурился Ногаев.

Пока Арапов догадался — глядь, уж поздно саблями махать. Оглобли-то повернули, да не в обрат, а в редут становя, как против ордынцев завсегда и казаки делают. На казачью полусотню рогатины глядят, косы-пики не шутя посверкивают. С телеги, из-за лохани бабьей, ружье прямехонько атаману в лоб уставилось...

— Эй, эй! Вы чтой-то, противу слуг государевых!..

Отвечали:

— Не ведаем, чей ты слуга, а нам вроде хана басурманского.

Когда в лоб тебе из штуцера пулю норовят послать, кому оно приятно... Арапов поспешно завернул коня прочь. Отвел казаков подале. Мужикам пригрозил:

— Ждите! Подойдет наша сотня — на себя пеняйте!

Так себе грозил, для острастки, от обиды. Сотни в скором времени не предвиделось, за нею еще спсылать надо. Призадумался атаман: как бы, на-рогатины не нарываясь, беглых к рукам прибрать? Или хоть вспять завернуть?

Садилось солнце. Закат багрянцем пылал, ветер обещающая. Одноглазый мужик, степные битвы повидавший на веку, Репьева упреждал: кабы траву казаки не зажгли, на табор лал не пустили. Овсянников советовал: коль до ночи досидим, надобно гонцов на Сакмару за ручкой.

Подъехал казак калмыковатый, прельщал:

— Атаман желает к общему довольству рассудить. Пушай старщины ваши к атаману идут...

Отвечали:

— Пушай сам идет к матери евдой! Ишь хитрец каков!

Жалобно ржали голодные, непоенные лошади. Кончалась вода в бочонках. Кончалось мужицкое терпение: чаяли — конец пути, и на вот — некуда идти. Кто помоложе, погорячей — за дубины хватались.

— Доколе под телегами сидеть? Попрем напролом — отступятся яйцки!

Репьев и прочие драки не хотели, отговаривали.

Яицкие всполошились. Кто спешил, те обратно в седла полезли.

Гулящий парень, на телеге стоя, сказал:

— Ну, братцы, хошь не хошь, а берись за нож. Вона сотня скачет... Счас будет нам урза!

Встали, взгляделись.

— Не калмыки ли?

— Хрен редьки не слаще...

— Одежда не азиатская. Казаки, атаману на подмогу.

Прибывшая сотня перешла на рысь, подъезжая. Впереди сотник или кто он там — шапка с длинным шлыком, зипун без галуна, пистоль за поясом.

— Ба! — признал кто-то. — Кажись, знакомец давний! Васька, тебя ль вижу?

— Здорово, мужики. С прибытием вас! — кивнул Арапову: — И ты, атаман, будь здрав... оглоблю не ушиблен. Гляжу, так ласково гостей встрел, что от лобызанья твоего за телеги хоронятся.

— Васька, милай! — ликовал знакомец. — Аль позабыл Митяя, на Башанлыке суседа твоего, рудокопца?

— Был Васька в Башанлыке, а теперя есаул Порохов в станице Сакмарской. А ну все вылазь из-под телег, айда за мной. Яицких не бойтесь, они, когда в малом числе, сговорчивы бывают.

Арапов есаулу пенять стал:

— Негоже так-то. Беглых имать велено.

— А мы на Сакмаре все беглые, поди нас имай, коль такой поимщик ловкий.

Арапов более ничего не сказал, увел своих от греха подале: когда силою не сладить, то и слова неча тратить. А придет час — попомните нас!

3

Пыль подымая, шло с выгона стадо. Звенели ботала на коровьих шеях, пастух покрикивал, длинным хлыстом хлопал, как из ружья. Хозяйки в кофтах белых со дворов выходили скотину встречать. По улице тянуло кизячным дымком, пахло навозом, молоком парным, сеном... Саманные домики известью белены, на плетнях глиняны горшки торчат. Вокруг станицы от самых околиц — пшеничка высока, колосиста. Не о такой ли земле обетованной вековая молитва мужицкая? Не об этом

ли покое вольном мечталось в рудниках и фабриках? Хороша, приглядна станица Сакмарская.

Вожи беглецов прибылых пришли станичному атаману поклониться, за добрый прием благодарное слово молвить.

Кто знал в Башанлыке десятника Гореванова, дивились:

— В атаманы возвысился, а никоторой в нем перемены.

— Плечьими пошире стал, возмужал казак.

— Он и ране таков был. Одежка-то у атамана проста, без украсы галунной. Скромен, не чинится.

Жительствует атаман в избе саманной. Горница просторна, опрятна. Пол тесовый, на нем половичок домотканый. Ковров восточных не завел... На столе скатерка холста беленого, с каймою вышитой. Постеля белой верблюжьей кошмой покрыта.

Прост атаман. Вожи беглого обоза толкуют с ним запросто про заводские страданья, про путь многоверстный рассказывают, про житье сакмарское выспрашивают.

— Вольно живем. Хошь и не разбогатели за столь малое время. С кочевыми народами в дружестве, они к нам беглых пропускают без обид. Вот сим утром киргиз прискакал: Арапов-де беглым наперехват вышел.

— Напужал он нас. Добро, есаул твой Васька подоспел, не то худо бы...

— Про землю, атаман, поведай. Любовались мы, богата пшеница вокруг вас... Сподобимся ли и мы пашенку свою пахать?

— Степь широка, по весне пашите с богом. На семена дадено будет.

— А у вас барщина или оброк? Подать собирают ли?

Смеется атаман:

— До царя отсель далече, пока подать везут, приказная челядь разворует до зернышка.— И построже: — Однако для казны станичной берется доля с десятины, по урожаю глядя. Иначе как же? Волю нашу оборонять надобно. Порох, свинец, прочий припас через торговцев калмыцких за хлеб добываем. С заводов тайно железо привозим на лемеха... Да у нас тягло невелико, пахарю не разорительно.

Вошел казак в полукафтани из добротного зеленого

сукна, пояс наборный, с серебряными бляхами. Не зная, по одежке его за атамана принять можно...

— Фу, умаялся! Всех по избам развел. Бани топят-ся, щи да каша варятся...

— А комендант наш с ног валится,— недовольно сказал Гореванов.

— Сказываю, уморился с энтими мужиками прибы-лыми!

— Не лги, Филя. Новы люди подумают, что на Сак-маре народ походя лжет.

Красовитый казак на мужиков покосился.

— Знакомца встрел, руднишного с Башанлыка. Ну, того ради выпили малость... Ей-богу, Ивашка, две чарочки токо!

— Завтра дознаюсь, где вина добыл, тогда и сочтем, сколь ты выпил, каков с тебя спрос учинить. Поди, Филипп, спать ложись. Пред людьми Сакмару не позорь. Да и вы, мужики, по отдыху соскучились, чай. Не последняя у нас беседа.

Отец Тихон — он вместе с вожами на атамана по-глядеть пришел, любопытствовал — несмело подал голос:

— Дозволь спросить по делу духовному? В селении сем благодатном храм божий есть ли?

— Тихон! Ты? Ну, обрадовал, друг башанлыкский! Иди ближе! Отвечу: руки не дошли церкву строить. Пока что в избах монах побродячий службы правит. Дай срок, будет и храм.

Кто-то еще спросил:

— А кабак-то хошь есть?

— И без него не худо. Ненадобен кабак людям воль-ным, ибо от вина много неволи всяческой. Что трудом добыто, кровью обороняемо — то пропить гоже ли?

Уходя, меж собой дивились:

— Средь инородцев обасурманились: ни тебе церкви, ни кабака. Разве можно без сих заведений?

— Зато и без кнутов живут, вот благодать!

— Вина не пьют, стало быть, и грешат мало — на что церковь да кнуты?

— Атаман правду баял: свободу пропить — это у русского мужика запросто. Что от барина утаил, то ка-бак сожрет...

Тихона атаман обнял:

— Остаься, дьякон. Али притомился? Не в обычай ведь тебе жары, дожди, дорожны мытарства.

Потупясь, Тихон ответил:

— Не токмо я, все мытарства претерпели...— и совсем тихо: — С супругою мы под твою милость...

— Знаю. Филька Соловаров сказывал. Садись, дьякон. Во дни оные много раз с тобою сижено, говорено.

Как и во дни оные, дьякон сел — очи долу, руки в рукава. Подрясничек совсем поизносился, лицо еще бледнее и костлявее. Солнце степное смуглотою его не опалило.

— Дивлюсь я, дьякон! Бегут к нам люди сословия всякого, прибеж вот и монах-расстрига. Ну, тот — с запою. Но тебя видеть здесь никак не чаял. Нешто и тебе невтерпеж житье башанлыкское? Где ж смирение твое, о коем столь часто нам с Кузьмою проповедывал? Да скажи, Кузьма-то пошто не пришел с вами?

— Рабу божьему Кузьме вечная память...

— Ужель насмерть заporоли?!

— Житие его многотрудное окончилось хоть и без покаяния, но мучительства господь отвел по милосердию своему.

— Жаль Кузьму. Славный он был, неунывный. Ну-ка, сказывай все ладом.

Костлявые плечи согнулись, будто холодом дьякона обьяло в вечер летний. Моргал воспаленными веками.

— Ин изволь, ежели приказываешь...

— Сказывай со дня того, как меня в каземат увели.

— Зело мы тогда по тебе горевали. Понеже никоей надежды не оставалось тебя еще узреть. Утром явились драгуны, смуте предел положили... И бысть воздвигнуто место лобно на площади пред церковью божией. В железа ковали, били нещадно... Боже все милостивый, отпусти мученикам грехи вольные и невольные, искупили бо стократ!..

— Кузьму, Фросю, товарищев моих к розыску тянули?

— Вельми страшился и за Фросю. Из Екатеринбурга дьяк приехал допрос снимать, да и комендант грозил самолично сыск учинить. Но поелику работы заводские смутю порушены оказались, то и времени ему не нашлось. А вскоре прослышали: Гореванов-де от караула бежал. Будто и в Башанлыке тебя видывали.

— Захаживал, было дело. Но как обещал я господину Геннину впредь на заводах не быть, то и сошел вскоре с Башанлыка.

— Однако комендант теми слухами напуган был, лютость унял. В те поры ежедень я ходил на выселок. Не бог весть какой защитник, а все ж...

В окна сумерки лились, от зари прозрачные. Предыконная лампада теплилась. Свечу атаман не зажег — в полутьме воспоминания ярче, беседа откровеннее.

— Чего ж замолчал? Сказывай, отче.

— Да, таково оно и содеялось... Сам посуди: тебя нет, Кузьма Тимофеич бессилен, а комендант еще с лета умысел греховный имел противу Фроси... И сочли мы за благо... Мыслилось: в замужестве за духовным чином упасется от насилия голубица наша... И пошла она под венец со мной. По согласию, но, знаю, без радости. Пред тобой же виноватым себя чую...

— Себя не кори. Сам я отрекся, девку жалея. Твой сан духовный паче сабли моей оборона.

— Мыслилось тако. Содеялось иначе...

Гореванов встал, заходил по горнице.

— Званием духовным пренебрегли?!

— Что свято для них? Совесть их ущербна, суда же праведного над собой не опасаются, ибо и выше них правители еще более лживы и корыстны.

Дьякон, всегда малословный, сперва повествовал лишь веленью повинаясь. Но видя живое сочувствие старого знакомого, все передуманное изливал — и не атаману как будто, а иному, невидимому в сумраке собеседнику и супротивнику. И вновь подивился Гореванов различию прежних благолепных речей его и нынешних, обличительных.

— ...Снег сошел, весна воссияла. Нас же с Фросею посетила беда. На Ивана-долгого, сиречь мая седьмого числа ввечеру... Службы отведя, в дом свой пришел я... Фроси нет. Трудилась она при амбарах рогожных. Сама трудиться пожелала, я ж по слабости духа не осмелился ей перечить. И то сказать, каждому грошику рады были, понеже в скудности пребывали постоянной...

— Знаю, не жаден ты, хоть поповского семени.

— К осьми часам отпускали их по домам. И вот время не позднее, солнышко еще не закатилось, в воздухе благоуханье весеннее... а меня беспокойство томит, аки предчувствие некое. И ни молитвою утишить не можно, ни рассуждением успокоительным...

Гореванов, стоя у окна, смотрел поверх крыш на закатное небо. В догорающем закате виделся ему Башан-

лык, площадь у двора конторского и двор заводской, весь в грязи весенней, телегами разъезженной. Вспомнился возле складов провиантских амбар бревенчат, в котором для фабричных надобностей рогожи плели женки заводские. Под трепетный голос дьяка виделось: вот бежит отец Тихон смятенный, разбивая старыми сапогами голубые весенние лужи... Двустворчатые ворота амбара, тут кучи лыка, парной дух. И бьется несчастный отец Тихон в запертые воротины, слыша оттуда, изнутри, крик сдавленный супруги его богоданной Евфросиньи Кузьмовны... Слабые руки его, досель лишь к троеперстию да к работам домашним пригодные, сжались в кулаки, и сокрушился ржавый крюк, подались воротины, отворились... Фрося в кофте располосованной бьется в лапах жадных... Тарковский грозно обратил на дьякона исцарапанный лик...

— ...Отколь во мне сила явилась... Бил я человека! Бил господина, властью облеченного, наземь его повергнув... И бысть мне от сего греха страшно и сладостно! Противник, многократно силою мя превосходящий, пресмыкался во прахе, яко змий, святым Георгием уязвленный...

Виделось все это Гореванову в багряной полоске заката: рогожки, лыко, ненавистный лик Тарковского избит... Не мог Гореванов увидеть, вообразить смиренного отца Тихона взъяренным, бьющим, мстящим!

— ...Некто, войдя, десницу мою карающую отвел. Не ангел ли во образе человеческом остерег мя от греха вящего? В ознобе и беспамятстве увела меня Фрося от места окаянного...

И видел вновь атаман за станичными камышовыми крышами, за далью многоверстной, видел памятью выселок за Башанлыкским острогом, слыша лай песьей своры. Но нет, не на выселок повела Фрося потрясенного своей дерзостью мужа. Расправа скорая поджидала их и на церковном дворе, где они жительство имели, и в избе той выселковой, где Кузьма Тимофеич, беды новой не чая, ожидал дочь, как всегда, ввечеру. Разумница Фрося повела через двор рудный, да проулками, да за частокол осторожный по дороге рудовозной на пашни, к овинам беломестных казаков. Привела в овин Афони Пермитина и оставила там, соломою закидала, шептать молитвы покаянные. Сама же воротилась сумерками в острог искать совета и помощи у бывшего приятеля го-

ревановского, а ныне казачьего десятника Пермитина. Не оплошно понадеялась: Афоня старое дружество помнил, мятежному дьякону порадел... Какая молодец она, Фрося! Недаром говорил Кузьма: Фросьюшка моя будет мужу опорой...

— Пешто же Кузьму не упредили, берегся чтоб? — спросил атаман.

— Господин комендант зело поспешно за ним спосылал. На двор конторский доставили раба божия, в покои комендантские, в избе засады учинили, нас с Фросею дожидать.

Знакома Гореванову и горница в комендантских покаях. Когда-то здесь господин Тарковский пред иконой клялся, что обиды девке вовек от него не содеется. Лжива клятва оказалась. Прав дьякон: нет для мерзавцев святого ничего.

И предстал лядаший мужичонка Кузьма пред грозны очи клятвопреступника — господина. Глянул бесстрашно в мерзкое лицо, дочерью исцарапанное, зятем побитое. С бранью вопрошал господин: где дочь с зятем укрылись? Предвидя лютую кару, неумывный мужик смеялся предерзостно: ай да доченька, мол, приветила блудливого кобеля, любо-дорого посмотреть! Ай да зятек, выучил паршивца, как по мужним женам шастать! Теперь и мой черед настал...

Да на глазах у солдат конвойных и влепился мужицкий кулак в поцарапанную сопатку барина... Рухнул на пол и сам Кузьма. Солдаты, опомнясь, схватили, подняли, держали на весу, а Тарковский бил остервенело не Кузьму, тело его бездыханное: множество бед и порок претерпев на веку, торжества краткого сердце не вынесло...

— Поведал нам сие десятник Пермитин, тайно из Башанлыка провожая. По его указке пошли мы с Фросюшкою к людям беглым. И были скитания подобны исходу из царства Фараонова... Днесь, придя сюда яко в землю обетованную, покой обретем ли?

— Покой, отче, на том свете обретем, да и то кому как уготовано по грехам земным. На Сакмаре сидим покуда крепко, а уж сколь то продлится, кто знает. У справедливости врагов множество. А сила наша в том, что с народами окрестными, с башкирами, киргиз-кайсаками в мире прочном мы. И людом беглым станица множится, одолеть нас непросто. Земля здешняя родит

знатно, хлеба и себе хватает, и торг с инородцами ведем.

— К работе крестьянской не свычен я...

— Сказано: не хлебом единым жив человек. Надобно ему, коль в земной юдоли справедливости мало видит, веровать в справедливость вышнюю, божью. И тебе у нас попом быть. Укрепляй веру и праведность дела нашего.

— Вот церкви у вас нету...

— Была б вера, храм будет.

К атаманской избе топот галопный. Затих у коновязи.

— Дозволишь уйти, атаман? — поднялся дьякон. — Фрося заждалась...

Отец Тихон благословил Гореванова, низко ему поклонился. Тут же, в один с ним притвор, появился есаул Порохов.

— Попа встрел, примета худая, — кинул шапку на скамью, сам хлопнулся устало.

— Приметам веришь? Тогда, попа завидя, держись за пуговицу штанную, худая и не сбудется.

— Смеешься? Маловер ты, Ивашка. Огня вздуй, разгляди, каково моя примета сбывается. На вот, чти. Не тебе писано, нас касаясь, — вынул из шапки бумагу. Гореванов поднес ее к сальной свече, на подпись глянул.

— Как добыл?

— Посылал ребятку надежных за Араповым приглядеть. После встречи нашей сегодняшней, чую, зол Арапов остался. Он до острожка Суйского едва доскакал, вскоре трех казаков отрядил куда-то. Наши перехватили в степи, грамотку сию отняли. Чти, какие он козни замышляет?

Яицкий бил челом уфимскому воеводе на Ивашку Гореванова: назвался-де атаманом самочинно «в ново-построенном в степи городке меж Янка и башкирцев, на реке Сакмаре», а ему-де, яицкому атаману Арапову, не оказал помощи в войне «с неприятельскими людьми каракалпакскими и киргиз-кайсакскими, тако ж и беглых принимал и иные противности государевым делам учинял».

— Ну? Чего Арапов брешет?

— На нас уфимскому воеводе жалобится. Не брешет, правду пишет.

— Наша правда ему поперек горла. Страшится, кабы ты его атаманство не отнял. И то, Иван, не пора ль нам араповскую власть порушить? Людей ныне довольно пришло...

— Яик от казны свинцом да порохом довольствуют. А мы оружием скудны, мужики наши до войны не больно охочи и не свычны, по земле, по хлеборобству они истосковались.

— В яицких куренях всегда смута живет. Арапов, пес, воеводам загребуши руки лижет, казачьи вольности крадет! Посули бывшие вольности вернуть, дьяков московских в Яике утопить — взбунтуют яицкие, тебя замест Арапова в атаманы позовут.

— Пустое мелешь, Василий. Не атамански хоругви ишу, не власти да славы. Потому лишь атаманствую, что боле некому. А от лжи, от пакости разбойной да чиновной должен кто-то людям роздых дать? Должны все увидеть: возможна справедливость и на сей земле, не на небе только.

— Ивашка, ежели заварил кашу круто — готовь большой котел! Не то прольется твоя каша, чад, угар останется. Размах, атаман, размах делу надобен!

— Сколь силы есть, таков и размах. Другой атаман найдется в плечах меня пошире, он достанет.

— Иван, послушай, я в ратном деле пулями и саблями учен: остановиться на одной Сакмаре — пропадешь.

— Ивашке на Руси пропасть — эта невидаль. Но Сакмара не пропадет. Нас с тобой не станет, а вольная станица жива будет. Сакмарскую огнем спалят — в иных местах, иным атаманам огонь тот светить будет!

Гореванов обнял есаула.

— Не время пока широко махать, руки вывихнем. Вот укрепнем людьми, оружием, конями, усилимся дружеством с народами степными, тогда... Ныне ж атаманскою хоругвею на Яике не прельщай. На совесть свою взвалил я людские судьбы, дабы хошь в деревеньке махонькой справедливость воссияла. Ради же славы собственной кровь не пролью мужицкую, не боярин я, слава богу.

— Берегись жалости излишней! Ныне малой крови пожалеешь — после она рекою прольется... Ну, довольно, сам думай, ты парень с головой. С гонцами араповскими что прикажешь делать? Сидят под караулом они.

— Отпусти. Люди они служивые, подневольные. За Яицким городком приглядывай, не удумал бы Арапов лукавства какого.

— Уж такова служба моя: гляди в оба, зри в три, не то придет пора — нагладишься в полтора...

Ночь темна и глубока, ровно омут в Яике-реке. Ни звезд, ни зари, тучи все небо полонили. Спит Яицкий городок.

У ворот атамановского бревенчатого пятистенка, закутанный в азым, пугалом огородным сидит на лавочке караульный, у ног его волкодав дремлет, башку в лапы уткнув. В окнах свету не видать — должно, атаман поживать изволит.

Но Арапову не до сна. Плечист, дороден, волосом черен и кудряв, стоит набычась, борода веником расшеперилась, под нею белая исподняя рубаша расстегнута, на груди в черной шерсти, как во мху лесном, нательный крестик золотом блестит. На окнах шторы бархатны задернуты. У стола при одной свече мулла татарский чалму склонил, пишет. Арапов русские слова говорит и через плечо муллы заглядывает, как ложатся те слова на бумагу красивой арабской вязью, — православному ни черта не понять. И грамотей сакмарский Ивашка Гореванов сию белиберду уразуметь не сумеет, ежели опять перехватит...

— Написал?

— Да, господин.

— А мой титул и прозвание по-вашему начертать можно?

— Да, господин.

— Строчи: «Яицкий войсковой атаман Арапов». Написал? Ну и ступай с богом... с аллахом тойсь. И помалкивай, а то чалму сыму с башкой заедино. Кирька!

Бесшумно дверь растворилась, в темноте прихожей замаячила рожа.

— Энтото проводи. Казака покличь.

Мулла выплыл задом, кланяясь. Из прихожей возник Ногаев. Колпак на нем войлочный, халатишко замызганный. При его калмыковатой морде — кочевник вылитый.

— Хорош! Таков нехристь видом, что по зубам вдавить охота. Возьми, спрячь подале. — Грамоту в тряпицу

завернул, отдал.— Из городка скользи мышью, в степи жаворонком лети. Доставишь в Уфу, будет тебе награда. На словах воеводе обскажи, как велено. С богом!

Поутру дозор сакмарских казаков заметил вдали всадника.

— Минька, вона скачет ктой-то.

Десятник взгляделся из-под ладони.

— Татарин к табунам бежит своим. Не наше дело.

Отвернулся десятник, зевнул, рот креста. Свежим утром посреди степного покоя в сон клонит...

IV. Исход

1

Стекла двойных рам расписал декабрь узорами затейливыми. Солнце украсило те узоры искристым блистаньем. Яркое и морозное день стоит. Одеть бы треух лисий, ягу¹ волчью, пимы, пойти бы туда, под чистое небо, под холодный и яркий свет... Велеть бы лошадей заложить, в санки завалиться, по льду Исети проехать, ни о чем не думая. Как хорошо! Посвистывает кучер, из-за его овчинной спины встречный ветер бодро лицо овеивает... Ах, хорошо бы!

Но дела, дела... Ими к столу кабинетному будто цепью прикован управитель де Геннин. Четыре года тщится порядок навести на казенных заводах, дабы в процветании прочном и мощном на уральской земле стояли они, все царство своим железом укрепляя. Не впустую годы сии утекли. Однако порядка надлежащего как не было, так и нет доселе. И весьма обидно, что рядом из тех же недр черпая, заводы демидовские не в пример казенным прибыльнее. Ибо Акинфий Демидов самовластием безоглядным держит у себя порядок жестокий, он в вотчинах единый всему хозяин. Карая или милюя, ломая или учреждая, ни у кого дозволения испрашивать не обязан. Управитель де Геннин, в чине генеральском пребывая, решения большие и малые, насущные и неотложные вершить не волен. На каждую малость бумагу составь, в Санкт-Петербург отправь, жди апробации. Иной раз, покуда апробация придет, уж и надобность в

¹ Яга — шуба мехом наружу, длиною до пят.

ней миновала, и дело упущено. Поистине: прошениями да отписками занят более, нежели делом живым. Покойный государь Петр Алексеевич зело нетерпелив был; волокитчиков не миловал, карал жестоко. Говаривал государь: «Все указы писать, кои исполняться не будут». И уж коли указ написан, все исполнялось скоро и споро. Желал покойный государь, чтоб всякого звания люди служили не за страх, а за совесть. Но у кого совесть сызмала не вызрела, те хотя б и за страх, но старались ретиво. И обновлялась, двигалась вперед необъятная держава, ее колеса многие, кровью и потом смазаны, вертелись ходко.

Вот уж год, как не стало царя Петра. Многие сподвижники его в опале и небрежении пребывают ныне. На их места иные уселись — трудиться не любители, лишь кланяться да льститься охочие. Ловкая, им угодная отписка стала важнее живого дела, по ней о деятеле судят. Наполнилась Россия отписками, бумагами крючкотворными. Всяких званий чины канцелярские в великую силу вошли. Ныне льстец придворный, в горнозаводском деле малосмысленный, высокомерные указания шлет инженеру де Геннину...

Пфуй! Забыть все это к свиньям собачьим да в санки, да в солнечный морозец по реке Исети...

Постучали тихохонько. Проник в кабинет начальник канцелярии Головачев, на цыпочках приблизился, бумагу подложил.

— Что у тебя?

— Приказывать изволили ведомость составить, сколь по заводам работных душ на сей день имеется.

— Добро. Ступай.

Генерал отвел взгляд от искристых оконных узоров. Ведомость, черт бы ее побрал... При ней записка разъяснительная. Мельком перелистал бумаги. По всем заводам великая нехватка людей работных — рудокопов, углежогов, каменщиков, прочих всяких... Мрет народишко, бежит с заводов. При этаким в людях оскудении дадут ли заводы прибыль чаемую! Нельзя к каждому рудокопу ставить по солдату, чтоб стерег. А и солдаты бегут тоже...

Отшвырнул ведомость, стал читать записку к ней головачевскую. Не записка — отписка! Но составлена ловко весьма, насобачился Головачев в сочинительстве канцелярском: мрут людишки — по глупости их, бегут —

тем паче по глупости. Добро! Можно и в Санкт-Петербург отсылать, пусть над нею столичные глупцы морщат глубокомысленно узкие лбы под напудренными париками. Ба, есть тут и разумные строки!

Головачев упоминал в записке о беглой слободе на Сакмаре: вот-де всех зол причина, мужикам кротким и богобоязненным соблазн дьявольский. Что ж, правда сие: не дьявольский, но соблазн... «...А бунтовским атаманом у них крестьянский сын Шадринской слободы Ивашка Гореванов». Опять этот Гореванов! Башковит, каналья, сын крестьянский. Посреди народов кочевых, разбойных, у казачества яицкого под боком беглую волюсть учинил и два года ею правит. От управителя генерала де Геннина бегут людишки к нему, бывшему десятнику! Да, башковит. И башку ему до сих пор не отрубили почему-то. «...Токмо достать его трудно, понеже того городка жители, обольщенные им, его охраняют». Э, да за ним и иные провинности числятся: «...Ищут его в Нижегородской губернии по некоторому делу». И еще сибирский губернатор князь Долгорукий пишет, что «по Сибирской губернии до Гореванова касается важное дело». Везде успел этот пострел, крестьянский сын. Экая страна сумасшедшая: на службе государственной умных людей нехватка, боле дураков обретается лстивых, а вот башковитый, судя по всему, Ивашка бежит к чертям на кулички, за ним народ кучно следует. Напрасно пожалел тогда казака, за честность волею пожаловал. А не отпустил бы на волю, так и мужики не бежали бы? На месте помирали бы?

Однако загулял Ивашка, пора ему укорот дать. Честность — хорошо, но и честность должна иметь регламент свой, предел некий. От сугубой во всем честности до преступления закона, до потрясения основ государственных, а следственно, и до эшафота — весьма близко. От Ивашкиной честности — соблазн! Тут прав Головачев, червь канцелярский.

Генерал взял перо, чистый лист. Заслонился ладонью от искристого окна, от яркого зимнего дня — глаза режет! — и стал писать в Сенат. Излагал свой проект о пресечении впредь бегства с казенных заводов. И об искоренении соблазнов к сему — о разорении Сакмарского городка силою воинской.

Зиму пережили не плоше, чем на заводах бывало. До пасхи дожились без куличей, но и без кутьи поминальной — станичный мир никому из прибылых в куске хлеба не отказывал, все живы.

Пасха тот год ранняя была. Разговляться особо нечем, гулять не гуляется, за пашню браться не терпится. Успела пасха миновать — повел комендант станичный Филипп Соловаров всех прибылых вдоль берега Сакмары. Пройдя земли прежде паханные, обвел впереди себя рукою широко:

— Кому сколь надо, подымай, сей. Сверх силы не хапайте, надорветесь, пуп посинеет.

Сам чекмень¹ скинул на жухлую траву прошлогоднюю, лег, зевнул с привизгом: ночью башкирцы гулящие к нему на торг приезжали, после винишком баловались, теперь Филька невыспанный, башка трещит — вышел торг миру на пользу, а и Фильке на выгоду.

Мужики беспокоили, спать ему мешали:

— Погодь, не усыпай, господин есаул. Растолкуй сперва, мы чем сеять-то станем. Земелька хороша, да в лукошках ни шиша...

— Кому сколь на семя надобно, сказывай отцу Тихону, он в бумаге запишет, из станичных амбаров возьмете, с урожаем возвратите, — бормотал Филька скороговоркой. И засопел, мужиков винным духом смущая.

Степь парила, воздымала запахи томные к вешнему небушку. И воздымалось из самодельного кадила сосновой смолки куренье, и казалось оно пахарям святее розного ладана. После краткого молебствия побегли мужики нову землю в наделы себе облюбовывать. Ох же и любо оно, своя-то пащенка!

3

В сакмарскую степь прикочевал с табунами и отарами богатый калмык. Поставил юрты в двух днях пути от станицы. Гореванов рассудил: не худо б соседа повидать, знакомство свести. С соседом мир — мужикам покой.

¹ Чекмень — крестьянский короткий кафтан с перехватом.

Отъехали утром с четырьмя казаками, ночь у костерка провели, а на другой вечер были в калмыцкой ставке приняты с почетом. Калмыки с Сакмарой ведут торговлю барышную, к атаману уважение имеют.

Богат князек калмыцкий. Лошадей косяки многочисленны, овцам счету нет. Юрта белого войлока, устлана коврами да мехами. Посуда оловянная, на старшей жене ожерелья из монет заморских, на любимом коне сбруя в серебре. Хозяин угощал вареной бараниной, старшая жена кумыс наливала гостю в чашу из китайского фарфора, потчевала радушно. Ивану мясо в горло не шло, кумыс через силу глотался: столь грязно в юрте богатой. Оловянное блюдо застарелым жиром все осклизло. Фарфор — не бел, в пятнах липких. Воняет в юрте псиной, кислятиной, лошадьми и еще бог знает чем. Однакопил Иван кумыс, жевал баранину, рыгал громко по приличию степному — нельзя обидеть хозяина.

После пили чай калмыцкий — с молоком, жиром, солью. Разговор вели дружественный. Но от той беседы замутило Ивана еще более — душою смутился атаман. Однако виду опять же не подал.

Про торговлю речь шла. Минувшей осенью сакмарские пашни уродили обильно, и с того урожая доля пошла не барину в оброк, не царю в подать, не дьяку в корысть — в амбары станичные, в казну мужицкую. Окрестные кочевники от той казны пользовались: хлеб себе выменивали за коней, за овец, за иные перекупные товары. Степные князьки наперебой мену затевали. Гостеприимный хозяин юрты осенью у другого князька торг со станицею перебил да и впрок то ж учинить ладил — сулил хоть сей день отару пригнать сакмарцам для кормления в счет урожая грядущего: князьки атаману на слово верили. Тут узнал Гореванов, что в прошлые мены комендант станичный Филька, запасами ведавший, от калмыков посулы принимал для корысти своей.

Хозяин не обижался, не жаловался. Хвалил даже оборотистого есаула Фильку: взятки давать и брать сам аллах велит. Осенью подарил, вишь, полста овец отборных — и не иному князьку, а ему хлеб достался. Кому плохо? Всем хорошо. Есаулу Фильке хорошо. Калмыку хорошо. Казакам хорошо. Другому, нерасторопному, князьку плохо — так он, дурак, пожадничал, всего тридцать голов посулил Фильке.

Ночью Ивану не спалось на мягких кошмах. Грызли думы, кусали блохи... Ушел из юрты к костру, где казаки его ночевали. Тут блох нету. Но от дум куда деться? Нешто Филя, друг верный, казак лихой, в корысти погряз? Вспоминалось, что про богатство частенько Соловаров поговаривал.

Отгостив, на пути обратном и других ближних кочевников расспрашивал, у бесхитростных табунщиков исподволь выпытывал про Филькины коммерции. Воротившись домой, никому скорби своей не поведал. Но с кем и о чем речь бы ни шла, меж слов искал то, о чем вовек бы и не знать... Но атаману обо всем знать доподлинно надобно. Плох атаман, который только успехам радуется, себе их в заслугу ставит, а на всякое худо трусливо глаза закрывает. От такого невиденья нарочитого болезнь вглубь и вширь идет, а со временем себя окажет больно, а то и смертельно для атамана близорукого и станицы всей. Избави нас бог от слепоты душевной.

Взяв с собой Ермила Овсянникова, шадринского бобыля, Гореванов в степь ездил, в урочище отдаленное. Самолично обозрел затаенные соловаровские отары при двух пастухах-киргизцах. Себя клял: как досель не видел есауловой алчности? Еще в Башанлыке Фильке блазнилось свое хозяйство, богатством крепкое. Ныне дорвался. В жены взял казачку из яицкой семьи богатенькой, с князьками степными хлеб-соль водит якобы ради выгоды станичной. Не ради ли своей? В сече смел и надежен был— в мирной жизни корысть казака одолела.

Когда станица отсеялась и первая внешняя страда на убыль пошла, собрал Гореванов в избу к себе есаулов. Из новых поселенцев поп Тихон да молчун Ермил Овсянников званы. Атаман в упор коменданта спросил:

— Ответствуй, во всем ли народу станичному прямишь? Совесть твоя действием своекорыстным не замарана ли?

У Соловарова от допросу такого рот раззявился, глаза рачьи стали.

— Ивашка, ты часом не пьян ли?

— Опосля разберемся, кто опьянел, ты ль от жадности, я ль от сомнения.

Для всей старшины допрос атаманов как гром средь

ясного неба. Поп себя крестным знаменем осеняет, очи потупя. Порохов воззрился на Гореванова с недоверием. Ахмет, станичных инородцев голова, безмятежен сидел: атаман Ивашка все разберет по чести.

Стал Гореванов есаула своего уличать, приятеля верного трясти. Пошли в огласку и взятки по улусам и в острожках яицких, пьяная гульба под личиною договоров политических да торговых, и батраки-пастухи у отары нечестной, и прочие лжи, творимые под словеса выпрещение,— все-де старания лишь для блага станицы, ради народа деются.

Сперва Филька вскакивал, кулаками сучил. А вскоре обмяк и съезжился, ибо лжи его доподлинно атаманом сысканы и противу сказать нечего. В смущении сидели есаулы, глаза друг от друга прятали. С чего бы оторопь всеобщая? За товарища совестно, розыск ли атаманов не по нраву им пришелся?

Порохов, погорячей иных, не стерпел молчания:

— Филька! Ты чего губы на локоть? Язык проглотил?

Тот шапкой об пол:

— Ладно, пушай так! Пред товарищами запирайтесь не стану! Только и мне дозвоьте слово молвить. Атаман бает, что судилище надо мной учинил справедливости ради. Так и судите, господа старшины, по справедливости!

Поднял шапку свою щегольскую, отер вспотевшее лицо.

— Ты, есаул Порохов, покой станицы бережешь, дозорами правишь, за недругами следишь, днем и ночью покоя не ведаешь. Ты, Ахметша, неделями по улусам скачешь, инородцев в дружбу склоняя, башкой рискуешь. Я — новоселов корми, рассели по избам, лошадей им на пахоту дай, железо на лемеха, пеньку, холста, свинцу, всяку вещь с Фильки требуют — дай и не греши. А лъзя ли добыть, не греша?! Али на облаке мы, средь ангелов жительство наше?! Князьки кочевые дают нехотя, берут в оберуч. Вертится Филька бесом, николи себе покоя не зная. Аль того не замечаете, есаулы?

И видя, что головы сами кивают на речи его уверенные, Соловаров прочнее ноги расставил, ободрился.

— Теперь мужика взять... Слов нет, пашня его потом полита. Но вот ноне отселялся — и горя мало. За нашими, есаулы, спинами, за призором нашим неусыпным

покойно и сытно мужику. У нас же, бывает, всякое терпение на исходе, и зады от седла болят, и опаска всегдашняя, что атаман за всякую малость с нас спросит. Так в том ли, братцы есаулы, справедливость, чтоб при заслугах неравных всем из единой плошки хлебать, одним рядом укрываться? Али лживо испокон говорится: по заслугам-де и честь?!

Рвал ворот рубахи: душно от обиды, жарко от слов горячих, жгла правота своя, красиво высказанная. Есаулы хмурились, помалкивали. И понимал Гореванов: к Филькиной правоте качнулись.

Заговорил снова:

— Честью ты не обойден. Мужик в рядно ветхое одет, в сермягу — на тебе кафтан сукна доброго, рубаха полотна тонкого, зимой шуба лисья, боярину впору. И справедливо то: по одежде встречают князьки, а приди ты в сермяге, рван да расхристан, и за есаула не почтут, загордятся торг вести. Мужик на исходе зимы хлеб жевал с мякиною — у тебя круглый год щи с убоинкой. И опять же по чину оно: в силе, в полной исправности есаул быть должен. Люди в избах по две, по три семьи ютятся — в твоей избе три горницы, чтоб просторно торговых гостей принимать. Тебе сей чести мало? Тайные отары не с голоду ли завел? В Суйском острожке ночь гулеванил с женками блудными — то для чести вящей? Шила в мешке не утаишь. Песни твои в кабаке рьяные до меня долетели, а и прочие станичники не глухи. Как народ на тебя, на всю старшину глядеть станет? Мы сюда от барской корысти убегли для того ль, чтоб корысть свою взрастить?! Баешь: по заслугам-де и честь — за взятки, за гульбу, за кривду какова тебе честь будет на всем кругу пред всем народом станичным?

— Меня хошь на круг?! Братцы, это как же?! Атаман, помни: под собою коня плетью гладят, но саблей не секут...

— Видно, был конь, да изъездился, навроде волка обернулся — овец ноне отарами хватаешь, гляди, и людей грызть почнешь.

— Овцой попрекаешь? Не вымогал я, сами пригнали — отказываться, что ли?

— До сей поры бай и пастух равно за честность нас уважали. А теперь? За то, что взятки берем, не вымогаю? Эку честь сыскали есаулы справедливой станицы!

Еще малость обнаглеешь, так и битьем возьмешь отару.

Тончала и рвалась правота соловаровская. От товарищей поддержки не чуя, поник Филька, иным щитом заслониться потщился.

— Этак, атаман, кабы всех нас на круг тянуть не довелось. Спытай Ваську Порохова, как он битьем у киргизца отнял жеребца себе. Аль шпиены тебе не донесли еще?

Взныло сердце у атамана: нешто и Порохов корыстен? Ужель напрасно верил товарищам близким?

— Василий! Было?

Порохов бестрепетно глаза поднял:

— Было.

Эх, соратники верные, что ж вы честь-правдою не дорожите? Вот и этот почнет сейчас правоту свою, пороховскую, высказывать.

— Было. Перед рождеством самым. Дозоры я объезжал с казаком вдвоем. И верст отсель за двадцать натакались на шайку бродячую. Казака стрелою убило, я ж ускакал. На коне пораненном по сугробам убродным пробирался к станице. Обессилел конь, оставить пришлось, пеши идти. Покуда в метели юрту не увидел... Ну, отнял жеребца, верно. Что ж делать было? А ну, как шайка-то, в морозе и голоде озверев, на станицу кинулась бы врасплох? Постешать мне надо было, чтоб казаков поднять. Ну? Виновен я?

— Про шайку тогда сказывал, про жеребца отнятого умолчал пошто?

— А на что всякой мелочью атаману докучать?

— Киргиз — человек, а обида человечья — не мелочь.

— Погоди, дослушай. Хотел, вишь, жеребца вернуть, да на другой день не сыскал уж юрты. Может, ночью худо место приметил али киргиз откочевал.

— С Ахметом поехал бы, ему в степи все кочевья знакомы.

Жидки усы Ахмета раздвинулись в улыбке:

— Ахмет киргиза видел. Глупый киргиз, Ваську ругал, казаков ругал. Ахмет ему свой конь запасной отдавал: возьми, не ругай казака.

От простецкого Ахметова слова все повеселели, Порохов засмеялся облегченно:

— Шайтан! Пошто лишь теперь сказал? Ну, спасибо, Ахмет! В долгу у тебя. Хошь, свою вороного отдам?

— Хорош вороной, сам езд. Когда что шибко надо станет, приду, скажу: шибко надо, Васька. Тогда дашь. Сейчас ничего не надо, друг.

Простодушный татарин, сам того не ведая, атаманову горечь утишил. Нет, дорожат правдою други старые, хоть и в их семье не без уroda.

— Какую ж, есаулы, честь воздадим Соловарову за ложь и корысть его?

Вновь посуровели. Порохов молвил:

— На сей раз на круг не надо бы.

Ахмет туда же:

— Пошто круг? Не надо круг. Бери, атаман, нагайку, мало-мало пори Фильку.

— Меня?! — взвился Филька. — Поро-оть?!

— Сиди, — велел Гореванов. — Добра немало станице делал, битьем тебя не унизим. Отару неправедную в казну отдай. И прочее, что нахватали самовольно. Сполна отдай. Проверю. Вон Овчинников пускай примет...

— Свою земляка возвысить хошь? Он свою хозяйства беречь не умел...

— Будя! — прикрикнул Порохов. — Заворовался ты, Филька, так и неча ерепениться. Скажи спасибо, что огласки покуда не предавали. Стыдно сор из избы выносить...

— Другой раз замечено будет, огласим. Ежели сор в избе прятать — дух от него тяжел, тараканы, блохи, гниль всяка заводится.

Расходились от атамана хмурые есаулы. Оставались у атамана сомнения. Так ли надо? Жестче? Мягче? Где мера справедливости, кто может определить не колеблясь? Лишь великого разума люди да круглые дураки не маются сомнениями, человек же прбстой да совестливый терзаться ими от веку обречен. Тяжко... Ахметовы слова ненадолго печаль утолили. Еще бы что доброе услышать...

— Отец Тихон, останься.

Поп у двери смиренно поклонился. Да Соловаров уйти медлил.

— Чего тебе?

— Атаман, челом бью: избу не отымай. Бабе моей рожать скоро.

— Добро, живи.

Соловаров еще что-то сказать хотел, но оглянулся на попа, вздохнул, ушел.

— Отец Тихон, каково ребятишкам ученье идет? В деле сем нужды какой нет ли?

— Нуждам как не быти. Однако по разумению моему обучаю отроков грамоте, слову божьему. Тако ж и व्यюношей до наук охочих. И школяры иные в ученье зело преуспели! — улыбнулся, что редко с ним бывало. И сразу руки в рукава, чело наморщил озабоченно.

— Не надо ли чего вам... с Фросею? Вдосталь ли кормитесь?

— Премного всем довольны. Иная скорбь покоя не дает, атаман. Поселенцы наши веруют не едино, помыслы их розны...

Эх, видно и от попа утешений не дождаться! Гореванов сказал недовольно:

— Ты опять с докукою прежней? Не вижу в том беды, что живут у нас бок о бок язычник и христианин с магометанцем вкупе. Все они тут вместе сошлись — правду мужицкую искать...

— Разве не узрели мы сейчас, что правду каждый со своей колокольни разглядывает? Ты, атаман, и есаул твой Соловаров — оба кореня мужицкого. Отчего ж правдами не сошлись?

— Да чего ты хочешь, поп?! Силою окрестить всех иноверцев? Насильство скорее оттолкнет, чем умножит паству твою.

— Не к насилию склоняю — церковь нам паче хлеба надобна! Души людские блуждают в сомнениях...

— У меня их поболее, чем у иного кого.

— ...И надобен храм, куда б сомнения свои несли, где б пастырь многим людям един путь указал, вразумил, что есть зло и что добро.

— Они от цепей, от кнутов сюда сошлись и волю обрели — им ли не знать, что есть добро и зло?

— Под кнутом у всех правда одна — боль... Воля ж и сытость премножество исканий рождают. Хлеба насущного вкусив вдоволь, жаждет человек пищи духовной. Не ведая, где ее искать, злак от плевел различать не умея, сколь часто устремляется путем ложным и гибельным! И я, пастырь, как заблудшим помогу? Несть бо храма благолепна, где собрал бы стадо пасомое, дабы проповедью вдохновенной воедино слить. Атаман! Паки и паки к тебе взываю: церковь вели строить!

— Успокойся, отче. Сядь. Негоже пастырю у атаманской двери топтаться.

Отец Тихон сел, руки в рукава. Но очей не опустил долу, взглядом ответ торопит. Гореванов заговорил мягко:

— Покойный царь Петр в годину ратную повелел с церковей колокола сымать да пушки лить из них...

Сказал и задумался. В иное русло мысль удалилась. Царь Петр... Крут нравом был государь. За оплошности карал без оглядки, могущество царское утверждая. Карал, невзирая на чины вельможные, на близость к трону. Сына свою не пожалел. Тем паче не пожалел бы корыстолюбца Соловарова, на плаху послал. Али нет? Эка ноша тяжка—над людьми власть! У атамана Гореванова лишь малая станица под началом, и то пособиться невмочь. У Петра — великая держава, людей несметно, и у каждого своя нужда и правда, и те правды должен царь в одну соединить, в государственную правду огромную... Какой ум, такую силу надобно! Где взять их?..

— То действо было Руси во спасение.

— Чего? А, ты про колокола... Так вот и у нас первейшая надобность не в колоколах церковных, а в пушках, ружьях, огненном бое. Строим мы храм, отче, храм справедливости людской, а стало быть, и божий. Лишь начали, а сколь врагов нажили! Жду ежечасно — отколь грянут? Яицкие, кочевые, уфимского ли воеводы полки на нас пожалуют — от них не отмолишься, ладанным дымом не укроешься. Не церковь — крепость воздвигнуть более пристало. На бога надейся, а сам не плошай. Так ли?

У отца Тихона взгляд был не прежний, поповский, — казачий погляд. Ай да попа бог дал!

— Не токмо частоколом да рвом города крепки, но паче того стойкостью ратников. Егда нет согласия среди живущих во граде — не защитят стены каменные. Истинно говорю тебе: ежели о единении душ человеческих печись не будем — рухнет твой храм справедливости, аки башня Вавилонская!

— Довольно, поп! Про церковь не ко времени речи твои.

— Когда ж время приспеет? Уж точит корысть есаулов коих...

— Корысти храм не помеха. Попы сами жадностью хворы. И довольно, отстань!

Гореванов устало закрыл глаза. Отдохнуть чуток, и надо церковные дела с попом дотолковать. Прав отец

Тихон, церковь строить нужно. Частокол вокруг станицы — тоже. Всего два года, как стоит на сакмарском берегу вольная станица. За время краткое разве все успеешь? Господи, экой вечер выдался неладный, смутный: комендант заворовался, поп развоевался, а атаман... Атаман во всем укор себе видит. Того же дьякона взять — укор живой! Гореванов, казак неробкий и оружный, Фросю погубить страшился... Дьякон смиренный, крест один в защиту имея, бесстрашно Фросю от злодея собой заслонил... Так вправе ли казак Гореванов на себя атаманство принимать?.. Но ведь кто-то должен! Не умеешь молчать — умеи драться. И взявшись за гуж, не говори, что не дюж.

Очнулся, чье-то дыхание услыша.

— Прости, отец Тихон.

Но нет попа, ушел, оставя атамана с думами наедине. А на полу у двери Ахмет сидит ноги калачиком.

— Ахмет, разве я звал тебя?

Татарин вскочил, из-за пазухи скляницу вынул.

— Вина принес. Пей. Морда твоя шибко плохой стал. Пей маленько, хворь из башки уйдет.

— А в сердце останется. Пей сам, лекарь лошадиный.

— Не хошь? Ну айда в степь гулять. Сидеть худо, на коне скакать надо. Башка, сердце, брюхо — все здоровый будет.

— Седлай. Молодец ты, Ахмет.

Светлая ночь над степью. Звездочка в заре бессонной купается. Мчатся кони, едва касаясь копытами молодой травы. Не дай бог атаману душой ослабеть. А и чем не атаман, коли третий год живет вольная станица, искра справедливости среди беззакония российского. Эвон сколь широко степь запахана и засеяна. Дал бы бог лето доброе, и возрастут обильно хлеба сакмарские, наполнятся закрома... И приспееет время строить крепость, церковь. Прав отец Тихон, не хлебом единым города крепки.

И взросли осенью обильные хлеба. И сыта была вольная станица. Но...

1 ноября 1727 года Верховный тайный совет распорядился выслать на Сакмару военный отряд Казанского гарнизона и яицких казаков. Командиру отряда пред-

писывалось: «Беглых воротить в распоряжение управителя казенных заводов генерала де Геннина, который разослал бы их в разные слободы, где кто жил, и впредь смотреть за ними накрепко. Ивашку же Гореванова отослать к сибирскому губернатору под караулом и велеть по исследовании дела и за показанную его в Сакмаре противность учинить указ, чему он будет достоин».

Казанское воинство в поход выступило без промедления дорогами зимними, дабы станице беглой разгром учинить до лета, до травы молодой, пока у башкирцев кони голодны и худы, не то башкирцы, бунтовщики известные, кабы с Горевановым не стакнулись.

Горькой сиротою плачет над степью метель. Кое-где серая гривка сухой травы к белу снегу клонится, прегорестно припадает. Дороги замело, торить их некому. Пусто, уныло, боязно в зимней степи. Всякая живность хоронится в норы, притаилась, дремлет.

Человеку неймется, в тепле не сидится. По бездорожью сугробному, метелью укутанный, скачет калмык со стороны закатной. Либо башкирец с полуношной. Либо казак со стороны восходной. На Сакмару скачут, вести несут. Таки вести — не дай господь...

Калмык в станице не задержится, лишь есаулу торговому Овсянникову шепнет: идут-де во множестве на Сакмару люди воинские, пеши и конны, с пушками и обозами — и ўмчится в метель, в степь. Башкирец, с коня не слезая, стучит плетью в окно есаула Ахметки, упреждая: из Уфы драгуны идут! — нахлобучит малахай и прочь, прочь, не досталось бы в чужом пиру похмелье. Казак дозорный в избу к есаулу Порохову невестело входил: атаман Арапов яицких служилых посулами всколыхнул, на коня поднял, сотни их готовы на Сакмару кинуться.

Грозные вести с трех сторон. Встречай, станица вольная, незваных гостей со всех волостей. А угощать нечем: припасу воинского противу шайки бродячей отбиться довольно, от яицких сотен — с божьей помощью устоять, но царевы полки воевать не с руки. И ни острога, ни вала, ни рва. Соседям зла не причиняя, и от них напасти не чаяли. От заводов, дьяков, воевод, казалось, далеко ушли, не достанут. И лежала станица

Сакмарская посередь степи, ничем от беды не прикрытая.

Порохов навстречу беде рвался:

— Ужель за печью сидя, погибели дожидаться? Слухи ловим, надобно и самим на врага поглядеть. А как русский глазам не верит, то и пощупать, сколь он крепок. Вели, атаман, конной сотней выступить!

Репьев, обороне всей голова, с тем же в согласии:

— Для сражения генерального сил нету у нас. Посему надлежит стратегию вести комариную: кусать неприятеля на подступах дальних неожиданными наскоками. Осударь Петр Алексеич, бывалочка, под Азовом допрежь баталии...

— За царем вся держава стояла, за нами — бабы да ребятенки. Рисковать возможно ли? — Гореванов сомневался. — Прослыша, что мы конницу в налет послали, Арапов нагрянуть не преминет.

— Арапов себе на уме, до приходу казанских полков с места не тронется. Коль и нагрянет, устоит противу него мужицкая пехота. Дерзай, атаман, мешкать негоже.

Гореванов знал: не выстоять, обречены. И есаулы знали, хоть ни один про то не заикнулся. Да и народ станичный, обо всем ведая, не ждал добра. Лишь краешком надежды, коя в мужике русском неизбывна и в годину лютую, уповала вольная станица на разумность атамана своего да на чудо господне. Атаману хуже: в монастыре вырос, в чудеса не верует. Разум же без силы — витязь безоружный. Но с есаулами в одном согласный: покорно гибели ожидать не пристало.

— Ин с богом, Василий!

Увел Васька сотню конную на закат. И как сгинул. Ни слуху ни духу. Да отколь и слухам быть: боятся кочевники на Сакмару ехать, откочевали в урочища дальние. Добро, хоть Арапов в Яицком городке смирно сидит, своего часу выжидает.

Ахмет с десятком ссплеменников в сторону башкирскую рыскал: не видать ли, не слышать ли уфимских карателей? Но уфимский воевода поспешал осторожно, тоже подхода казанского воинства ждал. И трудно ему с обозами, с артиллерией идти по занесенной снегами степи.

Как-то в полдень — ветер утих, солнышко проглянуло, дали прояснились — углядел Ахмет верстах в двадцати

от станицы темное пятно на снегу белом. Будто таракан по праздничной скатерке ползет... Ближе подъехали — то лошадь с кибиткой.

— Кого шайтан несет? Купчишки ныне десятой дорогой Сакмару обходят. Не лазутчик ли уфимский?

Подсказали. Из кибитки малахай выглянул, под ним усы в куржаке.

— Кто таков? Куды путь?

Под усами зубы улыбкой.

— А, знакомый! Хвала аллаху! — собачья рукавица малахай приподняла. — Не узнаешь, казак? Касым я, из улуса бая Тахтарбая. В башанлыкской тюрьме сидел, твой атаман Гореван меня отпустил...

— Помню тебя, Касым. Каким ветром занесло так далеко от улуса? Или Тахтарбай сделал тебя купцом?

— Пусть сдохнет Тахтарбай, сын свиньи! Гляди, друг, — Касым сдернул малахай, сдвинул грязную тряпицу на голове — вместо правого уха — запекшаяся рана.

— Вах! Кому понадобилось твое ухо?

— Тахтарбай за провинности отрезал, сулил и башку отрубить. Я не стал того дожидаться, коня украл, кибитку украл у бая, ушел. К Горевану ушел.

— Недоброе ты время выбрал. Идет войско на нас цареву.

— Знаю, слышал. Гореван хорош, справедливый. Пусть лучше рядом с ним мою башку рубят, чем Тахтарбай...

— Айда, коли так. Кто в кибитке шевелится?

— Баба, малайка. Ничего, моя баба к седлу привычна, сын растет батыром, Горевану обузой не станут.

5

Держали совет: где неприятеля встретить боем, как малые свои силы расставить. Комендант Овсянников крайние избы земляными накидями скрыл, на въездах уличных поставил рогатки для заслона от конницы. Все, кто свычен ружейному бою, по местам определены, порохов роздан...

Ввалился в избу человек, в куржаке весь, в снегу. Башлык развязал.

— Васька, бес копченый, жив!! Уж видеть не чаяли! За двадцать-то ден мог бы гонца прислать!

— Двоих посылал, аль не дошли? Стало быть, веч-

ная память казакам, товарищам погинувшим...— Порохов бросил треух в угол, тулуп расстегнул, повалился на лавку. Он почернел, обморожен, щеки запали. В тепле отяжелел, голова устало клонилась.

— Сказывай, какво гулялось? Все ль, кроме гонцов, воротились?

— Осьмнадцать казаков под снегом лежат... Четверо сильно поранены. Вишь, гулянка-то с пляской была... Но и мы им пляс развеселый наладили под бубенцы серебряны!

Поднялся с трудом, к двери пошел.

— Васьк, ты не ранен?

— Э, безделка. Пуля вскользь по ребру погладила, а я щекотки боюсь, вот и ежусь.

У порога взял кожаную седельную суму, к столу принес — звякнула тяжко сума в столешницу.

— Трофей, знать-то? — потянулся Репьев к завязкам. — Ба, деньги!

Порохов тускло, без радости глядел, как солдат горстью загреб из сумы серебряные монеты.

— Кого пограбил? — строго спросил Гореванов.

— Трофей, солдат верно баял, — Васька тер воспаленные глаза грязными пальцами. — Вишь, господь милостив к нам был, погоду наслал самую воровскую — буран, конской гривы не разглядеть. Мы сторонкою, себя не оказывая, взад им зашли...

— В арьергард, — поправил Репьев.

— ...Наскоками хвосты им трепали. Выскочим из бурана, шум сотворим — и ищи-свищи. Да одна на обоз и натакались. Охрана не ждала нас. Покуда очухались драгуны, мы обоз погромили изрядно! У меня на деньги нюх, что у пса на мясо: возок под железом враз приметил, конвой саблями усмирили, офицера из пистоля. Железный ящик там взяли. Чайл, бумаги важные. После в степи замочек сняли топором, а там деньги...

— Сколь казаков оставил за те деньги? — спросил Гореванов.

— Девятерых недосчитались... Да что ж, бить их все едино надо, и за деньги, и даром, так лучше за деньги. Ох, братцы мои, какую силищу противу нас кинули! Убоялась царица Сакмарской станицы! Устрашилась паче ханства Крымского! Гордитесь, есаулы! Атаман, кличь сюды Фильку Соловарова, у него в Яицком городке родня завелась, пушай там потолкует хитро, он умеет.

За это вот серебро ихнюю старшину подкупить бы, чтоб яицкие противу нас не ходили. Ей-бо, Ивашка, дело говорю! Зови Фильку. Да чегой-то вы рожи воротите?

Репьев ответил:

— Филька до хитростей весьма повадлив. Семью загодя в Яицкий городок усла, а запрошлой ночью сам убег.

Порохов лицом потемнел еще больше. Тяжелое молчание нависло — над покойником будто.

Репьев серебро лямкой увязал, к атаману подвинул. Стал у Порохова распытывать, каково неприятельских региментов устроение, сколь их числом наприклад может быть, артиллерия какая, когда на Сакмару ждать. От вялых Васькиных ответов надежды, какие были, напрочь рушились.

Принялись было сызнава решать, какой заслон от ядер, от ружейного боя воздвигнуть можно. Поднялся тут молчун Овсянников:

— Дозвольте, есаулы, мне сказать.

Говорил он столь редко, что и голос его забывали.

Вздыхнул всей широкой грудью, окстился, словно в крещенску прорубь нырять вознамерился. И ушиб есаулов тихим басом:

— Станицу без боя сдать надо.

Кто-то крикнул удивленно.

— Сдать,— припечатал Ермил.— Ино крови прольем реки, а конец все един. Сила и солому ломит. Сажай, атаман, на конь всех, кто усидеть может, и уводи отсель. Мы, мужики, да бабы, да ребятенки останемся на милость божью. Пуля, ядро, они не разбирают, казак аль девка, мужик аль младенец. Кнут хошь младенцев не тронет, а нам не привыкать стать. Выпорют да на заводы возвернут. Бедко, обидно, да иного пути нету.

Дума такая не у Ермила одного на уме вертелась. Но молчун Ермил выложил ее словами основательными, он все делал основательно, по совести.

Репьев мундир обветшалый одернул, пригладил редкие волосы.

— Диспозиция такова, что викторию одержать нету нам никакой возможности. Ретирады ж сам осударь Петр Алексеич претерпел не единожды, кхе...

Гореванов нашел взглядом отца Тихона, он в уголке сутулился зябко.

— Что скажешь, отче?

— Молю владыку Всевышнего и к тебе, атаман, слезно припадаю: да не прольется кровь невинная, напрасная. Отыди днесь и уведи избранных тобою, яко пророк Моисей увел люди своя из земли фараоновой. Уведи от Голгофы, иже уготована! Аз же грешный молиться буду за спасение ваше, покуда жив...

— Сам ты здесь не мыслишь остаться ли?

— Достойно ли покинуть в день черный паству свою? Кто ино ободрит дух страждущий?

— Тебе, пастырю беглых, первый кнут уготован.

— Все в руце божьей, на его милость уповаю.

— Добро, еще потолкую с тобой. Василий, что скажешь?

Стомленный теплом, Порохов спал сидя, к стене приляжась. Топорщилась все еще мокрая от талого снега борода, брови и во сне озабоченно сомкнуты на переносье.

— Пущай отоспится,— вполголоса сказал Гореванов.— Ступайте, есаулы.

Поднялись. Но не уходили. Репьев за всех спросил:

— Пошто свои мысли прячешь? Казаков да солдат увести согласен ли?

На отца Тихона кивнул:

— Слыхали? Поп остается, а атаману бежать? Кто уходить намерился, удерживать тех не буду, смертей напрасных сам не хочу.

— Не дело говоришь,— Овсянников головой покачал.

— Ступайте.

Уходили чередой понурой. От двери по полу стлался холодный пар.

— Ахмет, извиняй, брат, забыл тебя-то спросить...

— Пошто спрашивать? Ты пошел— Ахмет пошел. Ты остался— Ахмет остался. Ивашка, опять морда худая, вина принесть?

— Морде моей, Ахмет, при таких делах вина не напасешься. Иди. Тебе чего, отец Тихон?

Поп, на спящего Порохова косясь, зашептал горячо:

— Христом богом прошу, возьми с собою супругу мою... Сбереги агницу кроткую!

— А вот ты и будь казакам замест пророка Моисея, вкупе с Репьевым их ведите, и Фрося при тебе. Я ж— один. Смерть мне во благо, ибо мертвые срама не имут...

Отец Тихон остановил атамана, на чело ему ладонь поклав.

— Атаман, размысли здраво. Знаю, готов ты на муки за люди своя. Но умерь гордыню, раб божий. Иное мужество надобно днесь — мужество с собою совладать и уйти. Есаулы к уходу зовут не ради жизни твоей — дабы дело не умерло. Придут в станицу полки государевы, каково будет людям глядеть на казнь твою? Видя в твоём лице справедливости поругание, надломятся душою. Казаки ж, кои прочь изыдут, без атамана разбредутся, переиманы будут. С тобою же во главе да воздвигнут нов град крепок, со храмом господним, прибежище всем страждущим! И того ради жизнь твоя нужна, но не гибель мученическа. Молись, раб божий! — поп широко перекрестился на образ Спаса. — Молитвою успокоится мятежный дух, сомнения отринет. Да вразумит тебя всеблагий, да упасет от помысла и действия ложного! Оставляю тебя с богом и совестью твоей наедине.

Благословил троекратно, шубенку на плечи воздел охабнем, удалился в холодный туман дверей, словно в облако.

6

Студеный ветер тучи разогнал и утих к утру. Чистая и морозная вставала над снегами заря.

Атаман собрал старшину.

— Уходим, есаулы. В сторону сибирскую, в леса необжитые. Доведите всем жителям: кто силу в себе чает от темна до темна в седле быть, ночевать в сугробе, всяки лишенья терпеть — пушай идут с нами. Табун станичный врагам не оставим, каждый запасного коня возьмет. Обоз нам — обуза, в седельные сумы покласть одежду да харч. Оружие чтоб в исправности! Ермил, порох и свинец раздай людям ружейным, а что останется, в переметны сумы, оберегай в дороге...

— Я тута останусь.

— Не можно того, Ермил. Сказнят они есаула.

— В есаулах я ходил без году неделя, авось до смерти не запорют. Уйти же не мочно: пахарь я, не казак. Да и не один теперь: ден с пятнадцать тому повенчал нас поп Тихон со вдовою крестьянскою, а ейные ребятенки малы, слабеньки... Останусь я.

Порохов горько усмехнулся:

— Хмелен будет тебе медовый месяц. С лаской и таской.

— Надольше запомнится. Ништо, мужику к батогу не привыкать.

— Известно, за озорство платит богатый казною, а бедный спиною...

Гореванов нагнулся, вытащил из-под стола седельную суму, Пороховым привезенную.

— Возьми, Ермил. Деньга — не бог, а бережет да милует. Схорони подале, пригодится народу станичному.

— В дороге вам серебро нелишне.

Порохов хлопнул Ермила по сермяжной спине.

— У нас, брат, сабли дороже золота, добудем и серебро либо царствие небесное. Однако черти-то уж близко, этак и в царствие небесное не поспеем. А тама ежели удумали, то сей же день и собираться надо.

— Не востришь.— Репьев урезонил.— Осударь Петр Лексеич говаривал: поспешность-де потребная токмо блох ловить.

— Оно так, да и мешканьем беды не избудешь, а новые добудешь. Лазутчики наши доводят, что казанские драгуны через два дни на Сакмаре быть должны. Яицкие кони под седлом стояли. Неча годить, надо уходить. Уфимские, чай, тож на подходе.

Ахмет усмехнулся:

— Уфимцы далеко. Башкир шибко боятся, тихо едут.

— И слава богу. Они тише едут, мы дальше будем. Однако завтра нам — крайнее время.

Бабы не выли — молчком слезы лили. Мужики, хоть мороз лют, шапки снимали. Отец Тихон молитву напутственную сотворил вдохновенно. Супруга его Евфросинья свет Кузьмовна с другими бабами поодаль стояла, и атаман с трудом заставил себя не глядеть в ее сторону. Укором маялся: во второй раз Фросю в бедах оставляет — стыд вечный казаку Гореванову...

Ермил Овсянников уходящим поклонился в пояс.

— Исполать вам, атаман с есаулами, что роздых нам был, что воли мужик понюхал сладкой. Прощайте, дай вам бог удачи.

А атаман ему, потом народу на четыре стороны поклонился:

Не поминайте лихом, люди. Коль живы будем, весть дадим.

— Храни тя бог, атаман,— отвечали ему.— Сыщешь место укромно да пашенно, не забудь!

Впереди Порохов плетью взмахнул, свистнул. Двинулись всадники. Запричитали бабьи голоса...

На выезде рогатины вострые по сторонам раскиданы — ненадобны стали. Свободна дорога, манит в сторону восточную, под снегом видна еле, давно по ней не езживали. Прости-прощай, вольная станица...

Чисто небо, да короток зимний день. За спиною заря еще теплится, а впереди в морозном тумане сумерки уж грядут. И слава богу: дозоры яицкие во тьме миновать бы, исход свой не оказать, хотя бы на день отдалить разгром покинутой станицы. В степи мороз, на сердце холод...

Гореванов с вьючным конем в поводу отъехал в сторону, обочь встал. Оглянулся. Ни огонька. Темна станица в наплывающих сумерках печалится. Двигутся конники чередой молчаливой, ровно на похоронах. Без малого полторы сотни. Казаки, солдаты, мужики. В одеждах овчинных, в шапках казачьих, в малахаях. Кой-где бабьи полушалки из козьей шерсти — рискованные в путь отважились.

Впереди Васька Порохов, ему здешняя округа ведома, вдоль и поперек изъезжена, ему в яицких землях вожем быть. За Пороховым ведет Репьев солдат да мужиков. Эти к седлу менее привычны, им в середине идти. Позади Ахмет с татарами и башкирцами, для обережи, чтоб вороги сзади не ударили. Дойдут до земель башкирских, тогда Ахмет с Васькой местами поменяются, башкирец Касым вожем станет.

Гореванов подозвал Ахмета.

— Возьми своих десятков али сколь пригоже будет. Скачи, друг, наоборот в станицу, вези попа с женою. Вовек себе не прощу, коль замордуют их! И помилуют, на Башанлык воротят — комендант не простит... Гони, Ахмет! Упрется поп — силком вези! Ночь без снега сулит быть, по следу нас догонишь.

Малахай у Ахмета богатый, байский малахай. Сам осенью тупой стрелой лисиц бил, сам шил, сам носит теперь, гордится. Со спины мех едва не до пояса, с лица до бровей. Сверкнул улыбкой, крикнул своим — унеслась ватажка.

Шли ходко: лошади загодя вдоволь кормлены, телег мешкотных нету. В ночи крадучись, обтекали сонные острожки, собак не баламутя. Арапов-атаман хоть и держал коней под седлом, казаков под ружьем, а малые дороги заставами перекрыть не беспокоился: никуды, мол, не денется голь перекатная, от казанских полков сама побежит к яцким курениям — имай да вяжи, государыне служи.

Остановились на дневку подле кошар летних. Тут на рассвете догнал Ахмет. Гореванов с самой полуночи оглядывался, тревожился, их поджидая, и, увидя, просиял: у одного из татар булан жеребец в поводу, а в седле тулуп горой, а из него Фроси лицо... Но с какого угару Ахмет по морозу в тубетейке летней щеголяет? Не поранен ли? Ахнул Гореванов: на другом коне отец Тихон в малахае Ахметовом и весь арканом, ровно тюк, обвязан...

— Ахмет, спятил?! Пошто его повязал?

— Не уберег бы. Шибко сердит поп, ехать не хотел, крестом по башке бил.

Отец Тихон негодовал:

— Грех тебе, атаман! Налетели в ночи аки демоны сатанинские!.. Развяжи, отпусти к пастве моей покинутой!

Гореванов аркан распутывал, уговаривал:

— Я-то развяжу, а драгуны повязали бы — развязывать некому. Не серчай, лицу духовному смирение по-добает.

— Смирение челоуеков не бескрайне есть,— успел только Гореванов освободить попа от уз, как тот на Ахмета кулак воздел в сердцах. Но опомнился и — руки в рукава.— Господи, не введи мя во искушение... Не ведают бо, что творят. А на твоей, атаман, душе грех святотатственный!

— Жив буду — отмолю с твоею помощью. Фрося... Евфросинья Кузьмовна, изволь с коня сойти, ножки поразмять. Не озябла?

Командир казанского отряда весьма обескуражен был, на Сакмаре воинские силы не найдя: противу кого тут воевать?

— Наладили в поход, будто на короля шведского, тыщи верст артиллерию тянули! Ай да военная кампа-

ния — из пушки по воробью. Геннин с Араповым противу бродяжек лапотных сладить не умеют! Заелись, в тепле посиживают, а мы по стуже, по снегам... Тьфу!

Излив досаду руганью, велел учинить беглым дознание. Мужики единодушно винулись: в бегство дерзнули по наущению казака Ивашки, а Ивашка тот убег, а куды, того не ведают. После быстротечного дознания учинили мужикам, как завсегда оно водится, битье вразумительное, дабы впредь от заводов утекать и тем казну убыточить неповадно было. Однако пороли без лютости, сам генерал Геннин в письме о том радел, ибо до смерти мужика засекать — тоже, стало быть, казне ущерб, понеже мужик-то казенный, государственный. Работники надобны на заводах, а не в царствии небесном.

За самозванным атаманом, вором, крамольником Ивашкой Горевановым со товарищи посылана сотня казаков яицких под началом войскового атамана самого. А понеже казаки сии и сами вору известные, и веры им от казанского начальства нету некоторой, то за ними приглядывать шел эскадрон драгунский. Но поиск тот вышел бестолков: растаял Ивашка Гореванов со товарищи в степных просторах, и след их метели замели.

Но шептались по улусам бедняки байгуши: видели будто в оттепель, в туманной завесе ватажку горевановскую, слышали топот конский... И худо спалось по ночам башкирским баям.

По заводам слух: пограблен обоз провиантский — не атамана ли Гореванова озорство? И управители заводов отменяли правожные экзекуции: негоже народ злить — Гореванов близко.

Текло время. На берегу Сакмары зарастало травую пепелище порушенной станицы. Но память о вольной Сакмаре и атамане Гореванове былѐм не поросла. Потому, может быть, что людишки черные все так же бежали с заводов в дали неведомые: пойдешь по белу свету, коль дома житья нету. И верили заводские окраины, приострожные выселки, деревеньки обнищальные: где-то в местах отдаленных, в урочищах потаенных основал атаман честной Гореванов новую станицу, вокруг нее стены неприступны, а посредине храм белокаменный, а пашни окрест хлебородны, и живут мужики в сытости, правит ими атаман по справедливости. А уж правда то, вымысел ли утешительный, бог знает...

Волк



Александр Кириллович Сарычев, управитель Усть-Лагвинского завода, верхом на гнедом своем жеребце Цезаре в сопровождении урядника возвращался с прииска Золотникового. Окрестные прииска временно находились под его управлением, а на Золотниковом теперь приходилось бывать особенно часто, так как работы на нем только начинались.

На этот раз поездка не входила в расчеты Сарычева, была неприятной и нежелательной, хотя и необходимой. То, что произошло на приiske, конечно, нельзя было назвать бунтом. Просто старатели бросили работу и зашумели, требуя сносного жилья, харчей и, главное, убрать приказчика Пантюхина. Народ на Золотниковом все больше пришлый, балованный. Свои, местные, бывшие демидовские крепостные, получившие пять лет назад волю, те шуметь не решились бы. Сарычев и сам знал, что приказчик Пантюхин — большой прохвост. И рабочих обсчитывает и ворует всевозможными способами. Но работник он дельный, умелый и так ловко умеет, подлец, сводить концы с концами, что на любой вопрос у него всегда готов любой ответ, какой только желателен допрашивающему. И на этот раз он все толково объяснил своим кротким, тихим тенорком, предъявил ведомости, приходно-расходные книги и даже слегка прослезился, рассказывая о своих обидах на приiske. Что говорили рабочие, Александр Кириллович не дослушал. Велел арестовать четверых зачинщиков, названных стражником и тем же приказчиком, и уехал.

Когда Сарычев садился на коня, приказчик с глубоким поклоном, подняв руку выше своей блестящей, точно коровьим маслом смазанной, лысины, протянул ему маленький сверток в чистом холщовом платке.

— Дозвольте великодушно поздравить ваше благородье с днем ангела. На счастье-с!

Александр Кириллович развернул, глянул. Это был золотой самородок, пожалуй, с полфунта весом, формой напоминавший лошадиную голову.

— Гм, спасибо,— Сарычев доброжелательно посмот-

рел на приказчика.— Ох и шельма ты, Пантюхин. Ну, гляди у меня! Чтоб все тут было в порядке! —

И, не дослушав заверений приказчика, тронул коня.

Сарычев спешил. Действительно, сегодня его именины, а тут эта досадная чепуха на приiske. Часа через два, наверное, уже начнут съезжаться гости: исправник, священник, доктор, чины заводской администрации — все «светское общество» небольшого горнозаводского поселка. Словом, к вечеру надо быть дома.

Арестованных в телеге под конвоем стражников повезли трактом. Сарычев же решил ехать кратчайшим путем, по узкой лесной тропе — так до завода всего верст пятнадцать. Уряднику это не понравилось, но он смолчал и за прииском послушно свернул с тракта вслед за управителем. Тропу Сарычев знал хорошо, не первую осень ходил сюда охотиться.

Было часов около четырех пополудни. Напористо грело апрельское солнце. Весь март держался холодным и снежным, а тут с неделю стояли добрые деньки. Густой ельник млел в запахах нагретых хвой и талой земли. В чащобах еще лежал серый, в тонком кружеве льдинок, снег, а на горных полянах было сухо, и уже что-то такое пыталось зеленеть. В распадках под копытами хлюпала вода, хотя настоящие, летние, болотины должны встретиться дальше, у самой реки.

Первая такая болотина попалась, когда проехали верст семь. Тощие, захудалые елочки и сосенки росли здесь редко, пахло сыростью, вода захлюпала громче, чмокая. Цезарь всхрапнул брезгливо и пошел осторожно.

— Ну, ты! Чего оробел! — Александр Кириллович нетерпеливо дернул уздечку, направляя коня на узкую, подгнившую гать. Мокрые жерди прогибались, конь фыркал и вздрагивал. Урядник остановился, пережидая, пока проедет барин.

«Надо будет приказать, чтоб перестлали», — подумал Сарычев.

Вдруг седло под ним покачнулось, осело, конь рванулся, заскользил копытами на месте, забился. Потом замер и простонал коротко и жалобно. Александр Кириллович сполз с седла в холодную болотную жижу. Левая задняя нога Цезаря глубоко ушла в щель настила. На мокрой темной шерсти розовела, наливаясь кровью, большая рана.

Урядник тоже спрыгнул с коня и поспешил к барину. Причмокнул, крутнул бородой и сказал:

— Конь боле не ходок, однако. Дай бог, барин, ежели только вывих. Кабы не сломана она, нога-то. Не трожьте, ваше благородие, я счас...

Он принес сухую еловую валежину, вставил между жердями, нажал. Щель раздалась.

— Выводите, барин, легонечко. Н-но, родимый, н-но, помаленьку! Вы, барин, назад его, назад... Ишшо разок. Во-от так.

Он ловко подхватил окровавленную ногу и поставил на жерди. Вдвоем они свели дрожащего, спотыкающегося коня на берег. Урядник, цокая языком, осмотрел, ощупал ногу Цезаря, вынул из папахи желтый, застиранный платок и перевязал рану.

— Не сломал, надо быть. Свихнул только. Что ж, ваше благородье, не судьба, видно, по этой тропе. Садитесь-ка на моего конька, да в обрат вертаться надо.

Сарычев сплюнул со злостью и взобрался на урядникова коня.

— Ты вот что,— сказал он, подумав.— Веди Цезаря на прииск. Смотри, осторожно веди, понял?

— Да рази мы не понимаем, вашбродь! Такой конь! Одна порода, можно сказать!

— То-то же. А я поеду дальше.

— Ой, барин, не надо бы! Мало ли в лесу кто встретится. Может, и недобрый кто. Опять же лед на реке ненадежен — эвон как припекает. Конь-то ваш, барин... Одно слово — примета плохая.

В словах урядника был, конечно, резон. Но Александр Кириллович представил себе холостяцкую, но хорошо, уютно обжитую свою квартиру в полукаменном обширном доме. Сейчас там именинная суета. Повар-армянин, щелкая языком и чмокая губами, колдует на кухне. Полненькая мягкая домоуправительница Фенечка шумит на него, шпыняет горничную и самолично пробует соусы, точно целуя ложку пухлыми вкусными губками...

Сарычев вынул часы. Было без четверти пять.

— Пустяки, ничего со мной не станется. Полдороги проехали, не стоит возвращаться. Ну, с богом. Береги коня.

— Бог с вами, барин. А только не надо бы...

Не слушая Сарычев поехал к гати. Привычный ко

всяким дорогам конек легко перешел настил, и скоро лес, опять погустевший, скрыл болотину и глядевшего вслед урядника.

Миновав еще несколько таких распадков, Александр Кириллович благополучно доехал до реки. Лагва здесь не широка, сажен восемь всего, но из-за глубины и быстроты течения летом верховые переезжали ее вброд в версте ниже по течению. Сейчас еще держался на реке ноздреватый, рыхлый лед, с виду обманно прочный, а от берегов по льду уже разлилась вода. Сарычев осмотрелся, подумал и направил коня напрямик. Низенький лохматый конек покорно ступил на лед и пошел, осторожно ставя копыта. Лед тревожно потрескивал. Сарычев спешился и повел коня в поводу.

Берег был совсем рядом, когда река глухо ухнула, лед под ним просел, ломаясь, хлынула, приняла, потянула темная вода... Он упал грудью на край, но льдина обломилась, перевернулась, погрузила с головой в жутко холодную воду. Сарычев вынырнул, хватаясь за шею бьющегося коня, но рука судорожно скользнула по мокрой шерсти. Александр Кириллович отчаянно закричал, но вода залила, заглушила крик, свела судорогой тело. Больше он ничего не помнил...

2

...Была только тихая песня. Слов не было, только плавный, легкий мотив. Потом в песню вплеся запах сухих трав... Александр Кириллович медленно открыл глаза.

Тесная, низенькая изба. Стены из неструганых бревен. Застекленное оконце под самым потолком, и за ним оранжевые солнечные стволы сосен. Дверь раскрыта, и за ней тоже сосны. У двери на колышке, вбитом в стену, висела его кожаная охотничья куртка. В углу на чурбаке стояла деревянная бадейка. Все виделось четко, ясно, кругом был удивительный покой. И над всем звучала тихая, ласковая песня. Она казалась приятной, успокаивающей, словно это пели сосны. Александр Кириллович глубоко вздохнул и пошевелился. Песня оборвалась.

Над ним склонился человек. Немолодое мужицкое, чуть тронутое оспинами лицо его с темно-русыми, слегка вьющимися волосами и бородой было красиво, серые

глаза смотрели умно и внимательно. Сарычеву показалось, что это лицо он уже видел когда-то, может быть, вчера, может, в детстве.

— Здравствуй, барин,— спокойно и просто сказал человек.

— Ты кто? — спросил Сарычев. Во всем теле он чувствовал великую слабость, не хотелось даже говорить. Но пробуждающееся сознание требовало ясности, определенности своего положения.

— Гурьяном меня зовут, Гурьяном. Как ты, оклемался маленько? Ништо, бог даст, встанешь скоро.

— Что со мною было?

— Из реки я тебя достал, барин. А ежели подумать, так с того свету. Какую тебе был бы. Вот лошадку твою вызволить не смог, погибла лошадка. Тебя, должно, льдиною пришибло, девять ден в беспамятстве был. Думал, уж не отудобеешь. Да теперь ништо, встанешь.

«Где я его видел?» — старался вспомнить Сарычев. Почему-то в памяти эта тронутая легкой сединой борода и серые глаза перемешивались с запахом травы и терпким вкусом на языке. В самом деле, мужик поднес к его губам глиняную чашку, и жесткая ладонь подсунулась под шею.

— Вот испей-ка, барин.

Сарычев с удовольствием глотнул пряный, сладковатый отвар, пахнувший медом.

— А теперь спать надо,— Гурьян опустил его голову на сенное изголовье и отошел.

«Нет, я его где-то видел», — опять подумал Александр Кириллович. Но вспоминать, думать не хотелось. От сосновых стволов, от тихого лесного шума шла хорошая, ласковая дрема. Сарычев уснул.

Должно быть, спал он долго. Проснувшись, почувствовал себя освеженным и бодрым, хотел встать, но только приподнялся, как по телу опять разлилась противная слабость, стены и окно качнулись, поплыли. Сарычев со стоном лег.

Открылась дверь, и вошел Гурьян.

— Хорошо ты спал, барин,— сказал он, ставя на чурбак бадейку с водой.— Уснул вчера о полдень, а теперича утро. Ну, как можется?

— Хорошо. Слабость только.

— Был бы жив, а сила наберется — молодой еще. Сколь тебе годков-то?

— Тридцать четыре... Ты тут живешь?

— Ага, земляночка это моя. Ты лежи, рано тебе вставать. Лежи, сейчас есть будем, вот только ушица на костре доварится. Ха-арошая ушица, из харьюза. Пока вот отвару испей.

Он шагнул к полке в углу, под маленькой темной иконкой.

— Послушай, э-э... Гурьян. Почему ты не отвез меня домой?

— Куды ж тебя везти, хворого-то? Лихоманка у тебя была, весь горел, ровно печка.

— Но ты сообщил в Усть-Лагву, что со мной несчастье?

— Нет.

— Как — нет?! Почему?

— Ты лежи, лежи, барин. А в Усть-Лагву мне ходу нету. Мы ведь с тобой хотя и незнакомые, а встречаться доводилось. Али не признал меня?

Он вдруг обернулся и глянул в упор, пытливо и требовательно.

И Сарычев вспомнил.

Было это прошлым летом. Александр Кириллович ехал в коляске с завода домой. У волостного правления он увидел толпу — провожали троих рекрутов из заводских, которых он сам же приказал забрить в солдаты за неблагонадежность и дерзкое поведение. Рекруты сидели в телеге, и стражник-возница уже взял вожжи. Телегу окружали человек десять конных стражников, отодвигая и тесня толпу провожающих. Рекруты сняли шапки и закрестились на колокольню заводской церкви, заплакали, запричитали бабы.

Коляска уже миновала толпу, когда позади послышался отчаянный женский вопль. И разом загудела толпа. Сарычев оглянулся. Простоволосая молодая баба, должно быть чья-то из рекрутов жена, рвалась к телеге, и один из стражников, ухватив ее за руку, наотмашь стегал нагайкой по плечам, по спине. Белая холщовая кофта разорвалась на плече, обнажив смуглое тело, на котором уже налились багровые полосы от нагайки. А она все кричала и тянулась к телеге. Двое других стражников держали за руки ее мужа-рекрута.

Кучер Сарычева остановил коней. Александр Кириллович хотел крикнуть, чтобы скорей отправляли подводу, а бабу пока заперли куда-нибудь. Но тут из толпы

выскочил плечистый мужик в синей рубаше, ловко ухватил руку стражника, вырвал нагайку, а самого стащил с коня. Баба, сразу смолкнув, кинулась к мужу, приникла. А на синюю рубашу навалилось четверо стражников.

— Пошел! — крикнул Сарычев кучеру.

Но ропот толпы покрыл резкий крик:

— Барин!

Мужик в располосованной синей рубаше стоял с заломленными за спину руками, отодвигая плечами стражников. Серые глаза глядели на Сарычева пытливо и требовательно.

— Барин! За что вяжут?! Она же, баба-то, брюхата, а ее нагайкой! Нешто можно! Заступись за нас, барин!

— Молчать! — рявкнул подоспевший урядник. — Вашбродь, ето бродяжка беглый, Гурьяшка Волк, смутьянщик. На властей предержащих руку поднял, с-стервец!

Сарычев недовольно бросил уряднику:

— Ты что, порядок навести не можешь? В камеру его, заковать! Да пошел ты, ч-черт!

Кучер хлестнул коней.

Спустя неделю Сарычев, проезжая с исправником мимо волостного правления, припомнил эту историю и спросил, что с тем мужиком. Исправник неохотно ответил:

— Выпороть не успели, вывели на допрос, он конвойного в зубы и — бежал. Да от меня не уйдешь. Когда Лагву переплывал, пристрелили. Утонул, мерзавец...

...Сарычев закрыл глаза и сказал сквозь зубы:

— Тебя Волком кличут?

— А, признал! Вот то-то же. Ждут меня в Усть-Лагве цепи да плети, а я их не заслужил. Не виноват я перед собой и перед людьми. Закон неправый в тайгу меня загнал, только и здесь я — человек. Хотя и прозываюсь Волком. Так-то, барин.

Он замолчал и отвернулся к окну. Там меж сосен стлался утренний туман и слышались птичьи голоса.

«Так я в... плену?! — Сарычеву стало горько и стыдно своей беспомощности. — Господи, что же это!»

Он ощупал глазами свою висевшую у двери куртку. В кармане он всегда носил маленький бельгийский пистолет...

— Не вставай, барин, пистолы твоей там нету,— не оборачиваясь сказал Гурьян.

— Чего ж тебе от меня надо? — теряя выдержку, резко спросил Сарычев.

— Чего ж от тебя, хворого, возьмешь? Лежи себе. Оздоровлявай.

Источенные болезнью нервы сдали. Александр Кириллович рванулся, сбросил укрывший его армяк и закричал:

— Ты! Мужик! Как ты смеешь держать меня здесь?! Что задумал ты, варнак. Мстить хочешь?! Все равно не минуешь кнута да решетки! Запорю насмерть! О-о!..

Опять все поплыло в глазах, Сарычев повалился с узеньких нар прямо на руки Гурьяну.

— Ты тихо, барин,— строго сказал Гурьян, укладывая его.— Тихо. Нельзя тебе. И ругаться не надо. Криком что докажешь? Ложись, испей.

Он поднес чашку с отваром. Александр Кириллович судорожно вздохнул и покорно выпил. Потом повернулся на бок и, все еще вздрагивая, смотрел в оконце. От солнечных ли искр, играющих в росе, от слов ли Гурьяна стало легче. Гурьян вышел и скоро вернулся, неся деревянную миску с горячей ухой. Землянка сразу наполнилась чудесным запахом.

— Вот, поешь,— Гурьян поставил миску на край нар и положил в нее деревянную большую ложку.— На-ко-ся вот сухарика. Хлеба-то у нас нету.

Сарычев взял. Хлебнул, ожегся. Дуя в ложку и причмокивая, жадно ел неизъяснимо вкусное варево, приятно пахнущее костровым дымком. Доел, облизал ложку, посмотрел на Гурьяна. Тот покачал головой:

— Хватит на первый раз. Потерпи маленько. Погодя еще налью.

И опять прихлынула к сердцу злость — на хозяйскую спокойность, на право этого мужика что-то давать или не давать ему, управляющему Сарычеву. Но Александр Кириллович сдержался, промолчал, только сжал презрительно тонкие бледные губы и откинулся на сеник. Стараясь не унизиться до стога, переждал головокружение. Справился со слабостью, поднял веки. Гурьян выходил из избы, в дверях оглянулся. Сарычев поспешно зажмурился: «Куда он? Бросает меня?»

— Гурьян!

Холодом облило Александра Кирилловича — из свет-

лой рамки дверей глядела на него серая морда зверя.
«Волк! Господи, что это!!»

Нет, в проеме двери улыбались и пели сосны. Никакого волка не было.

«Но я видел! Господи, что он — оборотень?! — Сарычев несколько раз перекрестился дрожащей рукой. — Ах, какой вздор! Слабость, болезнь, бред... Он не уйдет, мужик этот. Нет, не уйдет... Я сплю? Да-да... Фенечка, принеси подушку...»

Сон погасил сосны.

3

Потекли дни выздоровления. Вставать и даже сидеть долго Александр Кириллович не мог — одолевала слабость, кружилась голова. Гурьян по-прежнему терпеливо ухаживал за ним, поил его отварами и настоями из трав, кормил ухой и вареной дичью, диким медом. Иногда он уходил на охоту, ставить силки на птицу и зайца. Случалось, приносил хлеб — должно быть, захаживал в деревню. В остальное время сидел на коротком сосновом чурбаке рядом с нарами или, если Сарычев спал, у входа в землянку и, тихонько напевая мягким баритоном, плел корзины и берестяные бураки. Иногда они говорили об охоте, о звериных повадках, о травах, о рыбалке. Про встречу у волостного правления не вспоминали.

Оставаясь один, Александр Кириллович думал о своем положении. Великодушие бродяги его злило. Он пытался поставить себя на его место и честно признавался себе, что вряд ли бы у него, Сарычева, хватило великодушия так ухаживать за своим врагом. Он понимал, что это не слепая покорность мужика барину и не попытка выслужить прощение и место. На христианское смирение тоже не походило. Тогда что же? И что будет дальше? Гурьян спокоен, значит, найти землянку нелегко. Если Сарычева и искали, то теперь бросили: скоро месяц, как он исчез, и все, вероятно, его считают утонувшим в Лагве. Оставалось одно: ждать и набираться сил, чтобы потом при первом удобном случае бежать, если уж так и не удастся прибрать к рукам Гурьяна.

По мере того как силы возвращались к Сарычеву, разговоры их становились разнообразнее. Говорили о жизни, о людях. Однажды Сарычев спросил:

— Ты что же, старообрядец? Икона висит, а не видно, чтоб ты молился.

— Пошто старообрядец? Кержаки, они в своей вере заматерели, их ни в какую сторону не сдвинешь. Замкнулись, никому, кроме бога, не верят, а сами бога втихомолку обманывают. Негоже так-то.

— А ты кому веришь?

Гурьян смущенно улынулся.

— Битый я, барин, сколь раз битый и ученый. А людям все ж верю. Все ж хорошие они, люди-то. Кабы не глупость великая да кабы жизнь не мытарил, краше человека ничего б на свете не было. Все он может, все постигнет, любую науку разберет. Только себя не знает. Силы своей настоящей не ведает. И потому слаб. От слабости этой горе и злоба на земле.

— Выходит, и могуч человек, и слаб?

— Вот! Справедливо сказал, барин! Ежели бы ты чуял себя человеком в полной силе, разве бы ты обижал работных мужиков?

— Я спрашиваю, почему не молишься ты,— недовольно оборвал Сарычев.— Людям веришь, а богу как же?

— Без бога нам, мужикам, нельзя. Никак нельзя. Иначе мужик и тебя, барин, изничтожит да, пожалуй, и себе башку расшибет. Вера нам — как коню вожжи, иначе завернет не туда и жить невтерпеж будет. А молиться — что ж... Попы вон всю жизнь молятся, а иной, ей-богу, грешнее меня. Бога в себе иметь надо.

Александр Кириллович учился в университете, хорошо разбирался в горнозаводском деле, заводом управлял умело, как считали владельцы. Но теперь в разговоре с этим мужиком он часто не находил ответа и оттого сердился и на Гурьяна, и на себя.

— Ты грамотный? — спросил он.

— Прозванье свое написать умею... А боле не довелось. По земле же много прошел и разных людей повидал. Умные встречались люди и хорошие. Только не везет им в жизни нашей...

— Как же так — умные, а не везет?

— Эх, барин! Хоть ты семи пядей во лбу, а с десятками дураков один не сладишь. Потому они по дурости прут напролом. Ты к ним — с совестью, а они тебя — подлостью... Вишь как!

Прошла еще неделя. Отвары и настои подняли Сарычева с нар. В хорошую погоду он выходил теперь из землянки, опираясь на палку.

В лесу расцветал июнь, на крохотной поляне крепко и целебно пахло разнотравьем и немного болотом. Высокие корабельные сосны стояли густо, одна к другой, а за ними в глубине виднелся непроходимый ельник. Сарычев ложился на пихтовые ветви у костра так, чтобы дым отгонял комаров, и смотрел в синее небо. От лесных запахов и теней, от тихого шелеста в кронах сосен шла прозрачная колдовская дрема. Словно поляна и землянка только снились ему, были ненастоящими. А может быть, наоборот — ненастоящим было все прошлое: университет, завод с его постоянным лязгом и гулом, домоуправительница Фенечка. И была всегда только эта поляна. Сарычев засыпал бездумным мирным, здоровым сном.

Гурьян постоянно был при деле. Ходил на рыбалку или проверять силки, готовил еду, прибирал и без того опрятную свою землянку. Когда садился к дымокуру плести корзины, они беседовали.

— Ты, я слышал, беглый? — спросил как-то Сарычев.

— Было дело, ушел из острога. Хорошо ушел, карательные шороха не почуяли.

— А в острог за что?

Гурьян глянул быстро на Сарычева, усмехнулся и снова принялся за лозу.

— Многое было, барин... Быль молодцу не укор, да рассказывать я тебе не стану. Одно знаю крепко — на мне вины нет. Перед миром крестьянским неповинен я. А что перед законом бунтарем зовусь, так закон ваш, барин, всегда ли правдой живет? Я все ее искал, правду, как разумение мое на то было. Не нашел, однако. Видно, не так ее добываю, правду-то... В каторгу вот пошел за речи крамольные противу книжных законов да вот той самой нагайки. Ну, каторга что! На плаху пошел бы без дрожи, потому совесть моя чиста.

— У тебя семья осталась?

— Как же! Женка, сыновей двое. Когда ушел я из Сибири, дома побывал, пособил им чем мог. Однако жить мне там нельзя, потому — беглый. А здесь я воль-

ный,— он обвел взглядом поляну.— Ты знаешь ли, что такое воля?

Гурьян уронил на траву готовый кузовок и задумался.

— И что же, доволен ты своей теперешней жизнью? Мужик ответил не сразу.

— Как тебе сказать, барин?.. Вот иной нахлебается щей с убойной да на печь — и доволен. Так вот, не настоящий тот человек, а полчеловека. Ежели ты настоящий — мало тебе своей сытости! Надо, чтоб и сосед твой был сыт и волен, чтобы вся деревня твоя жила просторно да ладно, чтобы то есть всему православному миру вольготно было. А ежели худо миру крестьянскому, так он, настоящий-то, себя не жалеет — хоть с барином, хоть с царем за народ бьется! Вот как оно должно быть!

Голос Гурьяна, обычно ровный и негромкий, сейчас звенел какой-то особенной, убежденной силой, глаза блестели возбужденно и весело. Но вдруг разом все потухло, и Гурьян сказал уже тихо:

— А я так не могу. Ничего я не могу. Не умею. Сижу вот в тайге... Как тут будешь своею жизнью доволен? Мне бы вот твои науки, твою силу, барин...

Они долго молчали, глядя в умирающие язычки костра. Потом Гурьян сказал обычным ровным голосом:

— Пойдем-ко ужинать. Пора, однако.

5

Пошел второй месяц лесного житья. Александр Кириллович, обросший жесткой черной бородой, желтый, исхудавший, по-прежнему жаловался на слабость и выходил из землянки, только опираясь на костыль или на плечо Гурьяна. Но спал хорошо, аппетит был великолепный, так что Гурьян, глядя, как он ест, одобрительно кивал головой.

— Еда идет — болезнь уходит. Ешь знай, а то ишь как тебя извело, ровно политик ссыльный.

Несколько раз Сарычев пытался осторожно выпросить, в какой стороне находится Лагва, завод, но Гурьян отмалчивался или переводил разговор на другое.

В погожий жаркий день, когда Гурьян ушел на реку, Сарычев решил осмотреть местность. Теперь он чувствовал себя достаточно окрепшим, хотя и сохранял при

Гурьяне беспомощный вид. По высокой, никогда не кошенной траве он пересек опушку и углубился в лес. Саженьях в десяти от поляны струился узенький ручеек, откуда Гурьян носил воду. Сарычев перешагнул его, вошел в ельник. Идти стало трудно, под ногами путались валежины. Потом пошли кочки, зачавкала вода... Ельник поредел, расступился, и перед Сарычевым разлеглось поросшее мхом и клюквенником болото. Он вернулся на поляну, посидел, отдыхая у дымокура. Гурьяна все еще не было. Сарычев поднялся и пошел в противоположную сторону. Слабость давала себя знать, Александр Кириллович устал, дрожали ноги, словно прошел много верст. Дойдя до еловой чащобы, он оперся спиной о ствол, постоял и вернулся к землянке.

Настроение было паршивое. До белого каления доводила мысль, что выхода отсюда нет и он, всесильный управитель завода, находится в полной зависимости от какого-то мужика, беглого бродяжки. Правда, лечит его Гурьян, ухаживает за ним. Вероятно, потребует выкуп, сукин сын. Это и скверно и унижительно, однако ж... Тьфу! Как в средневековом романе!

Вскоре пришел Гурьян со свежей, еще живой рыбой, подбросил в костер веток и подвесил котелок с водой. Сарычев молча следил за его движениями, понемногу успокаиваясь, — все же мужик не походил на голову-реза.

— Послушай, Гурьян...

Тот поднял брови, продолжая чистить рыбу.

— Я уже здоров... Почти здоров. Только слабость еще.

— Ништо, барин. Теперь ты на сем свете житель. Окрепнешь.

— Я не про то. Сходи в завод, Гурьян. Пусть пришлют за мной лошадей. Погоди, не спорь! Пусть пришлют лошадей, и я уеду. Ты не бойся, ничего дурного тебе не сделают. Слышишь?

Гурьян молчал и чистил рыбу. Бледнея от унижения, злясь на себя, Александр Кириллович сказал:

— Ну хочешь, перед крестом поклонюсь!

Молчал Гурьян.

— Что же ты! — Сарычев зло бросил в костер ветку. — Я, управляющий, приказываю... Прошу, наконец...

— Не сердись, барин, не надобно тебе сейчас сердиться — не я, болезнь не велит. А в Усть-Лагву не пой-

ду, не проси. Ну ты на кресте поклянешься. Да урядник-то не клялся. А их благородие господин исправник и под крестом бы меня... Нет, барин хороший, береженого и бог бережет.

— Так я что ж, в тюрьме у тебя! Ты, варнак!

Александр Кириллович ударил кулаком в землю, рванул траву, вскочил, дрожа от негодования, и замахнулся.

— Не надо, барин, нехорошо,— укоризненно сказал Гурьян, по-прежнему сидя на корточках.

Наверное, Сарычев ударил бы. Но вдруг за спиной послышался неясный звук — шелест не шелест — просто движение какое-то. Обостренными нервами почувствовал Сарычев опасность и, холодея, оглянулся. Из кустов смотрел на него волк. Матерый, неподвижный, словно чучело, смотрел выжидающе прямо в глаза. Сарычев попятился, слабея в ногах, ухватил Гурьяна за рукав.

— Волк! Смотри, волк! Дай мой пистолет!

Волчья голова пригнулась, угрозно блеснули клыки.

— Пистолет, Гурьян!!

— Не бойся, барин,— спокойно отстранил его мужик. — Ты не бойся.

Он встал и двинулся к опушке. Приговаривая что-то вполголоса, подошел вплотную и протянул зверю харьюза. Волчья клыки мелькнули в каком-нибудь верхке от руки человека, харьюз в последний раз трепыхнул хвостом, исчез в пасти. Гурьян присел на корточки и все говорил, тихонько, ласково. Зверь стоял неподвижно, слушал. Потом поднял морду, глянул на Сарычева и — пропал в кустах...

— Да ты колдун, что ли! — растерянно крикнул Сарычев.

Гурьян вернулся, присел у костра и опять принялся чистить рыбу.

— Пошто колдун? Я обнаковенный. А волк этот мне знакомый. Слышал поговорку: с волками жить — по-волчьи выть? В перво лето, как я сюда пришел, встретился мне этот волчонок. Кто-то картечью в его саданул, да не убил до смерти, ушел подранком. Помирал уже, однако. Ну хошь и зверь, а все божья тварь, жить тоже охота. Я картечину вынул, выходил его. Эх, думаю, друг, оба мы от людей затравлены, обоим тайга — мать родная. Оклемався он, ушел, хотя лапа покалечен-

ная картечью... Волк не собака, зверь вольный, гордый. Ну иной раз приходит ко мне. Однако ты, барин,— Гурьян положил харьюза и повернулся к Сарычеву: — Ты остерегись при нем кричать на меня... Я ведь с ним иной раз и харчом делюсь — трудно ему, хромает... Зверь, он добро тоже понимать может и отвечает по-своему. А вот человек — не всегда.

— Значит, теперь тебя волки не трогают?

— Этот не тронет, а другим лучше не попадаться. Что сделает один зверь супротив стаи? А этого ты не бойся, этот хороший.

— Все у тебя хорошие,— усмехнулся Александр Кириллович.— Люди хорошие, волк хороший... я, может, тоже хороший? А я тебя в острог хотел.

— Ты, барин, может, и ничего. Бывают хуже. Только понятия в тебе нет.

— Какого еще понятия?

— А вот сам посуди. Живешь ты вольготно, сыто, жалованья получаешь дивно, нужды не имеешь. А кто тебе все дал? Мужики, работные люди. Они и тебя кормят и иных прочих господ. Не Демидов, не царь, а мужики. И допрежь того кормили, когда ты науки изучал. Для чего? Чтоб управлял ты, значит, по справедливости. А где она, твоя справедливость? Как ты платишь мужику за хлеб его? Ты из мужика последнюю кровь выжимаешь и из крови той куешь Демидову золотые! Подумай, барин, сам — хорош ли ты? По заслугам ли вознесен?

— Я дворянин! — вскинул голову Сарычев.

— Дворянин-ин... Брось похваться, барин. Спору нет, власть вся ваша, и простого звания людей вы к власти не допускаете — боитесь. Совести и души у простого народа поболее вашего, тем и пользуетесь.

Александр Кириллович не нашел ответа. Здесь все привычные слова о пользе государства, о сословных привилегиях просто не имели веса.

Он сказал неуверенно:

— Ну а если на Россию нападут враги — кто как не дворянство поведет войско за веру, царя и отечество?

— Кто? Так ведь мы, русские, такой уж, видно, народ: своих супостатов терпим и помалкиваем да еще хвалим, иноземных же, однако, страсть не любим. Поведут ли нас дворяне, или сами к врагу перекинутся, народ все одно биться станет, не отступит. Расея наша

мужи́ком си́льна! Когда ханцу́з на Москву шел, про-
стая баба Васи́лиса за полковника управлялась.

— Послушай, откуда ты все знаешь?

— Так ведь сказывал я, что почти всю Сибирь про-
шел поперек, а умных людей там поболее, чем в столицах.

Помолчали. Солнце ушло за сосны, стало прохлад-
нее. Над поляной гудели комары. Уха закипала. От ее
запаха, что ли, проголодавшийся Сарычев стал успокаи-
ваться.

— А скажи, Гурьян,— спросил он уже ровным голо-
сом.— Вот ты дворян не любишь. Почему же ты меня
спас?

Гурьян зачерпнул варево деревянной ложкой, попро-
бовал, пожевал губами.

— Я тогда у реки был. Слышу — кричит кто-то. Гля-
жу — человек тонет. Понимаешь — человек! Тут звание
спрашивать недосуг, вызволять надо. А опосля — не
спускать же тебя обратно в полынью.

— А если б знал, что это я, не спас бы?

Гурьян подумал.

— Все одно вытащил бы. Может, и у тебя совесть
пробудится. Должна же быть совесть, а?

6

Ночью прошла гроза.

Александр Кириллович проснулся, потянулся с хру-
стом, надел сапоги и вышел из землянки. Мокрая, чуть
прибитая дождем трава искрилась под солнцем, с де-
ревьев еще падали тяжелые капли. Гурьян возился у
костра.

— Здравствуй, барин. Каково ночевал?

— Выспался изрядно. Эх, утро-то!

Узкой тропинкой Сарычев пошел к ручью — теперь
он ходил без костыля,— умылся холодной чистой водой
и не вытираясь пришел к костру, сел на сухое, подост-
ланное Гурьяном рядом.

Молча пили чай из смородинового листа, макая ржа-
вые сухари. Потом Гурьян сполоснул и прибрал чашки,
отнес в землянку и вышел, неся постиранную рубаху и
куртку Сарычева.

— Собирайся, барин, пойдем.

— Куда? — несколько растерялся Александр Кирил-
лович.

— Домой пойдешь, в завод. Оздоровел ты, гляжу. Али тут поглянулось? Тогда живи на здоровье,— Гурьян улыбнулся добродушно.

У Сарычева часто застучало сердце, стало радостно и странно. Радостно, что, кажется, все кончилось, он опять здоров и скоро, может быть, даже сегодня же вернется домой. И странно, что вот сейчас он уйдет отсюда совсем, а Гурьян все еще не ставит никаких условий, не просит ни денег, ни отпущения прошлой вины, ничего. Ничем не хочет воспользоваться! Или хитрит?

Сарычев неуверенно встал, скинул синюю Гурьянову рубаху, надел свою, не сразу попав в рукава. Только теперь он сообразил, что мужик с утра одет по-дорожному, как ходит в деревни продавать корзины и бураки.

Лицо у Гурьяна задумчиво и немного торжественно.

— Посидим, барин, перед дорогой.

Они сели на рядно. Александр Кириллович оглядел поляну, опушку, осточертевшую землянку — не верилось, что видит, слава богу, в последний раз. Косясь на Гурьяна, осторожно, будто поправляя на руке куртку, ощупал карман. Пистолета не было. Звякнули ключи, нащупалась записная книжка. И еще что-то. Ах да, самородок, что преподнес приказчик. Гурьян не взял самородок. Необычный все-таки мужик!

— Гурьян,— позвал Александр Кириллович.— Вот, возьми. За спасение мое, за... Ну за все...

— Стыдно, барин. К тебе с душой, а ты золото суешь. Стыдно, барин.

Сарычев смутился.

— Дело твое. Я хотел...— он пожал плечами, подержал еще самородок и сунул обратно в карман.

— Ну, с богом,— Гурьян встал и широко перекрестился.

Широкая его спина теперь колыхалась перед глазами. Иногда он останавливался, придерживал ветку, чтоб не хлестнула Сарычева, и шел размеренным шагом дальше одному ему знакомым путем. Осторожно перешли болото, углубились в дремучий ельник. Не было и намека на тропу, но вел Гурьян уверенно. Сарычев попытался было запомнить дорогу, но вскоре бросил — ни черта тут не поймешь. Когда проходили сырым осинником, Сарычеву показалось, что в кустах мелькнуло и скрылось поджарое тело волка. Александр Кириллович старался теперь не отставать, задыхаясь и обливаясь

потом, шел по пятам Гурьяна. Сарычев устал, все чаще спотыкался о валежник и кочки, тяжело дышал, рубаха вымокла от пота. Но Гурьян все шел.

В глухом распадке у ручейка обернулся.

— Замаялся, барин? Ништо, терпи. Домой идем. Опнемся чуток вот да пойдем дале. Ты не садись, потом не встать будет. Испей, умойся.

Прислонясь к стволам, отдыхали. Гурьян достал из котомки сухари и вареного рябчика. Поели, напились. И опять Гурьян сказал:

— С богом,— и зашагал дальше.

Сарычев совсем выбился из сил и готов был запросить настоящего, долгого привала, когда они неожиданно вышли на дорогу. Наезженный тракт между двумя стенами леса спускался с невысокой горы и, все вниз, заворачивал направо. Было безлюдно, знойно и тихо, только внизу за поворотом слышался невнятный рокот. Часы Сарычева давно уже стояли, но времени было около полудня.

— Пришли, барин,— сказал Гурьян.— Отседа тебе вперед, мне назад. Иди все вниз, там мост через Лагву. Чуешь — вода шумит? До завода верст, поди, с десяток. Ну дойдешь помаленьку. Может, на лошади кто встретится, подвезет. Ну вот и все. Прощевай, барин. Живи.

Он снял шляпчонку, отер ею лоб и улыбнулся.

— Как все?! — удивился Александр Кириллович.— А ты... А тебе что же, за все эти хлопоты ничего не надо.

— Эх, барин! Ты у смерти по самому краю прошел. И подумать тебе время было. Вот и рассуди сам, как рассчитаться тебе с мужиком. Не со мною — я что! С теми, кто под твоей властью ходит.

Он умолк, глядя на верхний конец дороги, и вдруг сказал:

— А вот, гляди, и оказия тебе вышла.

Александр Кириллович обернулся. На взлобке горы показалась подвода, по бокам — четверо верховых, похоже, стражники.

«С приска везут сдавать золото,— догадался Сарычев.— И скоро я буду дома!»

Их тоже заметили. Один из стражников что-то крикнул, хлестнул коня и поскакал по склону вниз. Над его плечами в такт галопу подрагивал ружейный ствол.

— Удачи тебе, барин. А мне-ка с ими встречаться не след, пойду я. Счастливо тебе, барин.

Гурьян поклонился, надел шляпу и повернулся к лесу.

— Да-да... — растерянно сказал Сарычев и опять оглянулся на всадника. Тот быстро приближался, крутя нагайкой. Стражник тоже видел, как уходил в лес бродяга, он ловко, по-охотничьи, сорвал с плеча ружье, блеснул на солнце короткий ствол.

— Сто-ой! — крикнул стражник.

И с Александра Кирилловича мгновенно слетел дурман лесной поляны... Он снова ощутил себя управителем Усть-Лагвинского завода. Долгие недели унижительного, обидного бессилия кончились...

— Эй ты! Постой! — крикнул Сарычев, глядя в синюю уходящую спину.

Гурьян остановился и оглянулся не спеша.

— Постой! Поедешь со мной в завод.

Гурьян спокойно улыбнулся.

— Нет, барин. Не обессудь...

Стражник был уже совсем близко.

— Стой! — забыв усталость, Сарычев сбежал с тракта на траву и схватил мужика за плечо. — Стой, сволочь!

Теперь Гурьян понял. Серые глаза выразили сначала безмерное удивление. Потом они потемнели, лицо покрылось гримасой брезгливости. Он ухватил управителя за отворот куртки, легко приподнял и отбросил. Сарычев ударился спиной о сосну и на миг потерял сознание, но тотчас же пришел в себя, приподнялся на руках и, хрипя и захлебываясь, закричал на подскакавшего стражника:

— Взять! Схватить мерзавца! О-о-о!..

— Ваше благородие! Господин управитель! — вытаращил глаза стражник.

— Да хватай же его, сволочь! В цепи его!

Стражник слетел с седла и бросился в глубь сосняка, где еще колыхались ветви густого подлеска. Впереди на взгорье среди стволов мелькнула фигура мужика. Стражник вскинул ружье. Но тайга спрятала в зелени синюю рубаху. Заслоняя рукой лицо, стражник продрался на небольшую прогалину, взглянул и — встал как вкопанный... Там, где только что бежал мужик, теперь не спеша уходил рослый поджарый волк. На бегу он обернул оскаленную пасть и нырнул в заросли.

— Оборотень!!! — позеленев, ахнул стражник. Шепча молитву, он рванулся назад к дороге.

«Под крепким
караулом...»



Караульня — стены каменны — за ночь выстыла, из сеней дверь понижу куржаком кудрявится белым, чистым. Два оконца сплошь льдом заволокло, и железные прутья в них побелели. Студен январь ныне.

У двери кядка с водою, подле светец с лучиною. От двери до светца — три шага туда-сюда — солдатик топчется, молоденький, мешковатый, из рекрутов недавних, знать; под носом замест усов пушок белесый. Зябко ему, тоскливо, сон долит на исходе ночи. Метель на дворе скулит псом побитым, сонную мороку навевает, виденья деревенские блазнятся в караульне полутемной.

Налево в углу иконка Спаса. Вздогнув, разлепив набрякшие веки, солдатик таращит глаза на Спаса, крестится, шепчет, правой рукою пуще ружье к животу прижимает. И опять три шага туда-сюда: боже упаси заснуть — господин капрал побьет...

Господин капрал спит на лавке сидя, к стене привалясь, и из-под седых усов таково сладко: пух-рр, пух-рр... И только ежели шаги часового стихнут надолго, брови капрала приподымутся, морща лоб. Да ежели кто из подстражных кандальников ойкнет, цепью звякнет — брови капральские во сне хмурятся.

Кандальники лежат против двери, вдоль глухой стены, вповалку на плитном полу, на каменном. В полутьме видны солдату лохмотья от стены до стены, из них торчат подошвы сапог рваных, пимов дырявых, опорков. Битьем, пыткой, дорогами тяжкими измучены, спят они, пропащие вору-бродяги, и сон их непокоен. Иной вскинется вдруг, вскрикнет — и часовой в испуге зевок прервет, в лохмотья вперится. Простонав, снова прижмется к полу, провалится в сон. И шепчет солдат: «Матушка владычица, спаси и сохрани от такой доли, от пытки, от острожной беды!!»

Плачется метель над пересыльным острожком, над большим торговым селом, над лесами, надо всем белым светом. Упал с лучины уголек, зашипел в воде. Колодник глухо скрежетнул железом — капрал басовито крикнул, поерзал, почесался и опять: пух-рр, пух-рр.

Часовой томится, дрему перемогает... Ночь, метель... Туманится лучины свет, и озаренный лампадою лик Спаса меркнет, тает... Сквозь сомкнутые веки зрит солдатик: крутятся космы белесые, мечутся в них с плачем безликие тени лохматые, неясные, но в сапогах, пимах, опорках, хотят они солдата подхватить, унести в метельную круговерть... Надо б крестным знаменiem осенить свою душу грешную, не то унесут!.. Да не подымет он руки — ружье, как цепь, ее отягощает... Тянутся, тянутся к нему лохматые тени... И вдруг из метели крик человеческий:

— А-а-а!

Очнулся парень, весь жутью облитый, едва ружье не уронил. Капрал не ворохнулся, только один глаз открыл. Шевелятся колодники и гремят железами.

— А-а!

Из лохмотьев поднялась баранья шапка:

— Панкрат, ты чо, парень? Пошто блажишь?

— А? — колодник сел, обвел караульную шалыми глазами.

— Уймись, Панкратушка. Аль суставы ломит? Ништо, заживет, бог даст,— утешно, с ласкою даже шепчет баранья шапка.

— Ох... Во снах худое поблазнилося...

Кто-то сказал хрипло:

— Не во снах, а наяву худое-то,— и зашелся кашлем.

Капрал глаз зажмурил, кажись, снова задремал. Приутихли и колодники. Только один все кашлял надсадно и хрипел.

Опять над лохмотьями поднялась баранья шапка:

— Служивый, слышь-ка... Сделай милость, водицы дай ему испить. Вишь ты, нутро Афоньше отбили, теперича болеть его жгет, дух спирает. Дай водицы, ради бога.

Часовой на капрала оглянулся — спит ли? Черпнул из кадки ковшиком деревянным, подошел. Сотрясаясь от кашля, сел перед ним чернобородый худой мужик. Недоверчиво ощупал солдата горячечным взглядом, принял ковшик. Пил, обливая бороду, и все в нем хрипело.

— Спаси тя Христос,— поклонилась баранья шапка.

Караульный отошел, ковшик на скамью положил. Колодники притихли. Мужик в бараньей шапке, укладываясь, промолвил:

— Эко метель-то! Воет таково жалостно...

— Нас отпевает,— хрипнул в ответ Афоньша.

— Пошто нас? Есть, чай, господа и повыше званьем. Им честь и место...

— Наше званье малое, да смерть нас любит боле, кха-кха-а...

— Дак ведь когда как, Афонюшка. Знавал я одного господина унтера. Н-да. И все-то он мне, бывалоча, сулился: беспрременно-де тебе, Миньша, повешену быть. Во-от. И как, стало быть, войско государево до Осинской крепости подступило... Ну, унтеру тому... вечная память, а я до сей поры не повешенный. Вот оно как.

— Кха, м-мать... пресвята богородица! Вольно тебе зубоскальничать, коли грудь в пытошной не повредили, кровями не харкаешь.

— Ага, мне-ка благодать,— охотно согласился Миньша.— Мне всего одну руку палач вывихнул, а мог бы и обе напрочь.

Солдат-часовой слушал, вытянув шею, тихий шепот кандальников, и дивно ему было: ведь человеки они, мужики посадские да пашенные. А однако же и — великой смуты участники, самого Пугачева товарищи! Боязно — и тянет к ним все же любопытство. Расспросить бы: пошто они? Как отважились? Пугачев-то ихний — каков собою? Поди-ка, преужастен и страхолюден? Ох, спросить охота, да опять боязно: капрал не услышал бы, хитрющий он, как глянет — так насквозь солдата и видит... Спит ли он? Спит, кажись.

— Должно полагать, не дойду я, Миня, до Колы той проклятой, помру вскорости. Все болит: и нутро, и душа... Ничего во мне цельного не осталось, опричь злости... Кха-кха! Проклинаю мучителей наших, да помру-то я, а не они...

— Что ты, Афонюшка, окстись! Помирать счас грех. В баталии не убитые мы, в пытошной живы остались, теперь нам жить дале надобно беспрременно. Ты, Афоньша, сядь, кашлять сидючи способнее будет.

Озноб и кашель так трепали Афоньшу, что кандалы дребезжали тонко и жалобно. Солдат воды черпнул, поднес.

— Испей-ко. Худо тебе?

Афоньша ему не ответил, по-над ковшиком ожег сухим, злым взглядом. В нутре у него маетно хрипело, два оставшихся невыбитыми зуба стучали ознобной

дрождю по краю ковшика, и чудилось, что грозит Афоньша, рычит... И то солдатику дремному в обиду сделалось: ишь, ему — водицы, а он — волком, злодей и есть, приспешник пугачевский.

— Служивый, а нет ли у тебя хлебца маленько? Страсть как ись охота,— поднял свою шапку Миньша.

Хлебца ему... Солдат и сам пожевал бы хоть сухарика. Отошел, поправил лучину. Сказал наставительно:

— Ись, баешь, охота? Дак было б землю пахать, хлебушко сеять, а не бунтовать.

— Милай, рази мы бунтовали?! — Миньша сел. Левый его глаз заплыл кровоподтеком и слезился, а правый горел в окружье синяка.

— Эва! — удивился солдат. — А за что ино вас заковали?

— А по доносу облыжному, парень.

Афонасий зарычал, заклокотал всем нутром, Миньша сунул в бороду ему ковшик.

— На-кось, пей. — И солдату: — Оно, когда царь-батюшка с воинством до Осы-городка подступил, о ту пору дьяков, да приказных, да иных, кто народ православный обижал, побили — да рази ж это бунт? То дело свято: за лихоимство побивать и надобно.

— Погодь, это какой царь? До городка-то подступил, с воинством?

— Известно, царь Петр Федорович.

— Какой он царь, ежели он злодей Емелька Пугачев! Ты чегой-то, дядя! — солдат опасно глянул на капрала — спит.

— Все едино, парень, — тоже покосился на капрала Миньша. — Царь — мужицкий, стало быть, истинный.

— Врешь ты все! Господин поручик нам разъяснил: царицу Катерину нам господь наставил. Стало быть, всяко смутьянство противу бога!

— А смуты кто посылает? Он же, бог и посылает. Видно, ему, богу-то, и самому царица Катерина не шибко глянется. И лихоимцам всяким опять же бог в смутах наказанье учиняет. Потому как царицыны князья за правду не стоят, народу послабления некоторого давать не хотят. Не-е, парень, по нынешним временам лихоимцев поучить маленько — святое дело. А бунтовать мы не бунтовали, то поклеп на нас.

Солдатык ответом не нашелся. Чудно: колодник речи крамольные ведет, а правда в них!..

— Слышь, дядя, а какой он собою?

— Кто?

— Пугачев-то.

Миньша вздохнул, зачесался.

— Мне-ка узреть его не довелось,— Афоньша над ковшиком прохрипел что-то злое.— Ну, коли и довелось, дак лучше б подале от того места быть...

— Сделай милость, поведай.

— Не в охоту сказывать такое, да ин ладно. Вишь, как заковали нас на Кунгуре, перво-наперво учинили расспрос... Далее, кто живой остался, тех в Казань да сызнава на расспрос же с пристрастием. Оттель в самую, братец ты мой, Москву. Тута и довелось на государя глянуть не в добрый час. Всех людей, кто за смуты по московским тюрьмам страдал, на площадь пригнали, чтоб, значит, глядеть, как государя убивать станут...

— Ну?

— И глядели, куды денешься.

— Да ты сказывай далее.

— На площади народу — превеликое множество. Бабы слезами ревут, и мужики которые... Площадь вся стоном возопила, когда его, батюшку, на Лобно место привезли.

— Да каков он собою?

— Царь и есть царь, хошь на троне, хошь на месте Лобном. Сразу видать — не прост человек, мало что цепями весь окованный. А шуба соболья на нем, сукном крыта, шапка боброва. Как бумагу царицыну прочитали, поклонился он на четыре стороны да сам и преклонил головушку на плаху. Палач топор подъял — и не замог рубить голову государеву, руки обвисли, топор уронил. Тута другой, самый набольший царицын палач подхватил топор-то... и пролилась кровушка на соболью шубу...

— Врешь ты все.

Вздрогнул солдат, к двери отступил: капрал, все так же к стене прислонясь, из-под насупленных бровей прицелисто на колодника щурится. Однако Миньша не сробел, обернулся к лампаде предыконной, под цепной звяк перекрестился.

— Вот те Христос, правду истинну сказываю.

— Но-о? Где совесть твоя, вор,— под лживы речи на бога крестишься! Ишь пустобай, развел турусы! Ежели знать хошь, и мне о ту пору случилось с коман-

дою на Москве быти, казнь своими глазами зреть. Злодей на Лобном месте каялся, что самозванец он, донской казак Емелька Пугачев.

Капрал трубку достал, набил табаком. Солдат ему из светца лучину вынул.

— Дак что, вор, и дале лгать станешь? «Царска-де кровь на соболью шубу...» — покачал головой капрал. дымком табашным клубясь.— Ни соболей, ни шапки бобровой — был на изменнике и самозванце овчинный' полушубок. А? Ну?

Миньша поклонился капралу одной головой.

— Твоя правда, служивый.

— То-то.

— А и я словечком не солгал.

— О! Как эдак быть может?

— Так и есть: правду всяк зрит по разуменью своему. Из людей простых многие соболью шубу видели, и я в том перед Спасом не согрешил. Ну, дворянам, офицерам и прочим таким, знамо, овчина виделась.

— Видится мне, что мало ты бит, еще всыпать надобно.

— На то уж твоя воля, господин капрал.

— Ма-алчать! — пальнул дымом ровно из пушки капрал.— Молчи, вор!) По всем статьям теперича позиция твоя лежащая, и не моги начальству перечить! Ну-кось, ответствуй, душа анафемская, на Пугачеве шуба какова была? Ась?

Солдатик, раззявя рот, таращился на Миньшу. Хотелось ему, чтоб кандальник сей, на язык таково складный да острый, не удумал бы господину капралу дерзко перечить. А скажи Миньша, что-де капралова правда, что овчинна была шуба на царе... то бишь, на самозванце,— тоже бедко, вроде б тогда украли чегой-то у солдата либо обманство учинили ему. Но Миньша молчал. Оно и ладно — глядишь, обойдется как-нито. Хотя и жалко чего-то...

— Соболя! — крикнул с болью Афоньша.— Слышь ты, шлюхин унтер, соболя шуба на-госуда... кха... Петре Федо... кха-а... — кинул в капрала ковшом, да слаба рука, не докинул. Миньша повалил Афону на спину, бормотал ему, шапкою лицо отирал.

Капрал ногой ковшик отпнул солдату:

— Дай воды дураку.

Сразу колодники вздохнули свободней: кажись, не серчает начальство, дай ему бог за то здоровьица.

Чтоб сердитость капралову поскорей в сторону отвести, колодник Панкрат, что во снах пуглив, проговорил голосом жалостным:

— Господи, осподи батюшка, хошь бы до Колы проклятой дойти, авось там полегче станет.

Говорливый Миньша тотчас отозвался:

— Вестимо, легче. Случилось мне, ребяташки, с воеводою Федором Ивановичем в санях малость проехать, он и сказывал, дескать, Кола та за морем Белым лежит, в стороне полуночной дикой, и будто нету в земле Кольской начальства никакого, одни ссыльные. Ежели начальства нету, завсегда легче.

— Не должно бы, чтоб без начальства,— засомневался Панкрат. — Нету такой земли...

— Как же нету, ежели воевода Федор баял мне про то!

Солдат засмеялся:

— Какой такой воевода, что с тобой, кандальник, в одних санях ехал?

— А господин Пироговский Федор Иванович. Хошь он и из дворянского звания, а государь... по-вашему Пугачев, на Осе его воеводою поставил. Ныне ж с нами в Колу идет. Добрый был воевода, справедливый, дай ему святой Никола силы дойти в земли те дальние...

— Ма-алчать! — рявкнул капрал, с лавки вскочил, будто шилом кольнули, потухшую трубку торопливо в карман сунул и солдату: — Во фру-унт стоять! Штуцер, штуцер не в той руке, деревня стоеросова! Вы, обломки пугачевски, подымайся живо!

Только теперь ошеломленный солдатик услышал то, что привычное ухо капрала сквозь метельный вой уловило: голоса, скрип половиц в снях. Дверь отворилась, хлынули клубы морозные, вошли здешний комендант да офицер с унтером из команды пересыльной. Комендант — господин в летах весьма немолодых, дородный и круглолицый, в шубе партикулярной — истово на икону троекратно перекрестился, капрала рапорт выслушал, офицеру на колодников указал:

— Вот-с, извольте, сударь...

Лязгало, бренчало железо, трудно и неуклюже подымались колодники, опираясь на стену. Офицер молод и сухощав, в шапке медвежьей, в распахнутом дорожном тулупе. Оглядел караулку, сморщил тонкий обветрелый нос.

— Пригоже ль, господин комендант, изменников держать в таком состоянии небрежном? Клеткою не ограждены, к стене не прикованы...

— Помилуй, батюшка мой, да куды ж я их? Опречь караульни у нас токмо каземат, да в нём Пироговский сидит, его же велено держать с опаскою сугубой. Да не изволь беспокоиться, догляд надлежащий блюдем. Вот они все тут. Список поверять станешь или как?

— Указано принять по росписи, посему уж позвольте... Да велите свечу подать.

Капрал засветил от лучины толстую сальную свечу, подошел с нею к колодникам, чтоб офицеру обличье каждого видать было.

— Эти двое как смеют лежать?! Встать!

Миньша поклонился:

— Не изволь гневаться, ваш бродь, хворы оне.

— Молчать! Встать!

Афонасий, поддерживаемый Миньшею, жег офицера лихорадочным взглядом и хрипел, кашель в себе глуша. Второй мужик от капралова пинка вскочил сам — он, должно быть, спал до сей поры и теперь непонимающе моргал на господ опухшими веками.

Поручик, держа роспись ближе к свету лучины, выкрикивал прозвание и глядел — который. Названные откликались, кто словом, кто стоном. А были здесь таковы кандалники: Тимофей Мясников да Скачков Тимофей же, Степан Аболяев, Ивашка Харчев, Панкрат Ягупов, Петр Кочуров да Петр Толкачев, Афонасий Чучков — зело хворый, Михайла Кожевников да Горшенин Петр, а еще двое прозванья неведомого.

— Это кто прозванья неведомого? — досадливо сморщился поручик. — Отвечать, коли спрашиваю!

— Дак, стало быть, я, — поклонился Миньша.

— Ты? Как смеешь дерзить! Молчать!

— Молчу я, ваш бродь.

— Как прозвание твое?

— Не ведаю, ваш бродь.

Офицер рот открыл прикрикнуть... Но украшенная синяками, остренькая мордочка глядела на поручика с такою невинностью, что крик не получился.

— Ах ты шельма! — молвил более с усмешкою, чем со злостью.

— Ни боже мой, ваш бродь. Не шельма, а зашибленный. Как по первому разу на расспрос приволокли,

палачу, вишь, обличье мое не приглянулось отчего-то, дак он изволил меня кулаком по башке... И надобно ж такой беде случиться — единым разом память напрочь отшиб.

Поручик усмешку сдержал, посулил строго:

— Не горюй, собачий сын, путь у нас долгий, авось память тебе возвернем. Кто еще беспрозованный? Ты?

Неугомонный Миньша опять встрял:

— Он, ваш бродь, немтырь. Хошь его на огне жарь, мычит — и боле ничего.

— Аль тоже по башке треснутый?

— Господь его ведает. Должно, сызмальства таков. А может, палач перестарался, язык ему повредил...

— Язык тебе укоротить бы надобно, — поручик сложил бумагу, сунул под тулуп.

— Милости прошу в канцелярию, господин поручик, — пригласил комендант. — Капрал! Гляди тут у меня!

Дверь дохнула холодом, выпуская господ. Афоньша дал волю кашлю. Со звоном железным опускались на пол колодники. Миньша кивнул на двор:

— Сердитое ихнее благородье.

Капрал, раскуривая трубочку, обнадежил:

— Глядишь, память тебе возвернет.

Солдат, видя капрала к разговору расположение, спросить насмелился:

— Ты, дядя, и впрямь свое прозвание забыл? Нешто бывает такое?

Колодник ощупал левый, заплывший и слезящийся глаз.

— Ты, малый, в тюрьме ишо не сидел, под кнутом не лежал, на дыбе не висел... А ежели, не дай бог, доведется, ты одно помни: в пытошной все забыть надобно. И прозвание, и какого ты род-племени, и товарищев своих забудь. Тогда легче муки сносить.

В тесной камерке острожной канцелярии давно не мыто, но зато с вечера натоплено. Комендант без шубы казался еще добродушнее и старше. Офицер разглядывал его седые неопрятные бакенбарды, мятый камзол и думал, что сей служака, надо полагать, местом своим и судьбою доволен, ибо о карьере высокой уж не мечтает, больших денег накрасть негде, оттого и совесть покойна, а по малости приковано на старости лет... В молодые же

лета, чай, тоже генеральскими эполетами да прекрасными княжнами грезил... Эх, без связей, без протекции, без богатства наследного где уж...

Уперевшись сытым животом в заляпанный чернилами стол, комендант читал высочайшее повеление. Поручик и унтер внимали стоя.

— «...за изменнические его, Федьки Пироговского, вины лишен дворянства, наказан кнутом и сослан в Кольский острог».

Смотрит поручик на большой комендантов живот, а пред животом — незыблема литая медная чернильница с двуглавым орлом. Скоро, вот сейчас уйдет в минувшее и живот этот, и чернильница, и канцелярия захоластная, и надо поручику выходить на мороз, качаться в седле, подгоняя медлительных колодников, бодря окриком солдат, чтоб успеть за короткий день до другого острога. А там снова — животы, и медные двуглавые орлы, и канцелярии. И его, поручика, житие тоже весьма похоже на ссыльное. За что? За родительскую скудость, захудалость дворянского рода? Аль за свою нерасторопность? Так где же, пред кем же расторопность-то показывать, не пред сим же комендантом! Попасть бы в случай... Есть иные столь же безродны и добродетелями отнюдь не преуспели, но в благоденствии пребывают, понеже случай им Фортуна предоставила. И он, поручик, мог бы по санкт-петербургским першпективам в карете ездить... Да нет, оставить надобно мечтания пустые — не гуляет Фортуна по кандалным дорогам. Не на першпективы — в Колу путь... И надобно слушать указ императрицы, а не Фортуны посулы несбыточные.

— «...По важности вины сего злодея Федора Пироговского...»

А что, ежели бы иной случай выпал, ежели б его, поручика незнатного, подобно сему Пироговскому, самозванец воеводою возвысил?.. Но тотчас мысли таковой офицер устранился, сморщил болезненно нос и прилежно слушать стал, на медного орла уставясь.

— «...По малости в Коле воинской команды назначить для препровождения того злодея в Колу и содержания его там под крепким караулом одного унтер-офицера и четырех рядовых состояния доброго, не малолетних и не пьяниц; содержать онго важнейшего преступника в самой крепости в особливом покое, под крепким караулом, дабы часовые стояли внутри самого

того покоя всегда с ружьем или с обнаженными тесаками, и с такою точно предосторожностью, как военный регул велит; ни на какие его, Федора Пироговского, к послаблению в чем-либо ему ухищрения и просьбы не взирать; бумаги, чернил и перья ему не давать, ничего не относящегося с ним не говорить, также и самим часовым никаких разговоров отнюдь не иметь, хмельного к нему не носить и тем его не поить, орудия такого, чем бы он иногда караульных повредить мог, не давать; смотреть за ним, чтобы утечки сделать не мог, когда будет ходить в нужник, и часовой бы входил с ним в самый нужник, самый же нужник так крепко и твердо сделать, чтоб внизу дыры не было, дабы, спустясь вниз, не ушел; равно же и двери в том покое, где он содержаться будет, были бы крепкими и с замком и окошки со укреплением, яко железными решетками; да и трубу такую сделать, чтобы пролезть ею было невозможно, а полы накрепко прибить гвоздями и утвердить, чтобы ни единой половицы поднять не мог; словом сказать, чтоб такое то жилье было, чтоб утечке никакого способа не осталось; но однако ж наблюдать и того, чтоб караульные тому преступнику не делали никаких изнурений и деньгами его не корыстовались».

Дочитал. Сложил бумаги в пакет и поручику с поклоном вручил. Сказал уже простецки, не служебно:

— Вот, слава богу, с делами и покончили. А что, голубчик, не угодно ль чайку на дорожку? С наливочкою, ась? В таком разе милости прошу в мою квартиру. Авдотья Петровна моя рада будет угостить, тебе вчерась ее варенье малиновое по вкусу пришлось...

Ночь миновалась, и на исходе ее поутихла метель. В проталинах оконного стекла еще еле-еле, не в силах одолеть даже сияние свечки, но все же явственно брезжил рассвет.

— Выступать надобно,— нерешительно сказал офицер.— А впрочем...— И унтеру: — Ступай за Пироговским. Да солдаты чтоб изготовились!

Осинского городка бывший мятежный воевода Федор Пироговский в караульную порог переступил, за ним по пятам солдат со штуцером¹. И колодники дружно подня-

¹ Штуцер — нарезное ружье с коротким стволом.

лись с полу, шапки долой, поклонились Пироговскому. Поклонился и тот сперва иконе, потом товарищам.

Невысок Федор, плотен, ликом худ да скуласт, взглядом покоен и глубок. Шубейка не красна, да и не дырява, справна. Бродни из собачины, из коротких голенищ к опояске — цепь. На руках кандалы тож.

— Здравствуйте, люди добрые. И вам здравия желаю, служивые.

— Здравствуй и ты, воевода честной! — прохрипел Афонасий.

Солдатик оробел, сам едва не поклонился изменнику: хошь бывший, да дворянин, хошь самозванский, да воевода... Капрал указал Пироговскому на лавку, и тот сел. Опустились, звеня, и кандалники на пол. Молчали. Про что говорить? Про минувшее — больно, про грядущее — того больней.

За железными прутьями, за льдом, за стеклом крепчал рассвет. Вместо метельного воя доносились теперь в караульную звуки живые: звонарь на колокольне часы отбивает, мужик бранит лошадь, в сугробе увязшую, под самым окном санный скрип — готовится колодникам отправка.

— Счас, братьельники, поведут нас мерить, сколь глубоко снегу намело...

И, впрямь: унтер в дверь крикнул выходить.

На дворе ждали две санные подводы. Солдат держал под уздцы офицерова коня под седлом. Ворота уж настезь, в дремотном рассвете видится заметенная улица. Глядят колодники с тоскою на избы в шапках снежных, белые хвосты дыма над трубами.

Комендант поручика предупреждал:

— В лес как зайдете, там дорога не столь убродна, шагать способнее. Да с опаскою поглядывайте, кабы худо не сотворилось, ватажка не налетела б преступников вызволять.

— Пошаливают у вас?

— Ох, шалят!

— Дурачье. Сколь их побили, сколь перевешали, а все неймется.

— Таков народишка разбойный!

Комендант приблизил добродушное лицо к офицеровой медвежьей шапке, зашептал:

— Голубчик мой, я ведь тож не ангел небесный и понимать способен, когда человек согрешил, чего-нито

украл. Писаришка ли урвал от казны целковый, холопи ли подрались пьяным делом, девка ль невзначай родила — и все оно грех, и все, однако, ничего, поелику так от бога заведено: грехи да кайся. Но противу властей бунтовать — как же это мыслимо?! Это уж, голубчик мой, ни в какие ворота!

Офицер слушал, кивал, досадливо морщил нос: рас-свело, выступать время, а кандалники топчутся бестолково, унтер кричит громко, да пособиться с ними не может, в колонну надлежаще их поставить, а солдаты вяло шевелятся, должно, с вечера хмельным баловались.

Миньша усаживал немощного Афонасия в сани.

— Недодюжу до места, помру...— горел глазами Афонасий и перхал, плевал ржавой слюной.

— Авось бог милует, доедешь в санках, ишо и оздоровеешь от воздухов снежных, чистых.

— Помру, чую... Не помереть страшно — сдохнуть обидно. Ну-козь пригнись, скажу чего... Ужо, как случай придет, я офицера-то кандалами... и ежели... бегите во леса, кха-кха...

— Оно ничего, можно бы. Особливо ежели он шапку снимет креститься, как до села дойдем. Да слаб ты ныне, Афонюшка, погладишь токо... Тебя застрелят, тебе и горя мало, а остальных до последней крайности истеснят. Може, не надо, а? Дело твое, как помирать, а лучше и не помирай, товарищам тяготы не учиняй.

— Кх-ха, это как же? Житья нету и помереть не моги?!

Поручик рявкнул:

— Эй, шут беспамятный, пошел в ряд! Унтер, марш-марш!

И поднялся в седло.

— С богом, сударь мой,— перекрестил его комендант.

Двинулись. Увязая в рыхлом снегу, колодники вытягивали шеи, с тоскливым ожиданием глядели на избы. Светлело утро, тихое после метели. В тишине далеко слышен кандалный звон. Выходили на тот звон к дороге бабы, подать Христа ради несчастеньким ломоть теплого хлебца да горькую луковку. Сами в душегрейках потертых, в зипунах с мужня плеча, в лапотках лыковых... Господи! Пошли ты бабам расейским хошь маленько каких-нито радостей с небес твоих, серых да холодных. Потому как без доброты бабьей никуды бы наш брат-мужик не доехал, не дошел...

Два висимских упрямца



На самой заре двадцатого века, в девятьсот первых годах демидовскими Висимскими заводами управлял Анатолий Константинович Бекман. Отец его... Впрочем, кто был его отец, про то, как говорится, бабушка надвое сказала. Среди екатеринбургского уездного дворянства ходила такая молва.

Служил в Санкт-Петербурге весьма небогатый гвардейский офицер Константин Богданович Бекман. По гвардейскому положению своему был он вхож при дворе императора Александра Второго, имел честь лицезреть особ царской фамилии, высоких сановников и, будучи галантным кавалером, удостоивался внимания фрейлин Ея Величества императрицы. Случалось, танцевал с ними на балах. Одна из фрейлин особенно пленила сердце бедного офицера. К несчастью его, гордая красавица мало внимания уделяла подобным вздыхателям, и, кроме мазурки, ни в чем он тут не преуспел. Страдал, кутил, сколь позволяли скудные доходы. В кругу близких приятелей разглагольствовал о том, что презирает суетные забавы света. Но при первой возможности спешил попасть на придворный бал, надеясь в вихре мазурки коснуться руки прекрасной дамы...

И вдруг без видимой причины ухаживания офицера прервались. Он не искал более встреч с надменной фрейлиной. Стал еще более мрачен, светских дам бранил словами отнюдь не светскими — разумеется, вдали от них, ибо удалился от балов совершенно.

Однажды призвало его высокое начальство. Бекман, припоминая грехи свои, служебные и трактирные, явился в генеральский кабинет, готовый к разному, — иначе на что он начальству? Но генерал был настроен добродушно, улыбался отечески, говорил о лошадиных статях, хвалил рысаков конюшни Его Величества. От лошадей разговор непринужденно перешел к фрейлинам Ея Величества. Генерал подмигнул:

— Говорят, вы совершенно покорили сердце фрейлины госпожи НН? — Бекман побагровел и надулся. — Ну что ж, хе-хе, одобряю ваш выбор, она ничего-с,

ничего-с, м-м... Я сам был молод и не пропускал ни одной смазливой мордашки, хе-хе.

— Я не хочу более видеть ее! — пылко воскликнул Бекман.

— И напрасно, мон шер, и напрасно. Клянусь честью, вы были бы прекрасной парой! Друг мой, я, зная ваше состояние... у вас нет никакого состояния. Но вы молоды, и благоразумная женитьба... Ведь за госпожой НН можно получить в приданное, м-м, кое-что, да, кое-что-с... М-м? Смелее, мон шер! Вы робеете? Ах, я тоже был молод... Но положитесь на меня, и, я ручаюсь, сия благородная девица не отвергнет вашей руки.

Весь пылая, кипя от негодования, Бекман выпятил грудь:

— Ваше высокопревосходительство! Мне стало известно, что сия благородная девица пребывает... черт возьми! Она пребывает в интересном положении! И я не желаю после какого-то мерзавца...

— Осторожнее, мой друг! — генерал поднял ладонь и сдвинул косматые брови. — Ну, можно ль так горячиться! Гм, да-с... Милостивый государь, я осмелюсь открыть вам важную государственную тайну: к госпоже НН благоволил сам Его Величество, государь...

Бекман побледнел, лязгнув зубами и шпорами.

— Ну-ну, успокойтесь. Надеюсь, вы понимаете, кгм? Словом, если вы окажетесь благоразумным, вам обещана прибыльная и бесхлопотная должность — в провинции, разумеется. К тому же будущая супруга ваша так мила, м-да-с... Ах, когда-то я был тоже молод и... Ступайте, мон шер, и подумайте.

Выскочив из генеральского кабинета, офицер вытер надушенным платком взмокший лоб. Лакей проводил его удивленным взглядом: офицер то бранился, то смеялся, глядя то в пол, то в потолок.

Не прошло и месяца, как состоялось скромное венчание гвардейского офицера и фрейлины. Бекман вышел в отставку. Молодые уехали в глушь, на Урал, в демидовские владения. Здесь, в горнозаводском поселке Нижнем Тагиле, ждала Бекмана должность бесхлопотная и доходная: главный лесничий угодий господ Демидовых. Скоро, даже очень скоро супруга родила новому лесничему сына, коего нарекли Анатолием.

Время летело. Сын вырос, уехал учиться в столичный университет. Окончил оный, даже получил какую-то

ученую степень. И заботливые родители поспешили отозвать сына из столицы, подальше от соблазнов. Анатолий Константинович возвратился на Урал и был благосклонно назначен висимским управляющим.

Неизвестно, насколько правдива легенда о его происхождении, хотя по тем временам ничего удивительного в ней нет. Тем более, что лицом и статью Анатолий Константинович Бекман весьма походил на «в бозе почившего» императора Александра Второго. Такой же, с залысинами, лоб, бесцветные глаза с тяжелым самодержавным взглядом, благородный нос. Кроме внешности от императора достался ему властный, необузданный нрав. От гвардейского же офицера перешла любовь к водке и нелюбовь ко всякого рода делам. Правда, он каждый день приезжал на завод в коляске, запряженной огромной кобылой, и с кучером Викулом на облучке, хотя управительский дом расположен рядом с заводом. Бекман приезжал, подписывал бумаги и уезжал домой.

Женился Анатолий Константинович тоже, должно быть, по вспыльчивости характера. Работала на заводе девка-коновозчица, именем Прасковья. Девка как девка. Возила в двухколесной таратайке «сок» — шлак, покрякивала на лошадь звонко и лихо, пересмеивалась с парнями, нахальных лупила вачегою по мордам, смиренных острым словцом задевала. В праздник принаряжалась немудрено да песни пела.

От прочих заводских девок отличалась Прасковья отменной красою. Парни из-за нее дрались в кровь, конторские писаря за нею увивались, леденцами угощали. Да все напрасно: попалась как-то на глаза управляющему, и повелел Бекман быть ей горничной в господском доме его.

Кто знает, как управлялась горничная с барином, а только прошел год, и Бекман, наплевав на дворянские обычаи, вдруг женился на своей горничной. Стала она, Прасковья Силантьевна, барыней. Еще более похорошела, откуда-то взялась гордая барская осанка, туалеты завела не хуже, чем у дам уездного общества. Теперь уж никак невозможно было вообразить ее в сарафане, испачканном глиной, на таратайке да с хлыстиком в руке. И пошли у Бекманов дети — два сына, две дочки, уже истинные барчуки. Так что благородной дворянской породы рудничная девка никак не испортила.

Все шло в Висиме хорошо и даже прекрасно. Завод-

ское начальство — надзиратели, уставщики, счетоводы — на управляющего не обижались: хоть и строг, по-своему честен, воров да лихоимцев не терпит, но, спасибо ему, в тонкости дел заводских не вдается, помаленьку воровать можно... И воровали чинно, по совести, не больше, чем на других заводах. Сбывали железо на сторону, аккуратно расписывая в бумагах законные убытки, — комар носу не подточит. Нечего бога гневить — жить можно.

А Григорий Усов был плотник. Мужичонка росту малого, ничем особо не примечательный. Разве что бородою — русая, окладистая, такую и самому исправнику носить не зазорно. Хорошая борода. А вот глаза многим не нравились. То есть не сами глаза, а взгляд в упор. Ежели когда и кланяться доводилось — попу ли, уряднику ли, — все одно глядел исподлобья прямо начальству в зрачки, будто вопрошая: что начальство ты, я вижу, а вот человек каков? Поп обижался почему-то, благословлял мужика сердито, торопливо — не благодатью осенял, а открещивался. Урядник же Савва Фомич Литвинов говаривал:

— Ты, Усов, мужик степенный, ни в чем вредном покамест не замечен. Однако внутри ты большая шельма, по глазам видать. Ну, чего уставился? Ты мне кто — судья, прокурор? В кутузку бы тебя на недельку...

Семья у Григория Усова — сам с бабою, да сыновей пятеро, да четыре девки. Старший сын уж кормилец, пятнадцать годов ему, в церковноприходской школе учился отменно и ныне при конторе писцом состоит, и хоть жалованье убогое, а все лишняя копейка в семью. Остальная ребятня мелочь еще, дома по хозяйству копошатся. Да у заводских хозяйство велико ли. А семью накормить и одеть надобно. Жили Усовы без избытков, а и не хуже прочих заводских висимцев. Получал Григорий за плотницкую свою работу в месяц пятнадцать рублей, ну и нечего бога гневить.

Плотник с управителем дел не имел. Управитель плотника знать не знал. Да столкнула их нелегкая однажды на господском подворье.

В осеннее слякотное предвечерье воротился Бекман с охоты в бричке с неизменным Викулом на козлах. То ли егеря хозяину не потрафили, то ли дождь да мокреть досадили, только зол был управитель и крепко

выпивши. Сидел в бричке мешком, покачивался на ухабах, хмуро уставясь в широченную кучерскую спину. А Усову в тот час случилось быть на бекманском дворе — помогал дворнику управиться, захворал что-то дворник. Подъехала бричка — пред нею ворота настежь. Да и покажись тут Бекману, что нерасторопны слуги, что замешкались ворота открыть, хозяина под дождем ждать заставили, каналы ленивые!

— Стой, — велел кучеру, тяжело вылезая из брички. — Эй, дворник, спишь, сук-кин сын! А вот я тебя разбужу!

Здоров был управитель — от барского кулака вякнул дворник, брыкнул опорками...

— Дозвольте, барин, вот я его... — услужливый Викул сунулся.

— Не смей! Я сам! — засопел Бекман. Но кучер уже навалился на дворника.

— Не смей, каналья! — медведем рывкнул Бекман и треснул кучера тростью по гладкой шее, но потерял равновесие и повалился на него. Теперь кучер трепал дворника, барин тузил кучера. Глядеть на эту кучу малу было смешно. Но хворый дворник под тяжестью двух дюжих тел совсем уж глаза выпучил...

И Усов не утерпел — схватил барина за плечи, в сторону оттащил, успев и Викула садануть ногою в зад, кучер взвыл и выпустил дворника. Бекман, весь в грязи, тарачил на плотника хмельные глаза.

— Караул! Люди-и! Барина бьют! — заорал Викул.

Прибежали конюхи, повар, мелкая дворовая челядь. Плотника хватать не отважились, барина под локотки повлекли к крыльцу.

— Па-ашли все к дьяволу, — махнул рукой Бекман и сам поднялся по ступенькам навстречу барыне Прасковье Силантьевне. Пошел домой и Усов, очень желая, чтоб на завтра барин заспал, забыл дворовое присшество.

Утром проспавшийся и протрезвелый Бекман, как всегда, к одиннадцати часам приехал в контору. Тотчас велел доставить «того сук-кина сына».

— Какого-с?

— Вчерашнего.

— Сию минуту-с.

В конторе уж слыхано было, каков Бекман вечор с охоты воротился. Вчерашних доставили, всех троих — пусть сам разберется, который из них надобный. Викула и дворника Бекман выгнал по-хорошему: «Па-ашли

к дьяволу!» Они пошли охотно. Управитель устался на плотника. Плотник на управителя. Бекман заморгал.

— Так вот это ты и есть?

— Я и есть, господин управитель.

— Как же ты осмелился на меня руку поднять?

Бекман сидел за большим столом, покрытым красной суконной скатертью. Жесткое лицо с благородным носом, надвое расчесанная, с густой проседью борода, бледная лысина блестит, как шлифованный мрамор. У стола напояженный кассир стоит, с укоризною головою качает Усову.

— М-м? Как ты посмел, каналья?!

— Вы вчера с маденько того... выпимши пребывали. Я вас и отвел от греха, чтоб невиноватого не обижали. А чтоб бить вас, того не было.

— Еще чего не хватало! — рявкнул Бекман. — Вон с завода! Во-он, каналья!

— Господин управитель, — хрипло сказал Усов. — У меня ребятенков девять душ, чем кормить их стану? Они-то вас не трогали.

— Вот чтоб и впредь господ не трогали, даю тебе расчет! Ну, чего глядишь? Как смеешь?! Убрать его!

Слова не молвя, Григорий надел шапку и вышел.

— Ишь! Пошел — не поклонился барину, — все качал головой кассир.

— Скоро придет — поклонится, — уверенно сказал Бекман.

Скучно стало в избе Усовых. Жалованье сына — невелико подспорье. Григорий за любое дело брался: кому крышу подновить, кому баньку поставить либо печь сложить. И в Висим, и в ближние деревни хаживал по плотницкому делу. Мужик он мастеровитый, да случайной работой кормиться трудно.

По привычке Григорий Усов подымался с первым гудком. Умывался, хлебал квасную тюрю и торопился вон из избы искать промысла какого-нито. Вечером дома по хозяйству копошился, вроде бы не замечая вздохов жены. Когда ж истекла дождями осень, и посыпались белы снега, и сковали пруд ноябрьские морозцы, а в усовском ларе последняя мука выгребена и выметена, тогда, в предвидении зимы бедственной, голосом восплакала Григорьева жена:

— Осподи, да чо же это, да как же мы зимовать станем? Чо же ты, отец, думаешь? Гляди, у робят одне пимы на всех, и те ветхи. Карасин в лампе последний, и лавошнику задолжали, и денег нету... Да поди, отец, к управителю, повинись...

— Пошто мне виниться, ежели я не виноват?

— Все одно повинись, потешь его, ирода. Сказывают, Бекман — господин отходчивый. Ваньку Бодрова выгнал, а как тот повинился, обратно изволил возвернуть на завод. Поклонись и ты, пожалей робят.

Григорий отмалчивался: мало ли что бабий ум удумает и язык сболтнет. Одно дело Бодров, иное — Усов.

Кузнеца Ивана Бодрова, мужика дурашливого и крепко пьющего, схватили вахтеры, когда волок под пиджаком связку полосового железа. Доставили к Бекману.

— Воровать вздумал?! — вскипел честный Бекман. — Ну-ка, ну-ка, мерзавец, покажи, как железо прятал.

Ванька заревел в три ручья, горько стал каяться.

— Прости, ваше благородье, боле ни в жисть, провалиться мне, чтоб меня черти слопали...

— Нет, ты покажи, покажи!

— А ну!.. — съездил его вахтер по затылку.

Хныча, Ванька накинул на шею лямку, пристроил железную связку под дырявый пиджак. Рыдая и звеня, вопил:

— Батюшка кормилец, не гони! В первый и в последний раз!

Но тут пришел надзиратель Челышев и два конторских счетовода, начали морочить Бекмана цифирью бумажной. Бекман в той цифири увяз и про Ваньку забыл. Тот к двери тихохонько на цыпочках подвинулся — не глядя на него. Задом, задом дверь отворил, в коридор упятился — ничего. Из конторы — во двор да к проходной... А сам плачет горькими слезами. Вахтер, что у ворот дежурил, обыскать беднягу и не подумал.

— Выгнали тебя? А не воруй хозяйское добро!

Бодров ревет громко, а мимо охранника ступает плавно, чтоб железом не звякнуть. Да за угол, да на постоялый двор знакомой дорожкой. Трактирщика на крылечко выманил:

— Вот те, Наумыч, железки, налей мне-ка поживее чарочку, а вечером забегу, сочтемся за остальное.

Выпил чарку, еще чарку, крикнул, подумал малость. И пошел назад в контору, в кабинет управительский. Бекман все еще плавал в цифирной стихии, надзиратель Челышев бубнил ему в одно ухо, счетоводы — в другое, и надоели они управителю до чертиков. Утомившись, подмахнул подсунутые бумаги, вздохнул с облегчением, поднял голову. И опять увидел Ваньку, стоявшего на прежнем месте с постной рожей.

— А! — сказал Бекман. — Так покажи мне, как выносил железо.

— Ваше благородие, отец родной! Нету его, железа-то.

— Что-о? Как нету? Расстегни пиджак, скотина! Н-да, действительно... Где же оно?

— Тяжело было стоять с эким весом... Пошел я да и пропил, простите, Христа ради!.. — завыл Бодров и хлопнулся в ноги...

— Как?! Уже?! Ну, шельма несусветная, ну, сук-кин сын!

Ванькин покаянный рев смешался с хохотом Бекмана. В дверь заглядывали конторские и тоже хихикали, Навеселившись, управитель простил Бодрова.

Ну, Ванька — прохиндей и шут. А Усов кланяться не собирался. Маялся, а в контору не шел.

Тяжела та зима далась не только Усовым, а и всему работному люду российскому. После маньчжурского поражения да от непорядков вседержавных цены на хлеб, на всякий харч возросли вдвое, втрое. Висимцы, кто и при заводе состоял, каждую копейку берегли, кормились прошлогодней картошкой, огородную овощь доедали.

Григория Усова жизнь допекла — скрепя сердце поплелся в контору. Брел медленно, тяжело. Гордость не пускала, нужда гнала.

Из управительского кабинета — рабочие называли его «судейская» — слышались голоса. Гудел неразборчиво Бекман, и доносился женский плач. Григорий сел на скамью в коридоре, задумался. Отворилась дверь, вышла баба и стала, глядя в пол, держа у груди сжатые кулаки. Влажные глаза зашурены, лицо бледно и окаменело. Григорий поднялся со скамьи, шапку снял. Он знал беду этой женщины. Два дня назад в конце

смены у ловильщика¹ Архипа Еркина размоталась завязка пряденика — веревочного лаптя, затянуло ее в валы, а с нею и рабочего; шум машин перекрыл дикий крик... Валы прокатили человека в лист.

— Васена,— позвал Усов.— Ты, девка, не того... Чего уж теперь убиваться напрасно. Планида наша такая, всю жизнь под богом ходим. Ты вот что, ежели помочь надо чем, так скажи. Ну там дровец наколоть, починить ли что...

Еркина подняла невидящие глаза.

— Вот. Архипу Ульянычу моему вся цена...—протянула руку, разжала кулак, на темной ладони тускло блестел серебряный рубль.— Пришла пособия испросить. А для нас денег у Демидова нету нисколько, ни копейки. Управитель, господин хороший, रुपь подал на панихиду... Как же я теперь одна с ребятенками малыми, как жить буду?! Господи, как жить?

Рубль упал, покатился. Григорий поднял монету, Васене в ладонь вложил: «Не роняй. С паршивой овцы хоть шерсти клок». Под руку вывел вдову из конторы.

Ни с чем воротился домой. Жена спросить заикнулась — прикрикнул:

— Молчи! Кого просить стану, кому кланяться? Им? Господину Бекману? Да краше по миру с сумой али на большу дорогу с топором! — и выбежал, хлопнув дверью.

Однажды, поправляя крышу на баньке у соседа Михайлы Рябкова, увидел Григорий управителя в бричке. Бекман шурился на весеннее солнышко и тоже увидел плотника, узнал. Приказал Викулу остановиться.

— Ну как, сук-кин сын? Не образумился еще?

— Образумился, барин,— неохотно снял шапку Усов.

— Ты хорошо подумал?

— Хорошо.

— Не станешь теперь, шельма ты этакая, за руки меня хватать?

— Пошто мне вас хватать.

— Ага! То-то же!

— Только ежели вы сызнава будете невинного бить, драться не дам, барин.

¹ Л о в и л ь щ и к — профессия рабочего прокатных станов на демидовском заводе.

— Викул, гони!

Кобыла взяла с места рысью.

Плотник проводил барина взглядом, нахлобучил шапку и шибче затюкал топором: частый, ловкий и легкий, веселый хряст из-под топора далеко разлетался в весеннем воздухе — пускай слышит барин самодуристый, что от придури его не отсохли руки у плотника Усова, что и работный человек умеет противу господ себя соблюдать.

В тот вечер, отробившись, только успел домой воротиться, глядь — гость в избу, Ванька Бодров. Не то чтоб пьяный, а в веселом подпитии. Образам покрестился, хозяевам поклонился, мелким смехом залился.

— Гриня, мил человек! Видал я давеча, как ты с Бекманом баял.— Подмигнул хозяйке:—Панкратьевна, мужик-от твой, а? Управителя-то, а? Грит, вдругорядь я тебе ишшо не эдак бока намну! Ай, уважил!

Панкратьевна так и села, на мужа уставилась. Старший сын-конторщик — он на другом конце стола валенок подшивал — замер с дратвой в зубах.

— Мели, Емеля, твоя неделя, — сказал Григорий.— Поднесли тебе рюмашку, вот и насобирываешь невесть чего.

— Да ей-бо! Бекман спужался, орет Викул: «Гони-и!..»

— Ты врать сюды пришел? — осердился Григорий.

— Пошто врать? Дело у меня к тебе, — Ванька бросил смеяться, лоб наморщил с важностью. Избу оглядел, хозяину подморгнул. — Тута все свои, говорить можно... А дело у меня умное. Вот ты, Гриня, счас не заводской, сам себе хозяин. По деревням, бывает, ездись. Давай так, мил человек: я сюды железишко таскать буду, а ты в деревнях его кузнецам сбывай либо ишшо кому надежному. Самому-то мне с этим возжаться никак не сподручно...

— Ишь ты! Стало быть, ворованным торговать смаливаешь?

— Ну. А чо? Господа воруют — завидки берут, на них гляючи. Конечно, они учены все, грамотны. Нам за имя не угнаться, нам по темноте нашей хошь маленько бы, мне-ка на винцо, а тебе на... Ну чо, ну чо глядишь, ровно архирей на гулящу девку? Ишь уперся! Убери глаза-то, я дело говорю.

— Шел бы ты, Ванька, знаешь куда...

— Знаю — в кабак. Счас и пойду, я седни, грешным делом, на полтину железишка промыслил. Айда со мной, глонец по махонькой? Не хошь? Дело твое. Дак чо, сторговались мы али как?

— Не столь мы еще оголодали, чтоб милостыньку просить либо воровать.

— Эх, Гриня, мил человек! При твоей бедности не гордиться бы, а слушать, чего умны люди присоветуют. Я ведь пришел, вас жалеючи... Как господь велит нам помогать ближнему.

— Тебе, гляжу, господа вороватые ближе, им и помогай.

— Не согласный, стало быть? Жалко. Мужик ты смелый. Ну, прощевайте, хозяева.

У порога Бодров еще поклонился.

— Не осуждай меня Гриня. Хоть мы не сговорились, однако мое к тебе полнейшее уважение. А все ж таки ты дурак, ей-бо!

Когда он убрался, жена сказала Усову

— Не вяжись с ним, с пьяницею. Ежели бы кто порядочный...

— Порядочные не воруют.

Панкратьевна промолчала. Когда она ушла в сени набрать из кадушки квашеной капусты на ужин, сын сказал, от работы глаз не подымая:

— Теперь все воруют, тятя. Порядочные, они, может, прежде и водились на свете, да ноне перевелись. Я при конторе мелка сошка, и то вижу, как тащат всяк себе...

Молвил и ниже к валенку нагнулся: тятя поперешных не любит, он сам поперешный. Но отец голоса не повысил, ответил с усмешкою:

— Видишь? Худэ ты видишь, парень, из конторы-то своей. Не может того быть, что у нас в Висиме одно ворье живет. И господа тащат, так им всегда все мало, ихняя жадность ненасытна.

— Не одни господа тащат.

— Верно. Та зараза и на мужиков перекинулась — которы послабее, духом пожиже. Ну, таким ты не завидуй. Ты умей так заробить, чтоб деньги честь по чести и брать, и тратить.

— Я не завидую. Только обидно! Вот хошь бы и ты, все по совести жить норовишь...

Парень умолк: мать в избу вошла, при ней тятеньку

корить негоже, еще она встрянет, наскочит всякого, а тате и без того тошно.

Панкратьевна подала на стол миску с капустой, добыла из печи горшок с кашей. Григорий, прижав к груди несвежую краюху хлеба, отрезал всем по куску. Но прежде чем, помолясь, к ужину приступить, старшему сыну ответ дал:

— Вот что, парень. Хлеб наш насущный с отрубями пополам, но я, как господина управителя встречу, в глаза ему гляжу прямо, не виляю. И урядник, хошь он и власть, а буркалы свои от меня отводит. Да и прочие господа... Выходит, не в них сила, а во мне. Так-то, парень... Ну, господи, благослови,— стукнул он ложкой о край глиняной миски.

Завод дымил, лязгал, грохотал, полыхал багровыми заревами — завод работал исправно вроде бы. Только прибылей давал не в пример меньше, нежели в годы былые, хотя руды и прочего заводского припасу доставлялось в прежней мере. К тому клонилось, что вскоре кабы не сделался Висим убыточным для владельцев Демидовых. Анатолий Константинович Бекман прегрозные всем разносы учинял, вся контора, бывало, ходуном ходила от его топота и брани, уставщики с лицом белей церковной стены из «судейской» выскакивали, крестным знаменем себя осеняя, бежали шпынять мастеров, а те в свой черед яро, в три колена, в черта-дьявола крыли рабочих. Шуму было много, толку было мало.

— Работать не умеете, кан-нальи! — громыхал Бекман. — Я вас научу!

Научить он ничему не мог, поскольку в заводском деле не весьма толков был. Да и без него все свою работу изрядно разумели. В ином таилась причина убытков. За спиною строгого управляющего завод разворачивали: начальство — возами, мастера — пудами, рабочие — в меру совести. Издавна такое водилось, и при прежних управителях без того не обходилось. Но тогда как-то соблюдали меру, потаскивали с оглядкою, побожески. А тут всякие меры вверх тормашками перевернулись...

Началось оно, когда у Бекманя подросли сыновья. Старший, Михаил, окончил кадетский корпус, вышел офицером и служил в Санкт-Петербурге. Второй, Кон-

стантин, не гораздо успешно, зато весело учился в Екатеринбургском реальном училище. Молодые дворянчики обожали приятную жизнь, любили кутнуть с размахом, побаловаться в карты и прочее такое... Маменька Прасковья Силантьевна, в сыновьях души не чаявшая, время от времени получала нежные и слезные письма с одной — от старшего и младшего — просьбой: прислать поскорее денег. Показывать эти милые письма суровому супругу не всегда решалась Прасковья Силантьевна, ибо у него был на то свой резон:

— Молодые люди должны преуспевать в науках и служении на благо отечества, а не в тратах денег отцовских. Я посылаю им достаточно для приличной, но скромной жизни. Сверх того — ни рубля!

На заводе каждому было ведомо: упрямый Бекман приговора своего не меняет. И в делах семейных Прасковья Силантьевна нрав супруга Анатолия Константиновича довольно знала, докучать ему просьбами денежными более не отваживалась. Но ее милым мальчикам, Мише и Костеньке, нужны деньги...

Однажды Прасковья Силантьевна призвала к себе в управительский дом одного из цеховых уставщиков. Встретила любезно да обходительно, расспросила о жене, о детках. Улыбкою ласковой, взором доверчивым старалась гостя к себе расположить. Уставщик смотрел на нее с удовольствием — не первой молодости, а хороша еще бывшая коногонщица! Но на любезности отвечал с осторожностью, про себя гадая: чего ради призвать изволила? И она огорошила наконец со вздохом томным:

— Павел Евсеич, мне надобно сотню...

— Сотню чего-с? — словно бы не понял гость.

— Ну не кренделей же! Могут же быть у дамы кое-какие мелкие расходы, о которых не обязательно знать мужу. Вы, мужья, вечно заняты заводскими делами... Ну-с, любезнейший Павел Евсеич, понял ли? Сотенка рублей тебя не обременит.

— Помилуйте, матушка Прасковья Силантьевна, где ж мне их взять?!

— Так уж и не знаешь? Полно, Евсеич. Не мне тебя учить, а тебе меня слушаться. На этой неделе сто рублей чтоб мне были! Ступай. Супруге поклон мой передай.

Воротившись в цех, уставщик зачесал затылок. Сто рублей поискать, так сыщутся, не столь велики деньги, а все одно жалко. Опять же и перечить Бекманше боже

упаси: шепнет мужу словечко под горячую руку — и пропал Евсеич! Видно, так уж тому и быть... Помозговал уставщик, пошептался кое с кем да и продал втихомолку на сторону несколько подвод сортового железа. Деньжонки поделил честно: сотню Бекманше, полторы себе.

Молодые Бекманы — один в столице, другой в Екатеринбурге — промотали деньги, как подобает благородным повесам, скоро и бестолково и вновь плакались на безденежье. Пришлось маменьке звать в хоромы свои уставщика из другого цеха, тоже господина услужливого да понятливого. И новый обозец с железом чинно отбыл с Висимского завода, а куда, бог весть...

Цеховое начальство быстро вошло во вкус, крали уже вовсе беспардонно: авось обойдется, а коль не обойдется, так Бекманша не даст пропасть, ибо сама в кражах сих изрядную выгоду имеет. Надобно только, для приличия, чтоб в документах умненько расписано было: убытки происходят не из-за корыстного умысла, а по всяческим причинам постороннего свойства.

Но вознегодовала заводская бухгалтерия: «Господа, имейте совесть!» Пришлось совесть возыметь — взять и бухгалтеров в долю. Те умолкли и занялись составлением фальшивых отчетов, довольно, впрочем, убедительных с виду.

Глядя на начальство, не оплошали и мастера: негоже и им робеть, ежели такая благодать настала. Члены правления рабочего кооператива увлеклись своей методой: рабочие у них землю рыли, лес пилили, строения воздвигали, но только на бумаге, а вполне настоящие деньги за эти выдуманные труды из заводской кассы через кооператив получали сами члены правления.

Крали висимские деятели весело, дружно. И благодетельнице Прасковье Силантьевне, сколь ей потребно, несли, на заступничество ее уповая. Уставщик покрывал мастера, мастер — уставщика, оба вместе — кладовщика, а всех их — опытная бухгалтерия. Бекман подмахивал бумаги не вникая, а верил искренне: из вверенного ему завода и гвоздя не утащишь. Ежели и случались промашки, так с воришками мелкими, пустяковыми.

Изволил однажды Анатолий Константинович самолично обзирать завод: отчего все же доходы уमाляются? Как всегда, приехал в коляске. Но вместо Викула, пребывавшего о ту пору то ли в отпуске, то ли в запое, восседал на облучке отставной солдат георгиевский

кавалер Николин, которого Бекман очень любил за бравый вид. Управитель по цехам прошелся, обругал, кто под руку попался, и, утомившись, рассудил, что пора домой. Взобрался он в коляску, Николин взмахнул кнутом, рослая кобыла прытко простучала подковами по брусчатке заводского двора и уперлась мордою в запертые ворота. И кобыла, и Бекман весьма удивились такому небрежению, кучер браво рывкнул:

— Эй, отворяй ворота! Аль не видишь, кто едет?!

— Спят, сук-кины дети! — проворчал Бекман и рот открыл, чтоб изругать подбежавшего охранника, по прозвищу Андрюха Чирей. Но Андрюха, от испуга бледный, поклонился и сказал:

— Дозвольте, барин, коляску оглядеть... кха... по части воровства-с...

— Как ты сказал, каналья?! Меня обыскивать?! — потрясая кулаком, Бекман вылез из коляски, замахнулся... Но проворный Чирей успел откинуть сиденье — обнаружилось связки железа. Бекман замер с открытым ртом и поднятым кулаком. Пока он соображал, какая же каналья подсунула железо под собственный его управительский зад — бравый отставной солдат Николин прыгнул с облучка, огрел Чирея кнутом и убежал через калитку, ругаясь и звеня Георгиевскими крестами. На бешеную ругань Бекмана сбежались из цехов уставщики, кладовщики, мастера. Они тоже ругались, негодовали: «Как это низко, боже мой! Господа, это просто из ряда вон!» Николин был с треском выгнан. Все прочие остались.

Ворованное железо охотно скупали обозники ирбитских и кунгурских прасолов, привозившие в Висимский поселок лен, конопляное масло, муку и прочий харч. Имели свой барыш и здешние лавочники. Всем было хорошо. Но завод, к сожалению, приносил теперь явные убытки. Уже повисли на некоторых складах, амбарах, даже на штабелях дров неприятные дощечки: «Заложено в государственный банк». Назревал скандал. Жуликам следовало вовремя остановиться, что-то предпринять... Но воровство — как запой или картежная игра, попробуй остановись, ежели еще охота. И вот однажды...

Однажды счетовод Кузнецов, будучи по служебным делам в Екатеринбурге, не преминул на досуге посетить

некое заведение. И там, увлекшись, продул в карты весьма значительную сумму казенных денег. Люди, умудренные опытом житейским, давно открыли закономерность: кому не везет в карты, тому везет в любви. Вот из-за того, второго везения, было у счетовода Кузнецова премного недоброжелателей — да и, боже, у кого их нет! Словом, о растрате донесли управителю Висимского завода. Бекман рассвирепел. Топал ногами, гремел по столу кулаком, оглушительно ругался. Все это провинившийся мог бы и перетерпеть: брань на вороту не виснет. Но на сей раз управитель разобрался в деле досконально, и увлекающемуся счетоводу был предъявлен судебный иск на восемьсот с лишком рублей, а это уж обидно. Оскорбленный счетовод, никому не сказавшись, поехал в Тагил и выложил всю подноготную о висимских приятелях-прохвостах своему родному брату, частному поверенному, который состоял на службе при самом Егорове, главном управителе Тагильских заводов. Счетовод рассудил: пропадать так не одному, а в привычной компании.

Внезапно, словно июльская гроза, нагрязнула в Висим ревизия с Егоровым во главе. Долго разбираться не пришлось: все, что было невдомек строгому Бекману, оказалось ясным как день под скрупулезным оком ревизоров. Слишком нахально орудовали прохвосты. Деться некуда, признались во всем и повинились:

— Нечистый попутал, и Бекманша велела-с.

Перед отъездом в Тагил главный управляющий Егоров пригласил Бекмана в его же кабинет — «судейскую». Егоров сидел в кресле, Бекман тяжело опустился на стул по другую сторону бывшего своего стола.

— Вы прочли акт ревизии, Анатолий Константинович?

Бекман молча кивнул. Долго таившаяся правда свалилась на него, придавила властную, барственную душу, он как-то сразу постарел, обрюзг, обмяк. Седая, надвое расчесанная борода неподвижно распласталась на черном сукне сюртука с золотыми орлеными пуговицами.

— Надеюсь, вы понимаете, что это дело подсудное? Нет, я не сомневаюсь в вашей порядочности, Анатолий Константинович. Но убытки, принесенные владельцам завода, слишком велики. К тому же ваша супруга весьма причастна, гм... Ах, Анатолий Константинович, как могли вы не видеть ничего?! Вы, управляющий! Можете ли

вы привести какие-либо резоны в свое оправдание?

Бекман медленно поднял голову, посмотрел на Егорова грустно и устало.

— Павел Иванович, вы недавно изволили быть в Санкт-Петербурге?

— Да. И что же?

— Полагаю, бывали там и в частных конторах, и на казенных мануфактурах, и в министерствах. Вы умный человек и видели, как процветает воровство всюду-всюду. Крадут, кому не лень, от провинциального подрядчика до...

— К несчастью, вы правы. Но должна же быть мера...

— Воровству нет меры, нет предела. И разве не видит того государь, он, управляющий всея империей? Возможно, и видит, но... предпочитает не замечать — очень уж прочно лихоимство на Руси. И убытки на Висимском заводе — капля в безбрежном всероссийском воровстве. Вот и все, чем мог бы я дополнить акт ревизии.

Они долго молчали. Наконец Егоров сказал, отложив акт:

— Господин Бекман, не в наших, а тем более не в ваших интересах возбуждать судебное дело. Предлагаю вам подать прошение об отставке. Надеюсь, что главная контора, приняв во внимание вашу долгую службу, назначит вам пенсию. За сим не смею долее вас задерживать.

— Благодарю, Павел Иванович,— голос Бекмана дрогнул.

Бекман и бывший его помощник Модзелевский ехали в коляске от складов в контору — самовластный управляющий сдавал дела. Та же коляска, и кобыла та же, и Викул на облучке. Да не тот Бекман, не прежний... Рассеянно вперены бесцветные, как у императора Александра Второго, глаза в кучерскую широкую спину, и не хочет он более видеть висимские улицы, завод, пруд...

Услыша стук топора, так же безразлично поднял голову. На очередной чьей-то крыше порабливал, потюкивал плотник Григорий Усов. Бекман узнал его, обернулся к Модзелевскому:

— Видите этого мужика, Иосиф Ладиславович? Прошу, примите его на завод. Через рассыльного призовите, сам не придет.— Отвернулся, добавил:— Твердый мужик, переупрямил Бекмана, сук-кин сын!

Фарт братьев Ходыревых



Возле своего проулка Паньша спрыгнул с телеги в грязь, крикнул:

— Спасибо, хозяин!

В ответ мужик мотнул бородой. Охлопал на телеге мешки, вожжами поторопил усталую лошадку.

В родном поселке Паньша не бывал по полгода и боле. Когда случалось завернуть ден на пяток, на недельку ли, ежели праздник какой, то каждый раз приятно ему было, хорошо так вот идти, узнавать все свое, здешнее, родное. По проулку этому, бывало, в пряталки играли-бегали, таились в лебеде и за Вавиловой банькой... К своей избе, бывало, через заплот да по чужим грядкам... А черемухи у Камаевых — по уличному прозванью Ясашных — повырубили, ишь, только два куста оставили.

Проулок миновал — как раз на Троицкой церкви ударили к вечерне. Сдернул картуз, закрестился то ли звону троицкому, то ли избе родительской, что через широкую улицу глядела на него тремя окошечками. И опять, как в прежние его приезды, показалась родительская изба еще ниже противу прежнего, еще старее. Темная, ставенки не крашены давно, крыша от мха в пятнах зеленых и прогнулась посередке. Стекла радужно-синие, завалинка дощатая погнила. Бедная избенка, неказистая, но креститься на нее охота, как на божий храм...

В руке картуз держа, Паньша перешел улицу. На темных воротах узоры деревянные повыщербились... Толкнул — знакомо скрипнули железные петли. Во дворе запах тоже знакомый, родной — назьмом, сеном, курами, старым деревом пахнет. Ступеньки-то скособочились, ровно и нету в доме хозяина...

В избе темновато. Паньша кинул на лавку картуз, поддевку, холщовую дорожную сумку.

— Кто там? — из кухни старческий голос.

— Маманя!

— Сынок! Пашенька! Господи...

В кухоньке, и без того крохотной, выцветшим ситчиком завешена лежанка.

— Мамань, ты лежи, лежи.

Опустился на колени, ткнулся лицом в сухонькое плечо матери.

— Пашенька, голубчик ты мой, — старуха гладила обеими руками жесткие волосы сына. И он затих, всей душой ловя полузабытую ласку.

— Приехал, дождался... Слава те, осподи... Устал, поди, в дороге-то?

— Не-е, маманя, ты лежи. Как ты счас, не хворашь?

— Дак ведь, милай!.. От болезни поправляются, а от старости поправки нету. Глаза видят худо, ноженьки болят, руки ломит к погоде. Лежать неохота, по хозяйству бы чо изделать, да моченьки нет.

— Ничо, маманя, скоро летнее солнышко пригреет, на улку выходить станешь, оно и полегчает. На-ко вот, пряничков привез, гостинца. Просвирку, из Покровского монастыря, на. Деньги четыре с полтиною, спрять.

— Спаси тя Христос, Пашенька, не забывашь старуху. Просвирку возьму, а прянички робятишкам отдай.

— Они где-ка?

— Девчонки младшеньки на улке играют, не в силах я ноне за имя углядеть. Сенюшка наш с рождества при деле теперь, в услужении у сундушника Еремея Силыча. Бог даст — ремеслу научится.

— Сеньке бы в училище ходить.

— Куды еще-то? И так двухклассно кончил, грамотной.

— Лизавета тебя не обижает, маманя?

— А грех худое молвить, не обижат, куском не попрекат. Гаврюша тоже, как с прииску приезжат в баню да в церкву и ежели не выпимши, завсегда подойдет: как, мол, здоровычко, маманя? Егор тоже — к пасхе сахару принес, муки полпуда. Хороши у меня сыновья, дай им бог за доброту ихнюю.

— Погляжу, плохо бог Гавриле за доброту дает.

— Не гневи оспода, Паша. Кабы Гаврюша вина не пил, дак чо же, можно бы... Бывают, на прииске хорошо заробит, да до избы не донесет. Вот старший твой братец Егор Тимофеич, он уж лишне не выпьет, хозяин рачительный, осподь ему и дает по милости своей.

— Однако ты у Егора жить не хошь...

— У Егорушки свои дела... А эту избу мы с папаней твоим покойным Тимофеем Авдеичем, царствие ему небесное, своими руками ставили.— Мать покашляла, по-

кряхтела. На другое разговор повернула:— Ты надолго ли, Паша? Али, може, насовсем?

— Не, чо мне здесь? Дня на три. Потом на Висимский завод, оттеда на Межевую. Берут меня в артелку, железо на полубарке по Чусовой до Камы сплавить. Да ты, маманя, за меня не горюй.

— Милай, как не горевать. Три у меня сыночка, за всех материнско сердце болит. За Гаврюшу — пьет не ладом. Егорушка всем вышел, и умом, и ухваткой, а и за него бога молю: все он сокрушатся, что торговля худо идет, убытошно. О тебе забота — по чужим местам скитаешься. Кто спросит: как, мол, Паньша твой? — а и не знаю, чо отвечать. Вчерась вон Ивана Пафнутьича Зуева дочка прибегала...

— Разве она здесь? — вскинулся Паньша.

— Как же, как же, приехала из Катеринбурха. Прибежала: «Где Паша?» Да бог его знат, говорю. А батюшка ее, Иван-то Пафнутьич, в силу вошел, торговля на широку ногу. Хошь бы нашему Егорушке таку бы удачу, шибко он на недостатки жалобится. К пасхе мучки принес, бает: последний раз, може, до следующей пасхи кабы не прогореть с торговлею.

— Так он, из-за сыта голодует. Прибедняется, чтоб лишний раз чего не попросили. Егор себе на уме. Эх, маманя, и пошто это люди столь разнo живут? У одного дом — полна чаша, у другого — шаром покати, у третьего и вовсе нету дому-то.

— Уж кому как на роду написано, Пашенька. Всякий норовит из нужды выбратся, да не каждому дается оно... Твой отец уж как пластался! Все в дом, все для вас, для сыновей. Неграмотной, из семьи крепостной, а трудами много достиг.

— Чего много-то?

— Как же! Егорушку вон женил удачно, на девке из семьи богатенькой, с приданым. Как Егора отделили — Гаврюше изба досталась. Токо для тебя ничто изладить не успел, помер. Ты на него обиды не держи и братьям не завидуй — грех.

— Чему завидовать-то? Я, маманя, птица вольная, куда хочу, туда лечу. Ничо мне от братанов не надо. И не про себя, про всех людей я сказал, что живут, мол, шибко разнo. Ну ладно, ты, маманя, про себя давай говори.

— Чо про меня сказывать? Лежу вот...

А сама радехонька была поведать сыну все, о чем намолчалась, за печкой лежа. И что Андрюху. Коньшина покалечило на заводе, что у Парасковьи Сединихи. на страстной неделе младенчик помер, что у Алексея, поповича, неприятность вышла... Про жизнь поселковую, не шибко ладную, про дела приисковые да заводские. Обо всем, что услышано, за печкой лежа. И все гладила сына по голове, по щекам, опущенным мягкой молодой бородкой, по крепкому плечу.

И вдруг вскинулась, заподымалась:

— Ой, дура я старая! Ты, поди, ись хошь?

— Не хочу, маманя. Пойду в церкву схожу, пока светло. На поселок гляну.

— В церкву поди, поди, сынок! Лизавета придет, блинков напекем ради твоего приезда, с пасхи маленько муки Егоровой осталось. Ты, Пашенька, зайди к Егору-то, попроведай братца. Верно, он у себя в лавке еще.

— Зайду. Ешь пряники, маманя, скусные. Это... она когда прибежала, дочка-то Зуева?

— Когда? Путаются дни у меня в голове... Да треть-его дни, ли чо ли.

— Ну, пойду я.

2

Ничего в поселке и не переменялось. У пруда завод дымит, ухает. На площади весеннее солнышко грязь подсушило, местами и пыль, гляди-ка. Вкруг площади амбары, лавки, каменный магазин купца Походяшина довольно улыбается заре вечерней. Троицкая церковь, белоснежная, по колено в тополях, чуть-чуть зазеленевших, золотым крестом осеняет главную улицу, дома каменные да полукаменные, кои с мезонином, кои и о двух этажах.

Паньша подгадал в аккурат: субботняя служба в церкви как раз кончилась, народ из ограды вытекает степенно. Нисколько не горюя, что к службе опоздал, Паньша остановился у ворот. Крестился на икону надвратную, а глядел на выходящих. Многие тут его знают, здороваются. Поклонится Паньша в ответ и опять крестится, по толпе взглядом рыская.

— Заходи к нам, Пашка!— зовут приятели, с детства дружки.— Порасскажешь, чо там на миру деется. Кивнет и дале крестится.

Но вот рука к животу ровно пристыла, глаза на икону

умильно воззрились. Две старушонки, мимо плывя, перешепнулись одобрительно: «Благочестивый у Ходыревых младший-то, дай ему бог...»

Из ворот вышел, обочь площади по сухому месту следует третьей гильдии купец Иван Пафнутийч Зуев с супругою, с тещею и малолетним сыном. Хранят еще лица благодать храмовой службы, помыслы не обращены пока на дела житейские. Дочь-гимназистка поотсталла, с подругами перемолвилась и заспешила к родителям. Каблучок лакового сапожка глиною замарала, о камушек очищает.

— Здравсте, Зинаида Ивановна,— негромко сказал Паньша.

Просияла в ответ улыбка:

— Здравствуй, Паша, с приездом. Какой ты стал... видный!

Подобрался, плечи расправил. Руку она подала — пожал осторожно.

— Ты совсем приехал?

— Не. Ден на пять. М-кхе... Зинаида Ивановна...

— Ох, Паш, брось, не смейся! Какая тебе я Ивановна.

— Зина! Не чаял тебя встретить.

— Мама что-то приболела, и меня отпустили из гимназии раньше. Павел, мы так давно не виделись! Зимой приезжала на каникулы, мне сказали, что ты опять где-то в уезде. Так жалела, что тебя нет.

— Спрашивала обо мне, Зина?

— Конечно. Мы же... Помнишь, как меня собака чуть не схватила?

— Зинаида!— Иван Пафнутийч звал дочь. В его вздернутой бороде, в насупленных бровях явноё неодобрение.

— Папа зовет. Приходи к нам завтра, хорошо?

— Н-не знаю... Батюшка ваш Иван Пафнутийч...

— Что Иван Пафнутийч? Ты не к нему, ко мне. Придешь?

— До завтрава далеко. Сегодня бы, попозже. А? Выйдешь на крыльцо, а, Зина?

— Зинаида!— голос Ивана Пафнутийча нетерпелив.

— Иду, папа! Хорошо, выйду.

— Я в окно тебе камушком, ну, как раньше....

— Хорошо. Буду ждать, Паша, обязательно!.. Иду, папа.

Весь денек простоял добрый, настоящий майский, и вечер ложился хоть с холодком, но ясный, прозрачный, обещая назавтра ведро. В лавке сумеречно стало. Но лампу зажигать Егор Тимофеич не хотел — к чему керосин зазя тратить, ежели покупателей нету. И не будет, поди. От вечерни народ по домам разошелся. Пора лавку запирасть.

За окном все посерело: избы, заборы, грязная дорога посреди улицы. Густеет вечер. К ночи набегают облака, серые тоже. Но к утру должно разведриться — зря тучами не замарана. В избах редко где огонек светится — сумерничают люди, керосин берегут. Да за что ни хвати, все год от году дороже стает. И вот сидит Егор Тимофеич в лавчонке своей допоздна, в темноте скучает ради копейки лишней, а дела-то все одно не радуют... Осподи, сохрани и помилуй люди твоя.

Вон идет ктой-то. Не сюда, мимо. Н-да...

Помог бы осподь хотя маленько деньжонками справиться, поддержку бы откуда-нито за проценты сходные. Завел бы Егор Тимофеич лавку настоящую, на рыношной бы площади, где покупатель допоздна, в любую погоду... И доход по соответствию. Да ежели при лавке еще и трактирное заведение... С картиною на стене. С гармонистом в вечерне время. Винный откуп взять, чтоб распивочно и навынос. И уж ежели братья по-настоящему, так полукаменное строение о двух этажах: наверху — кабинеты для приисковых служащих, для господ из заводской конторы, для прочей чистой публики; низ — для простого звания народу. Вывеска бы, золоченые буквы по голубому: «Трактирь Е. Т. Ходырева». Над лавкой тоже по голубому: «Торговля Е. Т. Ходырева, товары бакалейные и колонияльные»...

Кто-то к лавке идет. По походке глядеть — молодой. От осьмушки леденцов невелик доход, а все же...

По крылечным доскам шаги, дверь заскрипела.

— Хозяин! Чо в темноте живешь?

— Осподи! Паныша, братан!

— Он самый. Будь здоров, братец Егор Тимофеич.

— Ах ты! Явился не запыхался! — Егор Тимофеич обхватил, потискал крутые плечи Павла, усами ткнулся в щеку ему. — Навестить приехал али как? Погодь, счас лампу засвечу.

Нащупал на прилавке спички, снял стекло керосиновой лампы-трехлинейки. Осветились ящики, лари деревянные, два бочонка, накрытые рогожами. На прилавке замусоленная приходо-расходная книга, счета, грудка медяков для сдачи. Егор Тимофеич будто по рассеянности прикрыл медяки счетами, обернулся, оглядел брата с ног до головы. Ладный паренек выправился. Одежка справная: сапоги яловы, поддевка суконна, рубаха новая, сарпинковая. Лицом чист да пригож. Ежели, к примеру, поставить его в доброе заведение приказчиком, то в самый раз...

— Садись, в ногах правды нет. Вон, на табуретку. Ты, быват, не насовсем ли приехал?

— Ден через пяток на Межевой Утке должен быть, барку с железом грузить будем.

— Зимовал-то где?

— А в Верхотурье, при Николаевском монастыре робил, плотничал.

— Все бродяжишь, зимогор. Не надоело? Я к тому, что пора бы уж. Время, говорю, за ум браться. На одном-то месте, Паша, и камень мохом обрастает.

— Вот и обрастай, Егор Тимофеич, мохом. А я погуляю еще.

— Но-о? Гляди не загуляйся.

— Это как понимать?

— Так. Гулящи люди неосновательны. Нету в них настоящего рассуждения по части домашности. Они ведь как: заработал деньгу да и спустил по кабакам. Нет чтобы сберегчи, прикопить на черный день.

— Вина я не пью. Деньги мамане с оказией отсылаю.

— Хвалю за то. Гаврила вон все пропиват, глотку тешит, семью нищит. Помогаю им то мукью, то крупую, то сахаром, да все ни в честь, ни в радость. Тверезый тише воды, ниже травы: «Братец, помоги, пожалей...» Как из питейной идет — куражится, меня корит. За что?! Что батюшка, покойник, перво-наперво меня устроил? Так Гавриле изба отошла...

— Изба-то обветшала. Хошь крышу перекрыть бы. Досок бы Гавриле...

— Где-ка я возьму?! Все с меня тянут!

— Я не тяну.

— Ты? — Егор Тимофеич разом успокоился, поласковел. — Ты у нас наособицу, сам по себе. Только это ведь

до поры. Пока неженатый. А тогда как? Дом у тебя где? Эх, Паша! Ты бы деньги прикапывал. Мне бы на сохранение отдавал, что ли. Мамане куда их? Маманя твои кровные Гавриле на опохмелку сует. А у меня б в оборот шли, в дело. Нагуляешься — пригодятся тебе.

— Нагуляюсь — тогда погляжу.

— Глядеть сейчас надо. После — кабы поздно не стало. Вон Лукерья Кривой сынок тоже по Чусовой гулял, гулял... да до тюрьмы и догулялся. Вот и вокруг тебя люди разные, а дурное дело — нехитрое.

— Не все ж на Чусовой пьяницы, есть там и умные люди. А дураков и здесь хватат. Не замечал?

— Умники, Паша, они тоже разны. Сказывал этта Еремей Силыч, сундушного заведения хозяин, будто в Екатеринбурге тайны сходки устраивали противу властей, а полиция заарестовала, и были там из образованных которые, из дворян даже. В Перми будто господина губернатора бонбой порешить собирались...—Егор Тимофеич почти шептал,— ...и даже противу самого государя, помазанника божия! Мыслимо ли? Умные господа и противу царя-батюшки!

— А чо? Царя Александра Второго убили, стало быть, мыслимо. Какого-то царя, слыхал я, свои же родичи придушили. Ну, про бонбу — вранье, поди. Мастеровые шумят — то правда. Прибавки к жалованью требуют, а то хошь помирай. И господского звания есть, которы за народ стоят. К примеру, в Петербурге, в Казани студенты... Ты чо, Егор?

Егор Тимофеич слушал Паньшу, и глаза у него ширились, шея длиннела.

— Я-то ничего. А позволь полюбопытствовать, кто тебе таки известия сообщает? Откуда боле моего знаешь про смуты?

Паньша захохотал.

— Ты, братец, как ровно городской допрашивашь! Не донести ли хошь? Откуда знаю? Ты вон в лавке темной сидишь, и то слухом пользуешься. А передо мною вся Чусовая, да Кама, да по берегам заводы.

— Ты сам уж не...

— Не бойсь. На таки дела у меня покамест ума не хватит. Наше дело работное: трудись на совесть да гляди, чтоб подрядчик не обсчитал. Да вот подрядчику верхотурскому одному морду набить, это бы я с дорогим моим удовольствием!

— Выпороть тебя надо с удовольствием, паршивца!

— Эко! Я — в гости, а ты сразу — пороть.

— Потому: неладно баешь, Павел. Не слушай смутьянов, стороною обходи. Помни: береженого и бог бережет. Не то...

— Ох, пойду я, — встал Паньша и надел картуз, — пока не выпорол ты.

— Для твоей же пользы сказано, дурачок, — помягчел Егор Тимофеич. — Ну-ну, не ерепенься. Айда, гость, поужинаем чем бог послал. Ночевать у меня станешь?

— Не осуди, Егор, к тебе не пойду.

— Но-о? Моим хлебом-солью моргуешь, братец?

— За приглашение спасибо. Да Фелисата твоя, сам знашь, кака неприветлива. Поглядит — хлеб-соль в горле застрянет. Так что не обессудь, пойду к мамане. Передай от меня племяшам, — Паньша положил на прилавок два длинных леденца в витых пестрых бумажках. — У тебя своих много, да привозны робятам скуснее.

— И на том спасибо. Ну айда, ли чо ли. Да заходи завтра домой, что тебе Фелисата. К воскресной обедне пойдем по-семейному, ладком да миром помолимся. В церкви редко бывашь?

— Уж как грехов накопится.

Вместе вышли из лавки. Егор Тимофеич похлопал брата по спине:

— Спокойной ночи. Мамане поклон от меня передай.

— Приятного сна и тебе. Передам.

Егор Тимофеич проводил глазами брата, подумал опять: ладный парень, расторопный, видать, в работе ухватистый. В богату лавку приказчиком — куда бы с добром! Норов диковатый, но бог с ним, обломается.

Он принялся закрывать ставни.

К ночи подул сиверко, похолодало. Среди улиц ребристо на колеях подмерзла грязь, за день размешенная колесами и копытами. Луна не взошла еще, зато небо, очищенное от облаков сиверком, обильно вызвездилось. Только над прудом, над заводом клубился багровый дым. В церкви два нижних оконца светят смиренным лампадным сиянием сквозь черные остовы тополей.

На главной улице дома глядят чистыми окошками, на белых занавесках клочкастые тени от гераней. Двухэтажный, каменный, с парадным крыльцом особня-

чок купца Зуева в субботнюю тьму как в праздник — всеми окнами светит: у хозяина собственная торговля керосином, отдельная москательная лавка.

Паньша нагнулся, нашарил комочек мерзлой грязи, отбросил — в ее-то окно можно ли грязью?! Искал, щупал холодную землю. Попалась галечка. В стекло чуть слышно — теньк!.. И сразу на белой кисее, над цветочными тенями девичий стан обрисовался на миг, исчез... В груди у Паньши потеплело.

Приоткрылась дверь парадного.

— Паша! Давай через забор, к нашим черемухам. А то, если через двор, Полкан залает.

Высокий тесовый забор перемахнул, как на крыльях. Черемухи, голые еще, темнеют возле бани. И пахнет от них близкой весной. Три года назад сиживали здесь...

— Сюда, Паша, там скамеечка. Помнишь скамеечку?

— Ага.

Все он помнит. Черемуха тогда цвела. Над головами бело, лепестки падали на черные Зинины косы, на плечи, ситцевой синей косыночкой покрытые... Ребятенки в ту пору были они. Сейчас Зина красавица барышня, городское на ней пальто, шапочка нездешнего фасону, пуховая оренбургская шаль сверху накинута. Но чуялся Павлу от черемух весенний медовый аромат, как тогда...

— Садись, рассказывай.

— Про чо?

— Не «про чо», а «про что» или «о чем».

— Ладно, пущай «про что».

— Не «пущай», а «пусть» надо говорить.

Смеется, в темноте зубки белеют... Будь кто другой, Паньша огрызнулся бы, сказанул бы: «У нас эких ученых как рогож моченых». Но — Зина это.

— Как ты захошь, так и стану говорить. Ну а про... про что?

— Паша, да ведь ты где только не побывал, наверное. Это же так интересно, ходить, плавать по рекам, смотреть, как... Ну как, например, живут люди на Чусовой, на Каме?

— Как и везде... Живем, робим.

— Тяжело?

— Чо?

— Живется тяжело?

— Обнаковенно. С утра до ночи хребет наломашь да в казарму сыру. На другой день все сызнова.

— Ну?

— Чо?

— Паша, ну какой ты, право! Неужели больше и сказать не о чем? Неужели всю жизнь так — работа да казарма?

— Ну есть которы, в другие места идут счастья искать. Но где его, кто припас нашему брату. Главно дело — темнота наша. Разглядеть не умеем, куда шагать, за что держаться.

— Я слыхала, будто на Чусовой в артелях разные беглые скрываются.

— Всяко бывает. Которы спьяну али так, сдуру чудят, а потом бегут. Осенью мой связчик по артели, Михайлой звать, в сибирску сторону от полиции подался. Не знай, поймали, нет ли.

— За что его ловили?

— Сказывали, купца ограбил. Он из деревни Ванюшиной, там все озорные.

— Почему?

— Так уж не повезло этой деревне. Вишь ты, лет пяток назад в ихней речке богато золото открылося. Наехало в Ванюшино люду всякого, старателей, бродяжек, проходимцев. Конечно, и купцы уж тут как тут, лавки пооткрывали, кабак — пошло дело. Золота — хошь лопатой гребь, деньги дикие — куда их? Известно, в кабак, куда боле. Старатель днем на прииске, ночь в гульбе. Лавошникам барыш. А деревня Ванюшина вся с панталыку сбилася: золото моет да вино пьет. Три раза горела из-за гульбы этой самой. Дак чо: деньги есть, враз новы избы ставили и дале робили да гуляли. Потом фарт кончился, пропало золото, выробилось. А ванюшински, они гулять уж привыкли. Только уж не на чо гулять — богатство ихнее кабак да пожар сожрали. Нищета навалилась. Многие на лихи дела пошли. Говорю, темнота наша кромешная, при ней и золото не впрок.

Они сидели на лавочке рядышком, как в детстве, бывало, сживали, еще не в этом, а в прежнем огорошке Зуевых — тогда еще не разбогател купец Зуев, и на одной они улице жили. Теперь Зина — барышня, гимназистка. А Панька то сплавщик, то монастырский работник, то бродяжка. Но вот же, вот рядом они под черемухой, под звездами. Стало быть, и у Паньши счастье есть. И сидит он, не шелохнется, чует левым боком ее тепло. Зина кутается в пуховую шаль, ручки

на груди скрещены, бровки озабоченные, личико задумчиво. Она спрашивает, ей интересна его жизнь!..

— Вишь оно, Зиночка, дело-то какое,— зачарованный ее вниманием, Паньша говорил легко, складно, так говорил, как на душе держал.— Иной раз вроде и везет мужику, фарт ему выходит, а — по усам текло, да в рот не попало. Кто ино другой мужицкий фарт ловит, заглатывает. Вон висимски мужики сколь лет тяжбу вели с господами Демидовыми. У их так было: земляца висимцам издавна от казны нарезана, хошь маленьки кулиги, да свои, не господски.— Но ежели на той кулиге сосна, то уж сосна демидовская, срубить не моги, штраф следует изрядный. А ежели там десяток деревьев? Али два десятка? Опахивай каждое деревце, сколь земли неспаханной останется. Висимски говорят: «Голова наша, а волосы демидовски». Сколь прошений поисписали, чтоб им те деревья отошли, чтоб срубить и пахать без помех, без потерь. До Петербурга дошли. Там отыскались учены господа, прощению тому ход дали. И чо ты думаешь? Отсудили те елки-сосенки висимцам! Повезло? Ага. И прикатали в Висим двое из города, закупили по дешевке те лесины на корню, срубили, вывезли... ха-ароший небось барыш отхватили. Прост мужик, обвести его легко. Чо поделаешь?

Ее плечики зябко дрогнули. Паньша тихонько растегнул поддевку, укрыл полою Зину, обнял бережно за плечи. Как хорошо-то, господи!..

— Паша, как ты думаешь, что же надо делать, чтобы народ вышел из этого мрака? Нельзя же так: и лес, и земля, и золото народу не впрок, холодные сырые казармы, болезни, на заводах увечья, пьянство — нельзя так! Что же делать?

— Кабы знать... Своим умом так мерекаю: всю бы Россию перетряхнуть, чтоб справедливость правила везде, а не обман. Только велика Россия, кому такое под силу.

Она притихла, задумалась. Поздний майский вечер еще боле похолодал, черемухи колыхал ветерок. Паньше не холодно — под ладонью ее шаль, и близко ее щека и бровка черная, и в груди тепло от нежности... Ну и что, что она барышня, купецкая дочка? Всяко оно бывает на белом свете...

— Паша, а там, на сплаве, на заводах, доводилось тебе там встречать политических?..

Паньша усмехнулся:

— На ем не написано, что он политик. Да и зачем тебе? Чо вы все время пытаете: видел, не видел политических?..

— Как все? Кто еще?

— Да братан мой Егор тоже: не знаешься ли, мол, с политиками?

— Ты ему сказал?

— И знал бы, дак не сказал. Егор хотя и братан мой, а с им ухо остро держи. Он такой — во всем себе выгоду щупает. Ох, погляжу, много таких кругом, которы лишь бы себе урвать, а другой хошь вот тут рядом пропадай, хошь ребенок малый с голоду пухни — им дела мало. Вот те, которы за политику страдают, те не для себя примают муку, а наоборот, ради других собою рыскуют. Не, я на таких не доносчик.

Она запрокинула к нему лицо:

— Так ты, значит, с ними встречался?

Щеки ее и губы так близко, что мысли у Паньши разбежались все, кроме одной... Давно-давно, в отрочестве, один лишь разок поцеловал ее, нечаянно как-то вышло. Тогда засмеялась и убежала. Теперь — не детство. Сейчас — нельзя... Почему нельзя, Паньша не знает. Глаза у нее не те, серьезные глаза, про другое они говорят...

— Паша, Павел! Ты что молчишь? Беглым политическим можно укрыться среди речных рабочих?

— Да тебе на что? Ты барышня, богата, твое ли оно дело?

— Чье же? Твое?

Он плечами пожал.

— Зина, я к тебе бежал не про политику говорить, — его рука легонько погладила пуховую шаль.

— Ты когда уезжаешь? — спросила она.

— Зина! Ежели ты захошь, никуда не поеду! На все лето здесь останусь, пока тебе не приспееет время в Екатеринбург, в гимназию. Токо одно слово скажи, так и будет. А, Зина?

Замер, ожидая. Глядел на щеку и бровку темную... Щека и бровь шелохнулись, близко-близко ее глаза, все заслонили, — и уткнулась лицом в его плечо.

— Зиночка! — он так прижал ее к себе, что Зина охнула тихо, одним дыханьем, и он, спохватившись, ослабил руку. — Зина, вот за это... за это самое... на

все готов! К братцу Егору пойду в услужение, противно, да пойду, токо чтоб с тобою побыть...

Мягкой, теплой ладошкой Зина тронула его губы.

— ...Егор каждый раз мне, айда, мол, в лавку...

— Паша, уезжай.

— Чо? — не понял он. — Почему, Зина?

— Пропадешь, в лавке сидя. Затянет она тебя. Уезжай, Паша. Ты не лавочник, ты пролетарий и... Ах да, ты не знаешь, что такое пролетарий...

— Вон оно како дело! — Паньшу словно обожгло. — Не-е, барышня, мы тоже кое-чо знаем. Я пролетарий, бездомовник, летаю куда занесет. А вы гимназисточка, богата невеста. Стало быть, не пара мы!

— Не смей так думать обо мне! — Зина не позволила отстраниться, прижалась крепче. И Паньша снова обмяк. — Что из того, что отец разбогател? Он ведь, не я. Паша, ты по-прежнему мой самый-самый лучший друг! Всегда о тебе буду помнить, Пашенька.

— Тогда я не знаю... Оно конечно, твой папаня ни в жись добром тебя не отдаст...

— Не в этом дело. Если придется, уйду от отца, из дома, на все решусь! Не знаешь ты меня, Паша!

— Зиночка!

— Подожди. Не хочу я, понимаешь? Не хочу, чтобы из-за меня ты, мой друг детства, стал за прилавком деньги считать, о наживе соображать...

— Дак и на завод можно. Я ведь здоровый, смекалистый.

— Нет. Уезжай. Другое еще тут дело...

— Но-о? Может, другой?

— Может, и другой.

Это уже все, конец!.. Зло взяло Паньшу.

— Стало быть, правду люди говорили...

— Что они говорили?

— Что ты с поповичем из Покровки, с сынком отца Герасима. Он-то грамотный, ученый! В семинарии на попа обучался, да выгнали оттель. Но пошто же так: им и науки, и все... и ты? Все имя достается! Эх! Попович, церковна крыса, и вот...

— Не смей! — она уже стояла перед Паньшей, глаза потемнели. — Не смей так о нем! Расселся тут, тебе и горя мало, а он сейчас... его сейчас...

Зина вдруг заплакала. Склоненное лицо закрыла ладошками, шаль упала с плеч. Такая жалость накати-

ла на Панышу, что враз забыл, из-за кого она плачет. Притянул ее, гладил плечи.

— Зинушка, ладно тебе. Ну чо ты, право!

Она плакала на его груди... И все опять в голове у Павла смешалось: обида, жалость, горечь, желание от кого-то защитить Зину — от кого? От поповича? Ну, с этим разговор короткий, ежели он посмел что. Но тут как-то иначе...

— Зинушка, чо ты убиваешься? Чем тебе помочь?

Поднял шаль, укутал ее, успокаивал неумело.

Она отерла шалью лицо и неожиданно сильно встряхнула его за плечи:

— Ты не смеешь, не смеешь! Алексей в тюрьме! За тебя, за таких, как ты... В Сибирь, на рудники... В Екатеринбург на заводе и в депо... нашли листовки...

— Вона! Политика, стало быть?

— Из семинарии за это же уйти пришлось... Но он не сдался, он все равно!..

— Я ж не знал. Маманя только сказала, неприятности у него... Ты это... извини. Сядь, Зина. Не убивайся, говорю. Не всех же на каторгу, иных отпускают, ежели... Главное дело, кто бы похлопотал за него. Все ж отец его духовного звания особа, священнослужитель...

— Отец Герасим в Покровской церкви принародно от сына отказался, — прошептала она сквозь слезы.

— Ух ты! Вот чертов поп!

— Отца Герасима как осуждать — из епархии такой приказ вышел, а у него кроме сына еще три дочери незамужних. Если отца Герасима лишат покровского прихода, что с семьей будет? Но Алексей, я знаю, знаю, он и в Сибири останется таким же... Ах, скорее бы мне дожидаться совершеннолетия!

— К нему поедешь? — спросил он, зажмурив глаза, сморщившись, как от боли. Не ответила.

Из-за Троицкой колокольни вышла щербатая луна.

— Паша, мне пора.

— Ты не обижайся, Зина, ладно? Я не знал ведь. Политических я уважаю. Вот только ты... Эх!

— Не сердись на меня, Паша. Видишь, так уж вышло. Уезжай, хороший мой Пашенька. Дай поцелую на прощанье. Ну вот. Прощай, пора мне.

Паныша долго стоял один в черемухах. Столько сегодня пережил, перечувствовал... Не сидеть уж больше тут, на этой лавочке. Заплакать бы тоже, зареветь,

как бывало мальчишкой, когда ударят, ушибут ненароком свои же приятели. Но плакать давно отвык.

Такая раз была жуть на Чусовой: сплосовали на весле мужики, плот понесло быстринной на утес, на гибель — захолонуло у Паныши сердце. Но, ухватив покрепче шест, не молитву он шептал — ругался сквозь зубы, смекая, как оттолкнуться от утеса, одолеть быстрину. Сейчас ни плота, ни весла. Разбилось все.

Потом долго шел домой пустыми улицами. Все было постылым: поселок родной, Троицкая церковь равнодушная, амбары, темные избы с темными окнами. Холодно. Хрустит под ногами мерзлая грязь. Родная изба спит. Он прокрался через двор в сенки, открыл дверь, приподняв, чтоб не скрипнула, шагнул на цыпочках в темное тепло.

— Паша?

Маманя не спит. Но даже с нею сейчас говорить не охота.

— Спи, маманя. Я тут, на лавке, лягу.

— Чо же ты так долго гуляешь, сынок? Ись, поди, хошь?

— Не, маманя, сытый я.

— Поди сюда. Слушай-ка, Егор за тобой парцишку свово присылал. Велел счас к нему идти.

— Завтра схожу.

— Велел счас же, как домой воротишься. Гаврюша с прииска верхом приехал, у Егора сидит. И тебя требуют. Не знаю, чо у них стряслося, сохрани и помилуй, осподи царица небесная. Поди, Паша, не гневи брата.

Не хотелось. Что может быть важнее того, что уже случилось сегодня? Какие еще ждут беды? Не хотелось.

— Ладно, маманя, иду.

4

Егор Тимофеич, Панышу проводив, закрыл ставни, воротился в лавку и заклинил ставенные засовы. Взял с прилавка большой лабазный замок, задул лампу, вышел. Трижды повернув ключ в замке, подергал, крепко ли. Вдоль окон тоже прошел, ставни подергал. Убедившись, что крепко везде заперто, картуз снял, трижды перекрестился на видневшуюся из-за крыш церковь: слава богу, день благополучно прожит. Надвинул картуз и пошел через дорогу, норовя во тьме ступать на ровное

место, чтоб головки сапог не подрать о мерзлые комья, подметки бы до времени не сносились.

У дома своего, не нового, но добротного пятистенка, шесть лет назад сходно приобретенного, тоже вдоль прошелся, ставни подергал. В крайнюю ставню кухонную постукал. За воротами во дворе твякнул пес Жулька.

Вышла Фелисата, отперла ворота и скрылась в сенях.

Двор крыт наглухо, темень кромешная. Но Егор Тимофеич уверенно прошел к сараю, нащупал керосиновый фонарь, снял с гвоздя, спички вынул. Посвечивая, обошел двор, оглядел, все ли ладно. Из двери конюшни молодая сытая кобылка ткнулась хозяину в ладонь, дал ей из кармана корочку. Корова в хлеву мирно жевала. За бревенчатой стеной, пугаясь света в щелях, ворохнулись овцы. Пес Жулька ходил за хозяином, вилял хвостом. Все было ладно. Егор Тимофеич вошел в избу.

Фелисата уж несла из кухни щи в чугунном горшке, прихватив его тряпицей, пахло наваристо, вкусно. За столом одиннадцатилетний сын и дочка-шестилетка стукались ложками, баловались, хихикали. Егор Тимофеич поплескался у рукомойника, вытер руки. К столу прошел. Ребятишки тотчас встали к молитве.

— Отче наш, иже еси...

Расшалившиеся дети все еще не могли настроиться на молитвенный лад, поэтому Егор Тимофеич возвысил голос:

— ...Да придет царствие твое!..— будто сказал: «Вот я вас за уши!»

— ...ныне, и присно, и вовеки веков. Аминь,— закончил Егор Тимофеич, взял свою расписную ложку и звонко стукнул сына по лбу.

Ужинали по-купечески— каждый из своей тарелки, а не все из одной, общей, как в простых семьях. Ели в молчании, с аппетитом, без торопливости. Запили молоком. Егор Тимофеич поставил глиняную кружку, перекрестился:

— Бог наплат, никто не видал, а кто и видел, тот не обидел. Робыта, спать!

Фелисата на кухне мыла посуду. Покойно светила пред образами лампада. Егор Тимофеич привстал, чтобы задуть лампу, и уже сложил губы трубочкой, как в ставню громко постучали. Из кухни выглянула Фелисата, с полотенцем в руке, вопросительно глядя на мужа. Егор Тимофеич подошел к окну.

— Кто там? — и ухом к стеклу.

— Егор, отопри, я это...

Фелисата проворчала:

— Кого там нелегкая?..

— Гаврила. Должно, на воскресенье домой приехал.

— Домой бы и шел. Еще чо придумал — по ночам шляться!

— Может, дело како.

— Ага, дело у его... Опять чо-нибудь просить. Вина ему в кабаке не хватило.

Егор Тимофеич глянул на жену — и она скрылась в кухне. Сунул ноги в растоптанные опорки и, устроив на лице недовольную мину, пошел впускать брата.

Когда вошли в избу, Фелисату опять высунуло:

— Вона, гость явился... Незванный гость хуже татарины...

— Здравствуйте, Фелисата Власьевна, — сорвал с головы мягкую шапчонку Гаврила, поклонился ей.

— Ну? Чего тебе? — Егор Тимофеич свел брови.

Фелисата, презрительно губы поджав, скрылась в кухне, и Гаврила сразу как бы посмелел.

— Не торопи, Егорушка. Не на пожар. Ты бы это, к столу пригласил бы. Эко холодно стало на улице, в-в!

Был он с виду трезв, ничем от него не пахло, кроме луку да кострового дыму, — Егор Тимофеич принюхался на дворе еще. Но и на дворе, и в избе замечалась в нем не то чтоб развязность, а некоторый кураж, смеловато себя ведет для трезвого состояния. С чего бы?

— Некогда рассиживать, спать время.

Однако Гаврила сбросил драную кацавейку, сдернул грязные сапоги. Такое нахальство удивляло Егора Тимофеича.

— Говори толком, что стряслось?

— Нельзя. Так вот, с холоду нельзя. Тако дело, я те скажу, что... гм.

— Проходи нето. Садися. Ну?

— Не нукай, не запрег. Поднес бы стопочку с холоду-то. Знобит чтой-то. Гляди-ко, май месяц, а морозит, будто февраль!

— Месяц май, коню сена дай, а сам на печь полезай — так у нас говорят.

Еще хотел Егор Тимофеич сказать, что у него в дому не распивочная и что ежели все дело в стопочке, то ка-тись отсель, братец, не мешай людям отдыхать после

трудов праведных. Но Гаврила сегодня шибко уж какой-то взбудораженный, независимый. Такая необычность подвинула старшего брата к стенному шкафчику. Доставая стеклянную стопку и неначатую, под сургучом еще, бутылку, Егор Тимофеич обмысливал, чего ж это делается с Гаврилою и какое наказание устроить этому дураку, когда выяснится пустяшность его позднего явления.

— Фелисата, дай там чего-нибудь. Огурца, капусты ли.— Из кухни донеслось ворчание, и он прикрикнул: — Но-о!

— Ничо, спасибочки, мы и так...

Гаврила любовно левой пятерней обнял бутылку, правой ладонью шлепнул по донышку — и двумя пальцами положил пробочку на стол, наполнил до краев стопку.

— За ваше здоровьичко, братец,— пальцами отстранил усы, чтоб не мешали, поцелуйно вытянул губы. Влил в себя, крякнул, подышал. Потянулся к подставленной тарелке с огурцами, долго, хрустко жевал...

— Давай не тяни! — поторопил его брат.

Гаврила вытянул вперед бороденку, будто хотел сказать... Но покосился на Фелисату, которая рядом стояла, взирала на гостя сверху вниз.

— Спать иди,— велел жене Егор Тимофеич. Она фыркнула и ушла в другую комнату. Тем временем Гаврила опрокинул и другую стопку.

— В-во, можно стало разговаривать.

— Так разговаривай.

— Н-да, братец Егор Тимофеич, дело у меня сурьезное.

Егор Тимофеич знал, что с двух стопок Гаврила может долго болтать вот так, впустую. И знал, как его новости можно ускорить,— сам протянул руку к бутылке.

— Погодь! — воскликнул Гаврила.— Слушай! Пофартило мне, Егорушка, едрена-зелена! В кои-то веки наградил осподь за терпение мое... Но-о ты должен мне помочь.

— Должон? Сколь же еще помогать вам? Хошь меня по миру пустить? Вишь, должон я ему!

— Не денег прошу, братан! Я сам вскорости, може, стану налево-направо пятаки бросать!

Худой, бледный, в порванной на плече линиялой рубашке, Гаврила смешно приосанился, задрал пегую бо-

роденку, этаким петухом глянул на брата. Вскочил, оглянулся. Отставил бутылку подале, пал животом на стол, задышал в Егора Тимофеича луком и водкой:

— Золото я нашел! Бога-атая россыпь, едрена-зелена!

Егор Тимофеич морщился, отворачивался. Но уже не чуял лукового запаха, косил заблестевшим глазом на распаленного Гаврилу. Он верил. Поверил с первых слов — так это было бы хорошо, если б в самом деле... И нельзя ж про такое болтать шутейно! Однако выработанная торговым делом осторожность не позволяла верить явно: пускай Гаврила в кураже все выскажет.

— Где ж тебе такой фарт бог послал? Во снах?

— Пошто во снах? В Демкином логу!

— О? Пустяшный твой разговор. Демка, покойна головушка, в том логу цело лето старался...

— Дурак твой Демка! Он где-ка пробы делал? Он не там лазал.

— А ты?

— Я? Ха! Вы все думаете: Гаврюха — пьяница, Гаврюха — прощелыга?! Не-е, братец, я...

— погоди, говори ладом! Выпей вот еще...

Гаврила проворно выпил третью. И верно — заговорил ладом:

— Понимашь, кака история! Десятник Илья Лукьяныч послал нас с Фомкой Гундосым гать перестилать в Демкином логу. Знашь, стара дорога там с нашего прииску на Полуденку? По ей редко ездют. Ну, приспичило Илье Лукьянычу с Полуденки снасть привезти, струмент. Погода те дни тепла стояла, по логу вода разлилася, гать затопила к едрене фене. Да и сгнила она, гать-то, телега застревает. Илья Лукич и послал: перестелите, грит, чтоб в понедельник там хошь в карете ездить. Пошли мы с Фомкой.

На сей раз от водки нашло на Гаврилу спокойствие, рассказывал связно, без лишней похвальбы, без суетловия.

— Пошли мы. Жердей нарубили, гать с одной стороны разобрали, подняли. Я с другой стороны зашел, тама пески, не шибко топко... Гнилы жерди приподнял... Ну, Егор, как стегануло от башки до пяток — приподнял, а под жердями-то эва!..

Егор Тимофеич, весь внутри напрягшись, следил, как Гаврила лезет за пазуху, достает грязную тряпицу...

— Под жердями-то вот оно!

Тряпица стукнула о столешницу. Четыре тускло-желтых, даже на вид тяжелых самородка.. Егор Тимофеич потянулся обеими руками, приподнял их на тряпице, покачал. Шепотом:

— 3-золотника¹, поди, четыре с лишком...

— Чо-о? Четыре? Да ты погляди, прикинь! — Гаврила сгреб самородки, подкинул небрежно: — Не мене шести тут.

— Дай сюда.

Егор Тимофеич отобрал, завернул, хотел в карман сунуть — не решился.

— Еще-то поискал?

— Не. Жерди на прежнее место кинул. Гундосый, он хошь и с придурью парень, да мало ли чо... Но ежели ковшом промыть в том месте, о-о!.. Демка, покойничек, ниже по логу старался, и было там золотишко, да так, пустяшное. Демке нет чтоб повыше разок-другой попробовать. А он плюнул и на Лагву подался. Шаромыжничал тама, пока демидовски приказчики до Лагвы не добрались. Демка хошь и варнак был, не тем будь помянут, но старатель фатовый, удачливый. А по логу выше — не догадался! А я вот...

Егор Тимофеич думал сейчас не о варнаке Демке. Спросил:

— Десятнику Лукьянычу про самородки сказывал?

Гаврила сжевал огурец, полез в карман за кисетом. Да одумался, на занавеску в другую комнату покосился: Фелисата табачный дым унюхает — беда!

— Антиресно у нас, Егор, получается: пью я, а пьяны мысли у тебя. Сообрази, умный братец: ежели я Лукьянычу хошь словом бы обмолвился, дак разве ты счас эти самородки шшупал бы?

— Молодец. Ну, а Фомка Гундосый?

— Этот полудурок. Блаженненький. Велел ему жерди рубить да таскать, он и не видел, как я там рылся, что поросенок. А Фомка жерди таскает и улыбается во всю рожу. Ей-бо, хорошо быть дурачком — ничо ему не гребтит, ничо не надо. Ну все же бросил я гнилье на прежнее место, говорю Фомке: хватит, мол, айда на, прииск. Он и рад. Возвернулись на прииск, я к Илье Лукьянычу. Скорчился в три погибели: брюхо болит, мол, спасу нет.

¹ Золотник — старая русская мера веса, равная 4,266 г.

Отпусти домой, будь отцом родным! А гать, не извольте беспокоиться, в воскресенье, мол, излажу. Матюкался он — страсть! Ты, грит, оттого брюхом маешься, что выпить тебе надобно. Дак не поверишь, я настоящими слезами ревел, в середке возле пупа настоящая боль получилась. Лукьяныч изругал, дай ему бог здоровья, да и отпустил. Я на лошадь верхом и — сюды. Скачу по лесу, а сам все еще заливаюсь слезами горячими!

Вспоминая, Гаврила расстроился, заслезился. Чтоб утешиться, потянулся к бутылке. Старший брат перехватил ее, отставил.

— погоди, успеешь.

— Дак стакашек у тя шибко махонькой.

— Сперва про дело кончим. Как теперь смекаешь?

— Дак чо, успевать надо. Тут и думать неча. Завтра воскресенье, на приiske не робят. Сколь успеем промыть за день, то и наше. К тебе приехал, потому как мне одному тако дело проверить не сподручно.

Егор Тимофеич огляделся по углам. На иконах взгляд задержал, будто святые могут подслушать и донести.

— Промыть, говоришь? — вполголоса. — Воровство оно, Гаврюша! Демкин лог — демидовские земли.

— Тута куды ни ткнись, везде все демидовское. Дак нам и не пошаромыжь, да? Господам Демидовым еще останется. — Он вдруг рассердился: — Это чо же тако?! Осподь за смиренный мой харахтер, для ради робят моих, для старушки маменьки счастье мне посылат, а ты — про воровство! Не хошь мне помочь — так и скажи! И нечего...

— А увидят?

— Тьфу! Кто?! Кто и за каким хреном в воскресенье в Демкин лог попрется? Демкин — в стороне.

— Ну а десятник на Полуденку вздумает?

— Опять тебя спрошу: за каким хреном? Илья Лукьяныч счас в другу сторону подался, в Висим, к полюбовнице. Не-е, ты по этой части не сумлевайся.

Егор Тимофеич вскочил, толкнув стол. Мягко ступая пимными опорками, заходил вдоль стола взад-вперед, руки за спину, пальцы сжали узелок с самородками. Поворачиваясь, каждый раз поглядывал на брата. А Гаврила притянул бутылку, налил, выпил, ухватил грязной щепотью капустки квашеной. Жевал, носом швыркал, выбирал огурчик поядреней, и вроде горя ему никакого. Его невозмутимое жевание, хрустение раздражало брата.

— Как не сомневаться! У меня торговое дело, с купеческими домами коммерцию имею, уважение ко мне. Свяжусь с тобою, и ежели, не дай бог... Тогда под суд ведь! Все трудом нажитое, кровное — на взятки изойдет! — палец на Гаврилу уставил: — Тебе вот легко рисковать: у тебя — шаром покати...

Тот перестал жевать. Проговорил тихо и горько:

— Мне легко. Откупиться нечем, в острог засудят. Лизавета с робятами по миру с сумою, маманя прежде сроку на тот свет. Легко мне... — опустил лохматую голову. Но тотчас поднял на Егора злые, невидящие желтоватые белки: — Но ежели упущу завтра мой фарт — я ж до гроба себя матюкать буду! Не-е, я рыкну! Охота пожить сыто, вдосталь! Ты вон Фелисаткиными деньгами подперся, из нужды вылез, рано али поздно в купцы вылезешь. А мне без фарту, без этой самой удачи — никогда! Не хошь рисковать — вольному воля. Зазря я к тебе прибег. Возьму мово Семку, сынишку, и...

— На тако дело — мальчика? Бог с тобой, Гаврюша! Сболтнет по малолетству, тут тебе и острог.

— Одному мне не сподручно, ты труса пряднуешь. Ну тебя к чомору, пойду домой. Завтра вставать рано.

Егор Тимофеич сунулся к нему, бутылку ухватил:

— Погоди, на-ко на дорожку. Пей, не жалко.

— Это можно.

И опять Гаврила жевал огурец, задумчиво, мерно, как корова. А Егор Тимофеич бегал вдоль стола. Тихо сипел фитиль лампы. С печи слышалось дыханье спящих ребятишек. В подоконнике пел сверчок.

— Ос-споди милосердный! — Егор Тимофеич остановился пред иконами, поднес щепоть ко лбу. Лампада теплилась мягко. Богородица склонила голову к младенцу, черные ее глаза будто расширились выжидающе. Святой праведник Никола Мирликийский грозил перстами, а левой рукой казал рабу божьему раскрытую книгу. Георгий Победоносец перестал целиться копьем в змея: «Ну, Егорий? Неужто напустился?»

— Вразуми раба твоего! Пошли мне, осподи!.. Огради от недоброго глазу, от молвы людской... — Книга в руке Николы мерещилась Уложением о наказаниях... — Святитель отче Никола, моли бога о нас! Не согрешивши — не покаешься, не покавшись — не спасешься... По благоприятном всему окончании пожертвую на украшение храма. Осподи, помилуй мя, отведи тучу мороком!..

Замер в поясном поклоне. Сверчок в подоконнике тоже затих.

— Ну и чо надумал? — спросил Гаврила, когда брат отмолился. Егор Тимофеич не ответил, подошел к печке.

— Минька, просыпайся давай, — расталкивал сына. — Одевайся, беги к дяде Гавриле домой. Скажи там: пускай, мол, Павел живой ногой сюда бежит. Чтоб сей момент!

— Он разве здесь? — обрадовался Гаврила. — Эх, кабы знатье, к тебе не пришел бы. Ладно, все одно к одному. Эдак мы, три мужика, сколь за день намоем!

Проснулась Фелисата. Выглянула из спаленки, в одной ночной рубаше, грудастая, простоволосая, с лицом сонным, но уже злым.

— Куда парнишку на ночь глядя?! Сыночек, не ходи, ложись.

— Цыц! — окрысился Егор Тимофеич. — Не твое бабье дело. Постели на полу тулуп, Гаврила с Павлом у нас ночуют. Утресь за товаром поеду, они помогут. Гаврила, айда телегу готовить.

5

Выехали затемно, пока улицы пусты. Еще и дымов не видать, бабы печи не затопили. Ночь исходила, ясная, стылая. От недосыпу познабливало. Старательская снасть в телеге сеном прикрыта да поверх еще и старым половиком. Старшие братья сидели по обе стороны телеги. Паньша лег головой меж ними.

Гаврила смачно, с подвывом зевал. А когда версты две отъехали, сморил его окончательно утренний сон — завалился рядом с Паньшей, почмокал губами и засопел, только голова моталась на ухабах. Егор Тимофеич разок-другой, будто ненароком задел его кнутовищем Гаврила мыкнул, но не проснулся. Паньша не спал. Смотрел в светлеющее небо, на далекие, поредевшие звезды. Вспоминал про вчерашнее... Думал...

Обвиднялось. Утро чистое, бестуманное. По сторонам дороги сосняк тянется. Из-за него не видать восходящего солнца, но вершины зарумянились, похорошели. Просыпается природа.

Егор Тимофеич постучал Гаврилу по плечу:

Эй! А ну, разуй полтинники-то.

— А? — Гаврила открыл замутненные сном и вчерашним хмелем глаза.

— И как тебе спится в эту тряску?

— Нам чо — не बारे. Мы, приисковые, намаявшись, хошь кверху ногами поставь — уснем.

— Не успел еще намаяться. Вставай, не до прииска же нам ехать. Где тут, ты говорил, свертка на Полуденку?

Гаврила сел в телеге. Зевал, озираясь.

— Мосток через Елховку проехали?

— Давно.

— Ага, ну-ну. Стал быть, вон за тем взлобком о правую руку будет вырубка, отсюда и свертка пойдет. Лет пять тому по ей углежоги ездили. В-вз, холодно. Егор, ты взял с собой чо-нибудь тако? Погреться чтоб? — Егор Тимофеич только сплюнул и понужнул лошадь. — Жалко. Это ты, братец, напрасно. Не взял-то напрасно...

Гаврила запахнул телогрейку, хотел было опять привалиться к теплему Паньшиному боку. Егор Тимофеич показал ему хлыстик:

— Я те поплю, у меня вот будило есть. Все на старшего брата надеетесь...

Перевалили взлобок, свернули через вырубку на старую, давно не езженную дорогу. Ехать быстро уже нельзя стало: телегу валило с боку на бок через корневища, ступицы задевали за трухлявые пни. Паньша прыгнул наземь, пошел вперед, чтоб не потерять худо заметную дорогу. Егор Тимофеич ворчал, что приходится вот лошадь мучить, а толку будет ли, нет ли. Он тоже слез с телеги и Гаврилу согнал.

Протащившись этак версты с три, выбрались на более свежую колею.

— Полуденская дорога, — обрадовался Гаврила. — Еще с версту — и Демкин лог.

Солнце выглянуло краешком из потемневшей враз зелени сосняка — все трое сощурились на него, посветлили лицами. Но тут же его и потеряли — телега ходко скатилась в лог, свернула влево, под увал. Смолкли колеса. Сразу услышалось пробуждение лесной жизни — шорохи в кустарнике, дробь дятла в глубине сосняка, птичий пересвист. Вдоль лога тянулся прозрачный пар над мочажинной. По эту сторону лога — сосняк, по ту — ельник густой, а в самой ложбине — кочкастая болотина, через нее — разворошенная гать. С этого ее конца

золотились корой новые сосновые жерди, другой край утопал гнильем в мочажине. Вода только угадывалась, лишь из-под гнилья на той стороне выходил тонюсенький ручеек, пропадал за кочками, снова выныривал, и вдоль его по бережку тянулась песчаная полоска.

Братья стояли у телеги, отдыхали от тряски. Гаврила зарядил самосадом короткую трубочку, задымил и принялся кашлять, приседая от натуги. Егор Тимофеич разглядывал песок на том берегу. Паньша, сняв картуз, мечтательно засмотрелся: по ту сторону дога из путаницы голых черемух да ольшаника возносились в голубую высь красавицы ели. Вершины их в лучах, восходящим солнышком осиянные...

— Ты чего? — беспокойно спросил его Егор Тимофеич. — Али заметил там кого?

— Не... Таково хорошо! Благолепно, как в церкви. Тишина-то, осподи!

Тишину Егор Тимофеич одобрил:

— Ежели поедет кто, тележный скрип далеко слышать будет. Однако неча, истуканами торчать, робить надо. Павел, распрягай. Лошади на спину половик накинй — ишь припотела. Гаврила, бери струмент. Осподи благослови. Айдате.

Первым через гать прошагал Гаврила с лопатами на плече, с топором за поясом, деревянным желобом под мышкой. Егор Тимофеич проследил, как он идет, потом перебрался и сам остороженько, подпираясь палкой, держа на отлете, для равновесия, старательский ковш. Паньша привязал лошадь к телеге, мордой к сену, и легко, ловко проскакал по жердям, почти не замочив сапог.

Гаврила выбил трубку о пень, сунул в карман. Выдохнул: «Х-ху!» Поднял первый обгнилок жерди — заискрился ручеек под ней. Отлетела в сторону вторая, третья жердь. Ручей замутился, спрятал песчаное дно от людского глаза. Гаврила подождал, пока муть утечет.

— Тута они вчерась и лежали, самородки. Седни не видать. Ничо, поищем — найдем. Паньша, ковш подай, сам лопату возьми. Ковырни вон в энтот месте. Будя! Куды столь наворотил? Это ковш, не вашгерд¹.

Гаврила действовал сноровисто — куда и подевалась

¹ Вашгерд — приспособление для промывки золотоносного песка.

утренняя лень. Отбежав сажен с десяток ниже, где ручей тек полнее, присел на корточки. Большой ковш из толстого железа, с высокими, вершка в два, краями, на короткой деревянной ручке — ковш будто сам собой заходил по кругу, расплескивая грязную воду. Гаврила, сливая муть, зачерпывал еще воды. И опять поддерживал только за деревяшку, а ковш сам ходил, промывал. Сплескивалась глина, мелкие песчинки. Раз от разу вращение становилось аккуратнее, вода уже почти не мутнела. На вогнутом дне ковша осталась крупная галька, тяжелые шлихи¹.

— О! — он пошевелил пальцем в ковше. — Лиха беда начало.

Егор Тимофеич и Паньша сунулись к ковшу. Среди сероватой гальки, темного шлиха желтели два самородка, до золотника весом, и еще крупницы поменее.

— Ого-го-о! Золото! — гаркнул Паньша, восторженно взмахнув руками.

— Тиш-ше! Не базлай! — зашипел Егор Тимофеич, озираясь.

— Золото — благородный металл, шуму не любит, — согласился и Гаврила. Отстранил протянутую руку Егора Тимофеича: — Не лезь. Тряпицу расстели.

Сейчас Гаврила был здесь главный, понимал эту свою главность, приказывал старшему, богатому, брату, никаких споров не ожидая. И Егор Тимофеич не возражал. На сухом месте расстелил, расправил чистый холщовый лоскут, приготовил жестянку из-под фамильного чая. Гаврила высыпал из ковша, и Егор Тимофеич ухватил самородки, сразу оба исхитрился, в жестянку их. Чтоб удачу не спугнуть, поныл маленько: «Не тово-с, не богато...» Принялся выбирать мелкие крупницы.

— Брось, — велел Гаврила. — Это опосля, ртутью. Счас надо желоб изладить.

Так же сноровисто он сотворил нехитрую шаромыжную снасть. Там копнул, тут подгрел глинки — ручей сузился, собрался в одну струю, потек в желоб, из полубревна долбленный, в полсажени длиной. К нижнему концу желоба приспособил плоский ящик из четырех горбылей. Приказал Паньше срезать кочку, дно ящика выложил дерном.

¹ Ш л и х — конгломерат из тяжелых минералов, получаемый после отмывки песков из россыпей (золотых, платиновых и др.).

— Теперь начнем робить. Паньша, таскай давай песок. Егор, будешь в желобе шерудить. Я доводкой займуся.

— Может, я доводкой? — попросил Егор Тимофеич.

— Не. Дело это тонкое, умственное. Не на счетах шшолкать. Робь лопатою, на приисковой нашей каторге порастряси купецкий жир. То ишь распузател.

— Оно конечно... — старший брат покорно взял лопату. — Вы, робятушки, послухивайте, не едет ли кто. Лошадь-то напрасно распрягли, в случае чего...

— В случае чего — бежать некуда, — оборвал Гаврила. — Телега не ковер-самолет, над лесом в ей не улетишь. Труса праздновать раньше надо было, а счас робь-те поживее, поукуритее. Авось обойдется.

Он закурил трубку, уселся над шлихами, будто тут ему и место, будто на своей земле старается и никакой ему беды быть не может.

Паньша работал азартно, бегом таскал песок в совковой лопате. Глядя на братьев, успокоился понемногу и Егор Тимофеич: чего уж теперь трястись. Бог не выдаст — свинья не съест.

Время от времени Гаврила подходил к желобу; вынимал дерн, протряхивал над холстом. И снова Егор Тимофеич шерудил лопатой.

— Гаврюша, как там оно? Попадается?

— Робь знай.

— Робим, Гаврюша, стараемся.

Коли не велит Паньше в другом месте копать, стало быть, идет россыпь богатая. Дай-то бог! Это ж какую торговлю можно завернуть, как всурьез-то пофартит! «Е. Т. Ходыревъ, товары бакалейные и колонияльные». На базарной площади, на бойком месте... Ну, трактир не доходнее ли будет? Э, пустяки, мечтания одни: за один день — хошь из кожи вылезь, хошь все жилы надорви — столь золота не намыть, чтоб размах от души, дело поставить на широку ногу. Конечно, с братанами потолковать надо. Не чужие, одного корня, неужто сговориться нельзя, чтоб объединить капитал. Да сколь того капиталу? О господи, пошли благодать рабам твоим! Да святится имя твое!

— Живей, живей шеруди!

Это Паньша торопит. Он без картуза, в одной сарпинковой синей рубахе-косоворотке, меж лопатками от пота щекотно. Ишь ты, задело за живое! Золото заста-

вит бегать! И не такой уж, видно, Паныша бродяжка. Ну да разбогатеть каждому охота, как же иначе.

— Гаврюша, как оно там?

— Ты робь, не оглядывайся. Солнышко вон за полдень перевалило.

И верно. Егор Тимофеич распрямил спину, вытер пот, заливавший глаза. Почувствовал, как поясница занемела, в крыльцах ломит, на ладонях пузыри,— только сейчас заметил, от золотых дум распрямившись. Время как стремительно летит! В лавке сидишь, сидишь.... Гроши высиживаешь. А тут — сколько выйдет? Господи, на украшение храма пожертвую!..

6

Ночь вызвездилась. Такая же ясная, как и весь денек простоял. Обошлось без заморозка, колеса мягко катились по грязи, не стучали. Крепко уставшие, проголодавшиеся, братья всю дорогу помалкивали. Каждый доволен был прожитым днем.

Егор Тимофеич то и дело пощупывал жестянку из-под чая, она приятно отягощала карман, а эта вескость ее рождала окрыленные мечты: «...товары бакалейные и колонияльные».

Гаврила все еще переживал то чувство самоуверенности — и в кои-то веки! — как был он сегодня главным, вроде управителя, в приисковом промысле... ничего, что шаромыжном. Как братья покорно сполняли все, что он требовал. Сказал — и Егор, богатый братан, послушаться не смеет... Егор — скупердяй, выжига, но бутылку должен поставить: фарт привалил — и без вина никак невозможно. Думали, Гаврюха так себе, замухрышка бесталанный! Не-е, Гаврюха себя окажет, погодите!

У Паныши вчерашняя тоска не то чтоб прошла совсем, но приглушилась — ему всегда отрадно становится после дружной, спорой работы. Усталость ему сейчас была не в тягость. Даже совсем наоборот: шло из усталости ощущение своей молодой силы, здоровья, жизни. Любопытно прикинуть бы, сколь кубических сажен песку они втроем перекидали за день. Сколь пудов?! Они, братья Ходыревы, от души робят... А раз такое дело — все переживем, всяки невзгоды одолеем... Паныша лежал в телеге, над ним успокоительно качались звезды. Луна уж высоко поднялась. Вчера луна выходила из-за Троиц-

кой колокольни, и Зина сказала, что... Щемит все же сердце... Ну, тоскуй не тоскуй, что толку.

Вот и окраина поселка. Редко где светится окно. Кончилось воскресенье, близится тяжелый день понедельник. Тихо в поселке. Приглушенно шумит у пруда завод. От площади, от торговых рядов доносится стук колотушки сторожа.

Егор Тимофеич сказал:

— Слава богу, без лишних глаз приехали, без лишних спросов. Пора и нам к отдохновению. Давайте по домам, а утречком...

— Как это по домам? Ты чо, Егор! — возмутился Гаврила. — Утречком мне на прииск ехать. А песочек? Ты, что ль, заберешь?

Паньша голос подал:

— Свесить бы, сколь мы напластали...

— Среди ночи, устамши, весить еще начнем? Цельный день как прокляты, руки, как крюки! Счас только помолиться да спать. Господи, прости нас, грешных: воскресный день миновал, а во храме не были...

— Эх ты, торговое сословие! Тебе бы сразу и богу услужить, и деньгу нажить.

— Опять же Фелисата, робятишки спят давно, беспокоить негоже.

— Не Фелисату мы весить собираемся, — осердился Гаврила. — Айда вон к тебе в лавку, ключи-то у тебя в кармане звякают. В лавке и весы, и бутылка с устатку найдется. А то вишь: робыли вместях, отробились — и поврозь! Не-е, братец, сперва разделим золотишко честь по чести, а опосля беги обнимайся с Фелисатой.

— В таку познеть еще и бутылку тебе вынь да положь! Лавка моя не кабак!

— Ну и выжига ты, Егор! Другой бы, ежели эдак пофартило...

Но Егор Тимофеич вдруг подобрел, сдался:

— Эх, видно, что уж с вами поделать...

— Не с нами, а с песочком, — обрадовался Гаврила. — Золото промывки тробовает.

— Глотка твоя требует. А язык придержи. Пофартило — и помалкивай в тряпочку, нечего на весь поселок благовестить.

Подъехали к лавке. Егор Тимофеич велел инструмент с телеги забрать, в лавку занести — не увидел бы кто, запоздавши воскресным делом.

Он засветил лампу, дверь на крюк, окна завесил рогожными мешками. Из-под прилавка добыл бутылку водки, черствую ржаную краюху, пару луковиц, берестяную солонку, три мутных граненых стакана.

— Во, это по-родственному, по-христиански.— Гаврила хотел взгромоздиться на прилавок, но Егор Тимофеич его согнал:

— Тут хлеб-соль, а ты своим задом прешь. Вон пусты бочонки в углу.

Гаврила, блестя глазами, разлил водку по стакашкам. Паньша из-за голенища вынул нож, вытер о рукав, стал резать хлеб.

— Ровно варнак, с ножом ходишь,— неодобрительно заметил ему Егор Тимофеич.

— Варнаком ты, братец, первый назвал. А нож — нелишне.

— Ну, братаны, с фартом нас! — Гаврила поднес водку ко рту.— Егорушка, ты чо все под прилавок ныряешь?

— Да вот пряников вам...

— Пряник — корм девичий. А ты поставь сюды баночку с песочком, чтоб нам веселей было. Выпьем по первой да свесим, сколь там на брата причтется. Вот так. Ну, осподи благослови...

Выпили. Паньша налег на хлеб с луком. Старшим братьям елось плоховато. Егор Тимофеич жевал неспешно, поглядывая на чайную жестянку, размышлял. Гаврила тоже призадумался. Порожним стакашком поигрывал. К водке потянулся — передумал, взял жестянку с золотом. Егор Тимофеич перестал жевать.

— Давай весы, Егор. Гирьки давай. Знать-то, фунта с два намыли.

— Эко хватил! — Егор Тимофеич вытер полый чашечки весов.— Не боле как фунт с походом. Дай-ка сюда.

— Не гоношись, купец, тут дело старательско, я сам.

Гаврила по-прежнему чувствовал себя главным здесь, в семейной артели: россыпь нашел он, песочек добыт его умением и сноровкой. Стало быть, кому ж и весить. Но брат мягким движением руки забрал жестянку:

— Старательское дело — добыть. А свесить и прочее — тут уж дело торговое пошло. Павел, держи весы.

Поставил фунтовую гирю на чашу, на другую высыпал золотой песок. Добавил гирьку поменьше, слегка придавил ее пальцем.

— Ну-с, для ровности будем считать — фунт с четвертью.

Гаврила схватил жестянку, обстучал, опрокинул над чашей. Выпало еще несколько крупинок.

— Да, братец Егорушка, теперь я и сам вижу, что дело это торговое... Самородки-то, в тряпице-то, ты в кармане попридержал? Дак рано, братец, не всю еще бутылку я выпил.

— Ах ты господи, забыл! — Егор Тимофеич полез в карман.

— Забыл? По башке бы тебя бутылкой, для памяти! Видал, Паньша, как он нас, Егор-то, объегорить хотел?!

Егор Тимофеич нахмурился и хотел ответить... но встретился глазами с Паньшей. Младший смотрел на него без Гаврюхиной злости, без укоризны, но с таким пристальным интересом, будто самое нутро, мысли в голове разглядывал. Стало не по себе.

— Братцы, родные!.. Ну забыл! Мне чужого не надо, но день, вишь, суетный такой. Ей-богу, ну что устались? Не на меня, на весы глядите, чтоб без сумления. Полтора фунта!

— А чо ты гирьку пальцами давишь, что ты ее давишь! Тут боле полутора!

— Маленько с походом. Гирьки меньшей нету.

— У, выжига! Черт с тобой! Старатель — не купишка. У старателя душа широкая. Видал, парень? — хлопнул Паньшу по плечу. — Нет, ты видал, какой наш фарт?! Один день — и боле сотни целковых ты заробил.

— Боле сотни? — Егор Тимофеич в сомнении покачал головой.

— А ты как думал? В Тагиле, в акционерном обществе, дают по два-семь гривен за золотник.

— Ага, дают. Только спрашивают, откуда песочек взят, есть ли на промысел дозволение. Обскажи им, так, мол, и так, на демидовском уголье тайно шаромыжничали. Потом в полиции обскажи, пошто ты таким дураком уродился.

— Можно и частнику сбыть, — возразил Гаврила нетвердо.

— Можно. Только частник по два-семь гривен не даст.

— Ладно, мое дело, за сколь отдам. Ты дели, коли взялся. По полфунта на брата, это ж...

— Павел, ты положи весы-то, — перебил Егор Тимо-

феич.— Положь, милый, руки и так, поди, устали. Да ты чегой-то квелый какой? Радоваться надо, а ты сидишь — губы на локоть.

— Сердешно у него страданье,— лукаво подмигнул Гаврила,— приехал зазнобу повидать, а мы робить цельный день заставили.

Щеки Паньши вспыхнули румянцем.

— Но-о? — поднял бровь Егор Тимофеич, довольный смене разговора.— Откуда знаешь?

— Знаю. Сорока на хвосте принесла.

— Кто ж такая?

— Дак уж краля — картинка. Зинуха Зуева.

— Ивана Пафнутьича наследница? Врешь!

— Она. Сызмальства по ей вздыхает и по сеи поры. Как из Катеринбурха она приедет, он тут как тут. А чо, парень ладный, баской.

— Дай бог нашему теляти да волка поймати. Шибко хорошо бы. Хотя — с другой точки поглядеть — не пара она ему: грамотна, учена, балована. Таковую в руках держать надо в-во как, а то с благородными от мужа погуливать станет. А главно дело — Иван Пафнутьич ни в жись не отдаст.

Румянец у Паньши еще пуще загустел. Теперь уж от обиды за Зину. Теперь уж не хотелось остаться в долгу:

— Твоя Фелисата не больно умна да грамотна, а гульнуть тож не дура.

— Чего-о? Говори, да не заговаривайся!

— Помню, как ты возжой ее обхаживал за Сидора Коньшина. Да и в девках еще будучи всяко с ней бывало... Иначе разве за тебя выдали бы, с эким-то приданным богатым.

— Ай да Паньша, отбрил! — веселился Гаврила.— Правильно, бабе на это занятие грамота не обязательна. Уел он тебя, Егорша!

В другое время Егор Тимофеич гаркнул бы на них, унял быстро. Сейчас пришлось кисло улыбнуться — дело того требовало.

— Ладно вам, будет. Давайте выпьем, робятушки. Наливай, Гаврюша.

— Уж чо тут и наливать-то,— поглядел Гаврила бутылку на свет.

— У меня еще есть. Не жалко, вот. Угостимся, родные мои!

Паньша перевернул свой стакан кверху доньшком.

— Я боле не буду.

— Но-о? — удивился Гаврила. — А чо? Пей! При нашей проклятушей жизни да вина не пить, тогда хошь сразу вешайся. Робишь, ровно мерин руднишный, без продыху в упряжке бьешься, а как напьешься — отойдет от сердца горечь. Пей, Паша!

— Не. Я иначе смекаю: ежели при нашей жизни еще и пить, то уж все, вовек свету не видать.

— Какой свет тебе надобен? — Гаврила выпил не закусывая. — Свет — это фарт. Сказать по-господски — фортуна. Ежели ее нету, фортуны, тогда и копошись в темноте всю жизнь и ничо не сделаешь, не выпрыгнешь из грязи. Как пофартило — все засветит-заблестит, тут успевай отводи душу. Понял?

— Молодой он еще, неразумный, — снисходительно улыбнулся Егор Тимофеич, наливая Гавриле до краев, себе — глоточек.

— Эх, Пашка, брата-ан! — Гаврила потел, краснел пятнами. Ворот рубахи расстегнут, крестик к груди прилип. — Чо ты еще понимаешь! Вот скажи, светила тебе когда-нибудь удача? Ну... чтоб душа сыта и довольна, чтоб... ух! — зажмурился, кулаками взмахнул.

— Было... — мечтательно улыбнулся Паньша, глядя на огонек лампы.

— Но-о? И какая она, удача, в твоём понятии?

Паньша засмеялся.

— Осенью было. В Елохинском поселке. Есть там купец Поликарпов...

— Состоятельный господин, — кивнул Егор Тимофеич. — Две лавки, сундушное производство тож.

— Сына еще имеет, Никанором звать, меня постарше малость. Сам Никанор дурак дураком, а гонор купеческий — что захочу, за то и заплачу, что полюблю, то куплю. Встренет кого себя послабее — закуражится. Девкам проходу не дает. Дерьмо!

— Знаю, Поликарповы, они таки, — скривился Гаврила. — Ну и чо он, Никанорка-то?

— Да с ним вышло... К девке одной стал приставать. С лица баска девка, чернявенька. По одевке видать — из бедной семьи. При ей ухажер был, парнишка шуплый, дак Никанор его шугнул. А девку за деревянные склады волокет, хохочет. Под вечер было, темняло уж. Ревет она в голос, а нигде никого. Ну, я стою эдак в сторонке,

жду, пока утянет ее за склады. И там я его и ухватил... Эх и бил!

— От души? — вроде бы позавидовал Гаврила.

— Ага. По-честному, один на один. За ту девку, за ее ухажера пужливого, за других девок, за...

— Ей-богу, молодец! Так их, Паньша!

— Дур-рак! — оборвал Егор Тимофеич. — В Елохинском они, Поликарповы, — сила! Сказано: с сильным не борись, с богатым не судись!

— Никанор меня поздоровше, откормленный. Но характером хлипкий. Верещал как поросенок... Дратся не может.

— Он тебя и без драки в бараний рог! В острог захотел?! Никанор тебя узнал?

— Не. Я сплавщик, он купецкий сын, гусь свинье не товарищ.

— Дай бог, ежели пронесет. Ох, гляди, Павел! В драку лезешь, с кем не след, ножик за голенищем носишь. Пора остепениться. Эдак и сам пропадешь, и братовьям неприятности, а у нас семьи, робята. Я вот имею уважение от людей. Сам помощник управителя, бывало, из церкви выходя: «Как, мол, торговля, Егор Ходырев?» Господин фершал за ручку со мной!

Егор Тимофеич выпил мало, но с устатку и натошак водка его возгордила, разговорила.

— Н-да, Паша, тако мое положеньице. Теперь, со свежими-то деньжонками, старший братец твой не такие еще дела завернет! Вот как жить надо, Паша.

Карие глаза Егора Тимофеича, обычно строгие, озабоченные, сейчас отмякли, наполнились умным, жалеющим снисхождением к неразумности меньшого брата.

— А боле уж никак и нельзя? — спросил Паньша.

— Чего нельзя?

— Жить-то? Али нельзя иначе?

Егор Тимофеич поморгал на него недоуменно.

— Зачем иначе? Хотя... — вздернул бороду, глянул сверху вниз. — Некоторые вон... прозябают и иначе, — махнул он куда-то за стены. — Робят на заводе, жилы себе рвут. А чего наробят? Грыжу на старости лет. Помрут — и обрядить не во что, так, в рамках, во гроб и положат, на панихиду всего наследства не хватит. Ни ему при жизни уважения, ни за гробом памяти достойной.

— Да ежели честно прожил?

— Не в том суть, как жил, а что нажил. То есть, конечно, честь, она тово, как же... Надо, чтоб человек бога боялся, о грехах помнил. Однако ежели у тебя одна только забота — безгреховность свою показать, тогда в монахи иди. В миру о душе думать некогда. Коли и согрешишь ненароком, да сам ты человек рассудительный, у властей на хорошем счету, состоятельный к тому ж, то и при грехах уважение тебе. Вы с Гаврилой меня выжигой обзываете и прочее такое, а заметил, как на улице, на нашем краю, передо мною шапки сымают уважительно? Кто, к примеру, тебя уважает? Разве что какой бродяжка, когда ему стакашек поднесешь. А ведь ты себя, Паша, за честного, кажись, считаешь, а?

Паньша сидел, подперев ладонью щеку, смотрел в никуда, в свои мысли. Сказал:

— Позапрошлу весну гнали мы плоты по Чусовой. Подрядился-то Андрей Саввич Черняев, да захворал — в воде студеной простыл. С нами были двое постарше, но Андрей Саввич мне: «Веди плоты, Паньща». Тот год зима снежна была, по весне река вздулася, бурлит у камней, несет шибко... Андрей Саввич лежит на бревнах, на кошме. Я у правіла, у весла...

Паньша умолк. Он видел ту весну, полноводную Чусовую и заново удивлялся, как это он вел плоты меж опасных камней, в пенной быстрине, в отчаянном полете...

— Ну?

— А? Дак вот, когда сплыли на тиху воду, Андрей Саввич бает мне: «На другу весну приходи, в артель возьму». Первейший плотогон Андрей Саввич Черняев мне так сказал.

— И чего дале? К чему ты это?

— Да про уважение.

— Гм. Как-то все у тебя шиворот-навыворот.

Тут Гаврила вдруг запел. Он успел еще выпить, потерял нить разговора, заскучал и гаркнул:

И-эх, черновски девки баски,
Тагильски — как картиночки-и!
На вечерочки пришли —
И-эх, хромовы ботиночки-и!

— Тише! Спятил? — зашипел Егор Тимофеич.

— И-эх, Черновска — больша деревня. Черновской — большой завод! — мотал башкой Гаврила.

— Уймись! Ночь стоит, а у меня в лавке...

— Черновски — дурны робяты, растакой они народ!

— На-ко, выпей! — крикнул ему в ухо Егор Тимофеич, поднес стакан.

Гаврила враз умолк.

— Давай... — искал, чем занюхать. Наткнулся взглядом на весы. — Давай дели золото. И-эх, погуляем от души! Поеду завтра в Тагил.

— Завтра тебе на прииск ехать, хватит пить, — сказал Паньша.

— Не-е, в Тагил. Гулять желаю! Ты думаешь, Гаврила — кто? Паньша, братан! Я от скуки на всяки штуки! Айда со мною в Тагил, Паньша!

— Не базлай, бога ради, — тряхнул его за плечи Егор Тимофеич. — Ишь окосел.

— Кто, я? Нн-икогда! Золото поделил? Давай мою долю, в Тагил счас поеду. — Подмигнул Паньше: — С деньгой расстаться — это ему все равно что серпом по заду.

— Мне какое дело, — зевнул притворно Егор Тимофеич. — Бери. Золото твое. Только сперва меня послушай, старшего брата.

— Неохота мне слушать...

— Неохотку-то — на плетку. Старшего брата со вниманием выслушать — тебя не убудет. Вот чего, милый... — Егор Тимофеич пригнулся и зловещим шепотом: — Пропьешь ты, дотла просадишь! Не ерепенься, сиди. Во-первых, тебя надуют скупщики, — Егор Тимофеич придвинул счеты, шелкнул костяшкой. — Во-вторых, в питейном заведении оберут. — Опять костяшка на счетах сухо шелкнула. — В-третьих, и само главное, с прииска вылетишь, работу потеряешь, Илья Лукьяныч запойных работников не жалует, не милует. И ни золота, ни денег, ни тебе работы.

Гаврила глядел на счеты. Кураж его утих. Не столь слова, может быть, отрезвительно действовали, сколь нехитрая эта арифметика на счетах. И уже тихо, горестно:

— Эх, Егор. Все ты испортил. В кои веки повезло, а ты помечтать не дал...

— Мечтаниями сыт не будешь. Сказано: дурак думками богатеет. Так дураков бьют и плакать не дают. Ты мой брат единокровный, сберегчи достаток семьи твоей я обязанный перед богом.

— Перед богом? Ну, вали сберегай. Чо же я теперь, разнесчастный, с золотом моим делать должен, чтоб не сгинуть? Не тебе ль отдать? К тому клонишь?

— А и самолучшее бы золоту приспособление! В мою торговлю вроде как пай вложить.

— Ишь он какой баской!

— Какой ни есть, а мучки к празднику, полтину на бедность, сарпинки на рубаху — кто дает? Так что люби не люби, да почаще взглядывай. И помяни мое слово: прогуляешь богом ниспосланное — милостенку не подам! Вот теперь смекай: в Тагил тебе али на прииск, судьбу не искушая.

— Паньша, ишь чо он захотел, выжига! — взрыдал Гаврила.

Егор Тимофеич насупился. Но против его опасения Паньша посоветовал умно:

— Егор правильно бает. Пропадешь ты от этой удачи.

— Во, и ты в ту же дуду!

Тихо сделалось в лавке. Под окном пофыркивала лошадь, домой просилась. Гаврила понурился, свесил большие грязные руки меж колен. Ничего не осталось от сноровистого приискового работяги, что днем в Демкином логу без суеты и толково излаживал желоб, снасть, без лишних слов распоряжался братьями. Шмыгал носом, глаза повлажнели.

— Гаврюша, разве ж мы тебе худа желаем, — жалостливо заговорил Егор Тимофеич. — Я завсегда, с дорогой душою... Вот и Паша то ж присоветовал. Паша, скажи ему.

— Отдай, Гаврила, чо уж... — сказал Паньша, отвернувшись, — не впрок оно тебе. Возьми с него расписку и отдай.

— Знаю, что не впрок... Да разве не обидно! — Гаврила заплакал. — Мое-то счастье где?! Егор лишний гривенник нажил — и радый. Паньша купцу харю набил — радый. Я на россыпь богату натакался — одно горе мне сулят! Как же так, а? Все грабят старателя, все!..

— Раз все равно ограбят, так пушай лучше уж Егор. Тогда хошь сам уцелеешь, — сказал Паньша.

— Бери! — вскочил Гаврила. — Грабь, братец родный!

— Тише, тише, экой ты шебутной, — захопотал Егор Тимофеич. — На-ка вот, испей винца.

— Расписку возьми,— напомнил Паньша сквозь зубы. Неприятно ему было смотреть сейчас на братьев, стыдно. Как дружно работали они в Демкином логу! Но вот дележка — и другие они люди... Гаврилу и жалко, и зло на него берет за пьяную беззащитность. Егор мягкими словами жестко давит брата...

— Не хочу никак расписку! Я старатель, не купец! Пушай так грабит!

Гаврила плакал и нехорошо ругался. Егор Тимофеич выбежал из-за прилавка, гладил его по голове, усаживал на бочонок, вытирал ему лицо своим картузом, совал стакан.

— Егор, об одном прошу! Дозволь погулять, завить горе веревочкой!

— Само собой, Гаврила. Утречком к Илье Лукьянычу сбегаю, ублажу. Пускай, мол, погуляет братик мой. Только не проболтался бы ты во хмелю, в честь чего гулянка...

— Налей, Егор. У-ух, жизнь проклятая!

— Будя пить, домой пора,— угрюмо напомнил Паньша.

— Пускай допьет, бог с ним. Я вас отвезу домой.

Егор Тимофеич помялся. Ушел за прилавок.

— И ты выпил бы, Паша. Не хошь? Твое дело. Кхм... Любопытствую, как ты это...— глаза Егора Тимофеича снова обрели озабоченность, шарили по углам, по стенам. Брат не отвечал, и пришлось Егору Тимофеичу опять наткнуться на его трезвые, пронизывающие насквозь зрачки.

— Хошь и мою долю прибрать? — усмехнулся Паньша.

— Молодой ты, бессемейный. Одна голова не бедна, а коли и бедна, так все одна. Такое богатство таскать с собою по пристаням, по заводам — ладно ли? Кабы чего не...

— Я подумаю. Завтра скажу.

— Господи, чего тут думать? Ежели ты... я могу расписку...

— Сказано, завтра отвечу.

— Кхм, как хошь. Я погожу. Счас-то как? У меня останется?

— В карманах таскать — мне не с руки. Давай тряпицу подержу, ссыпай. И айда домой, вишь, Гаврюха опьянел.

Гаврила косноязычно бормотал хвастливую частушку:

Провались, земля и небо,
Мы на кочках проживем!..

А сам плакал.

7

Паньша весь день пластался по хозяйству. Латал крышу, подпер кольями забор, веревки ворот укрепил. Дрова пилил-колол. Мать во двор выбралась, на заваulinке сидела в Гавриловых старых пимах, в Лизаветинной телогрейке. Шурилась, подставив солнечным лучам желтое морщинистое лицо. Слушала, как хозяйствует меньшей сынок.

На закате мать он домой увел. И пошел со двора. В проулке табунились ребята — остановился поглядеть. Вспомнилось недавнее и такое теперь далекое детство. В этом же играл проулочке. В бабки, в чушки. Или как эти сейчас, в «сыщики-разбойники». Вон и Сенька-племяш тут же, из сундушной мастерской поиграть убер.

Двое парнишек постарше, из заводил, стоят солидно, важно. Другие попарно, в обнимку, к ним подходят, спрашивают что-нибудь вроде:

— Матки, матки, отгадай загадки: кусок хлеба с салом али казака с кинжалом?

— Казака, — говорит наугад один из «маток», и пара разделяется, расходятся ребята по своим командам. Еще пара:

— Ну-ка, «матки»: пива бутылку али поленом, по затылку? —

— Поленом! — орет другой «матка», угадав в «полене» юркого мальчика.

Паньша свистнул:

— Сень! Подь сюда.

Племяш неохотно покинул команду, подбежал..

— Чо, дядь Паш?

— Сень, ты учиться хошь?

— Я и так учился две зимы.

— А еще хошь?

Малорослый худющий Сенька подумал, ответил:

— Не.

— Пошто?

— Так. Қоторы шибко грамотны, имя худо.

— Чем худо? — удивился Паньша.

— Не знаю. От грамоты, от книжек, ли чо ли. Слышать, противу властей недовольство выказывают. Я, как лет-станет поболее, на прииск пойду робить. Как папаня.

— Выходит, папаня твой всем доволен?

Сенька ухмыльнулся:

— Когда шкалик выпьет, то и доволен, больше ничо ему не надо. Дядь Паш, я побегу, робята ждут.

— Ну беги.

Поглядел вслед племяшу, пожалел двенадцатилетнего подручного сундушника. Пошел дале.

Лавка Егора Тимофеича была на замке, хоть час и бойкий. Застал брата дома. Разулся, вступил на чистый половик.

— Фелисата твоя где?

— В церкву спровадил, чтоб не мельтешила тут, не мешала.

Он сидел за столом под иконами, щелкал на счетах, шевеля губами. Чернильным карандашом писал в прихода-расходной замусоленной книге. Наставительно заметил:

— Перекрести лоб-то, басурман, не в кабак пришел.

— Это правильно, — еогласился Паньша. — Всяко сурьезно дело надо помолясь начинать. Спасибочки, что напомнил. Господи Иисусе Христе, вразуми раба твоего Егора...

И сел к столу на табуретку.

— Это как понимать? — подозрительно нахмурился Егор Тимофеич. — Ты это какое мне вразумление испрашиваешь?

— Да чтоб ты счас дал мне сто рублей.

Лицо у Паньши такое было серьезное, что Егор Тимофеич некоторое время сидел недвижно с открытым ртом.

— Сто рублей? Тебе? Сейчас? Ну, сказанул — как в лужу булькнул! Со вчерашнего пьяный? Али так веселый шибко?

— Мои дела, как сажа бела — с чего бы веселиться. Разве вот от сотенной повеселею. И то навряд ли.

— Паша, ты всурьез? Да как ты посмел эдак обнахалиться?!

— А чо тако?

От Паньшиного невинного спокойствия у Егора Ти-

мофеича перехватило дыхание. Понял: разговор надвинулся решающий.

— Кхе... Позволь спросить, за какие такие добродетели я вот так, за здорово живешь, дал бы тебе сто рублей?

— За какие? Ежели золото — добродетель, дак за это самое. Непонятливый ты, а еще купец. Отдаю мою долю за сотенную, и в расчете мы. Конечно, оно дороже, но я по-родственному.

— Обирать родного брата — по-родственному?! Шутить никак?!

— Думай как хошь, а сотенную мою подавай, и я пойду.

— Во-во, иди! Только без сотенной. Не прогневайся, нищим по столь не подаю!

— Не нищий, и не милостыньку — свое требую.

— О-о! Требуешь! Вексель имеете предъявить, ваше степенство, Павел Тимофеич? Али расписочку мою имеете? Нету? Ха-ха, у вас нету? В таком разе извольте-ка из моего дому... Слышишь, паршивец! Пшел отсель, и чтоб больше я тебя не видел, нахальника!

Паньша без спора встал и — к двери. На пороге картуз нахлобучил, сказал все таким же ровным голосом:

— До свиданья, Егор. Свиданьице наше будет у господина исправника, в полиции тагильской. Как призовут к нему, не забудь с Фелисатою проститься, не скоро возвратнешься.

— Стой! — гаркнул Егор Тимофеич. — Воротись!

— Да пошто? Ты вон ругаешься. Плохо я помолился — не вразумил тебя господь.

— Воротись, распро... в-в! Ты чего удумал?! Как смеешь исправником пужать?!

— Правда твоя, нехорошо. Да чо делать, сам посуды. Гавриле, пожалуй, в остроге сидеть легче, чем тут маяться. Мне счас тем боле хошь в петлю лезь. Пойду покаюсь, что ты соблазнил нас с Гаврюхою хищничать на землях господ Демидовых.

— Доносить?! На братьев?! Врешь! Не пойдешь!

— Пойду, Ежели только ты мне сотню...

— Вот затростил — сотню, сотню... Откуль у меня?!

— Найдется, поди. Недорого прошу, барыш тебе будет. Пользуйся моей добротой, Егор, не то сидеть тебе не в лавке, в остроге.

Егора Тимофеича была злая дрожь. Он знал, что никаких денег этому варнаку не даст — как же, держи карман! И догадывался, что этот варнак пойдет к исправнику. Будь он трижды проклят, черт бы его... господи прости и помилуй!

— Вы чо, водку тут опять хлестали? — в дверях стояла Фелисата, нюхала воздух. — Ишь рожи красны. Гостенек дорогой уходить собрался? Дак скатерью дорожка, с богом.

Оба подумали: до чего сволочная баба!

— До свиданьица, — поклонился Паньша Фелисате. — Загостился я у вас. Поговорили — как меду напился.

И хлопнул дверью.

— Повадились тута... — сказала вслед Фелисата. — Егор, чо он приходил опять?

— Пошла бы ты, знаешь...

Толкнув обалдевшую бабу, как был в жилетке и пимных опорках, вылетел из избы... «Только бы вовсе не ушел! Догнать надо!»

8

Понедельник — день тяжелый, поселок уgomонился рано, еще и заря теплилась над шиханами. Тявкали собаки, перед сном службу свою справляя. Им в отзыв с рыношной площади караульщик стучал колотушкой.

Паньша представил себе, как за этими светлыми занавесками сидит перед лампой она... Книжку умную читает, наверно. Или что делает? Эх, Зина... Знала бы ты, как на душе паршиво... Или нет, не надо, чтоб она знала, а то жалеть станет. Паньша не хочет, чтоб его жалели. Не надо.

Цок-цок — в стекло песчинки, и сердце замерло... Тень ее руки приподняла занавеску... Эх, Зина! И почему так на белом свете деется?!

Полкан во дворе тявкнул и умолк, заповизгивал — хозяйкины шаги услышал.

— Паша? Как хорошо, что пришел! Я уж думала, что... Почему не пришел вчера? Наши все уж легли, а я ждала, ждала...

— Некогда было.

— Хорошо, что хоть сегодня... Места себе не нахо-

жу, все думаю, что обидела тебя... Паша, иди туда, в черемухи.

Господи, как хотелось ему в черемухи...

— Не, я не надолго. Проститься зашел.

— Паша!.. Уходишь? Когда?

— Хошь счас готов, да с маманей проститься надо. Утром уйду.

Она вышла на крыльцо. В одном светлом платье да шаль на плечах. Стройная, красивая, милая... эх, Зина!

— Ты говорил, что пробудешь дней пять, а сегодня только третий день миновал.

— Нагостился.

— Из-за меня?

Хотел соврать, что нет, не из-за нее. Теплая, мягкая ладошка лежала на его руке — разве совершь хоть в малости?

— Пашенька, голубчик мой, ты самый-самый хороший мой друг! Но пойми, я не могу...

— Не надо. Я понимаю. Хотя и горько мне... Ну ладно. Возьми вот. Деньги тут, пятьдесят рублей, хотел бы больше, да не оказалось...

— Деньги? Зачем?

— Не знаю вот, хватит ли. Понимаешь, адвоката нанять бы. Боле не знаю, чо тут можно. Ну, адвоката семинаристу этому. Я в тот раз... Уж ты не серчай, Зина. Конечно жалко тебя упускать, да чо поделаешь. Все ж он, стало быть, за народ... -

Он торопился, говорил сбивчиво, хотел объяснить, что боль его — дело одно, а что арестанта-политика выручить — то его сердечного горя некасаемо, тем паче что Зина к семинаристу... привержена, а ради Зины готов Паньша претерпеть... Так хотелось ему объяснить. Но не умел. И нельзя. А то опять же станет жалеть Паньшу.

— В Тагиле, узнал я, хороший есть адвокат, господин Кузнецов Александр Иванович, живет на Арзамасской, его каждый там знает. Еще господин Ветлугин, сильно толковый, говорят.

— Паша!!

— Или екатеринбургски еще лучше? Поди, больши деньги берут?

— Часть денег мы собрали, мы, друзья и единомышленники Алеши. Но, Пашенька! Боже, какой ты прекрасный человек!

— Не надо...
— Да. Но откуда у тебя столько денег?
— Не бойся, не граблены. Зараблены.
— Отдай матери. Я заходила, у них такая бедность!
— Мамане тоже оставлю. Ну, все одно брату Гавриле отдаст. Жалеет его. У меня знаешь сколько? Восемь червонцев. Должна быть сотенная, да купец не может, чтоб не обсчитать. Возьми деньги, Зина, буду знать, что правильно их срасходовал. Возьми. Сама говоришь, адвокаты дорого берут. Ух, был бы я ученый, политическим без денег помогал бы.

— Учиться бы тебе, Пашенька!

— Буду. Вот увидишь. На заводах есть люди умны! Иной раз так все обскажут — лучше гимназии,— забывшись, он говорил громко и горячо. Во дворе залился лаем Полкан.

— Зина, я пойду,— прошептал Паньша.

— Да. Сейчас...

Обняла его, поцеловала в губы.

Надрывался Полкан. Паньша перешел улицу, сел на чью-то скамеечку у ворот. Долго смотрел в белые занавески. Она плакала, когда целовала... Эх, Зина...

От площади приближался стук колотушки — на собачий оголтелый лай шел сюда караульщик. Паньша встал и пошел прочь, все оглядываясь на светлое окно, на белую занавеску:

От автора

Тобольский летописец, архитектор и картограф Семен Ремезов (род. в 1642 г., ум. после 1720 г.) писал об Урале и Западной Сибири: «Воздух над нами весел и в мирности здрав и человеческому житию потребен, ни горяч, ни студен... Земля хлебородна, овощна и скотинна, опричь меду и винограду ни в чем скудно. Паче всех частей света исполнена пространством и драгоценными зверьми бесценными. И торги, и привозы и отвозы превольны. Рек великих и средних, затоков и озер неизчетно; рыб изобильно, множество и ловитвенно. Руд, золота и серебра, меди, олова и свинцу, булату стали, красного железа... и всяких красок на шелки, и камней цветных много...»

Рассказывая о щедрости природы, не упомянул славный летописец Семен Ульянович Ремезов еще об одном богатстве здешних мест — богатстве самой истории освоения Урала и Сибири, обильной самоцветными, яркими, трагическими и вместе с тем героическими эпизодами.

Здесь, у Каменного Пояса, начиная с XV—XVI веков бурно сталкивались политические, ратные, торговые, религиозные интересы крепнущего Московского государства и мусульманского Востока, подминая власть местных князьков и веру местных племен. Сбросив гнет татаро-монгольского ига, обретя самостоятельность, Российское государство искало новых политических связей, новых торговых путей, стремилось обезопасить свои далекие окраины.

Чаще всего обширные и малонаселенные земли «Великой Пермии» и на Камне, за Камнем — на Урале и в Зауралье — заселялись без больших сражений, стихийными переселенцами из Руси. Одних гнала сюда нужда, другие бежали от тюрьмы и казни, третьи — в поисках воли. Царское правительство тех времен не в состоянии было поставить заслон беглецам и «гулящим людям», не могло и поставить значительную воинскую силу на восточных рубежах, зато всячески, не стесняясь в сред-

ствах, поощряло инициативу местных предпринимателей, например, могущественных баронов Строгановых, да рьяно поддерживало миссионерскую деятельность церкви.

Идти на новые места, в чужие, враждебные леса решался не всякий беглец-крестьянин, не всякий атаман или воевода, не каждый миссионер церкви. «Русскую» историю Урала и Сибири «делали» отважные люди. Многие сложили буйны головы на нехоженных таежных путях, в схватках с отрядами вогульских и остяцких князьков и сибирских владык. Но по следам павших шли другие храбрецы, ставили крепости, посадки, пахали и сеяли, учили этому и местных жителей. Обживались. Да только недолгой была их воля: в новые селенья и городки наезжали скоро купцы, духовенство, чиновники, начинались опять поборы, гнет, кабала. И снова уходили на восток отважные.

Даже когда Урал был основательно заселен и освоен, беспокойный это был край. Разнородное пришлое население — беглые, раскольники, ссыльные — не могло смириться с заводской каторгой, разгорались стихийные восстания, бунты, кончались они кровавой расправой, но вспыхивали вновь. Недаром на Яике отсиживался атаман Степан Разин, недаром здесь же начиналось восстание Емельяна Пугачева.

Многие писатели брали сюжеты из богатейшей летописной сокровищницы Урала. Об уральской и сибирской старине написаны повести, рассказы, романы. Но сколько еще таят подвигов и трагедий пожелтевшие листы летописей, грамот, «отписок» и других документов.

«...Знание прошлого не только потребность мыслящего ума, но и существенное условие сознательной и корректной деятельности. Вырабатывающееся из него историческое сознание дает обществу, им обладающему, тот глазомер, то чутье минуты, которые предохраняют его как от косности, так и от торопливости.

Каждый из нас должен быть хоть немножко историком, чтобы стать сознательно и добросовестно действующим гражданином».

Так писал видный русский историк В. О. Ключевский. И в наш век его слова не устарели.

Миграция на Урал людей из самых разных провинций России всегда была исторической закономерностью. При современном размахе уральской промышленности

такая миграция еще значительнее. И очень полезно знать приезжим, да и потомкам коренных уральцев, о чем печалились, о чем мечтали те, что когда-то жили на этой земле.

Если говорить о «языковом колорите» описываемой эпохи в современной художественной прозе — это не мое изобретение. Этим приемом давно пользовались такие известные и талантливые писатели, как Алексей Чапыгин («Разин Степан», «Гулящие люди»), Артем Веселый («Гуляй, Волга!») и другие.

Я убежден, что если повествование заинтриговало читателя, то в язык, в меру окрашенный соответствующей лексикой, вчитаться будет легко с первой же страницы, и тогда описываемая эпоха предстанет еще более зримо, вдумчивый читатель прикоснется сознанием к разговорной и письменной речи минувших времен, а невдумчивый — проскочит редкие малознакомые слова, торопясь за сюжетом.

Разумеется, русский язык XV века тяжел для читателя века XX. Потому и говорю, что окрашивать повествование нужно в меру. Полагаю, что здесь в меру.

Ни одного слова сам я не выдумал, все они взяты из старинных текстов или из живого разговорного языка коренных уральцев.

А теперь о степени достоверности сюжетов.

«Ермаку от утопления, августа в 13 день, всплывшу, и принесе его иртышскою водою под Епанчинские юрты к берегу. Татарину же Якишу Бегишеву внуку, ловящу рыбу и наживляющу перемет, и виде у брега шатающуюсь человеческия ноги и накинув петлею переметною веревку на ноги, извлече на брег и видя одеяны пансыри и разумев не просту быти...»

Таковы строки летописной легенды, легшие в основу рассказа-легенды «Последний шатер атамана».

Рассказы «Владыка Усть-Выми», «Мурза Таузак», «Последний шатер атамана», «Кто Верхотурьем правит?», «Под крепким караулом» имеют реальную основу, большинство их персонажей — реально существовавшие люди. Сюжеты этих рассказов взяты из «Пермской летописи» В. Шишонко, «Словаря Верхотурского уезда» И. Кривошекова, «Пермской старины» А. Дмитриева, «Сборника сибирских летописей», других источников. Тексты писем, «отписок», официальных документов приведены в рассказах дословно, отличаясь от первоисточ-

ника лишь небольшой моей поправкой для лучшей понятности современному читателю. Чтобы как можно полнее представить себе быт, одежды, нравы, картины жизни тех времен, чтобы передать эти картины читателю, пришлось знакомиться с различными историческими материалами, мне доступными. Само собой в художественном произведении оказался необходим авторский домысел. Однако я старался действие рассказов строить как можно ближе к исторической достоверности, к первоисточнику.

Повесть «Казак Гореванов» потребовала домысла гораздо большего. Иван Гореванов — лицо тоже реальное, но сведений о нем удалось найти мало, всего несколько строк из предисловия к «Описанию Сибирских и Уральских заводов» Георга Вильгельма де Геннина. Домыслен и Башанлыкский завод, и товарищи Гореванова, обстоятельства его жизни до Сакмары. Но сам городок беглых на Сакмаре действительно существовал, и Гореванов атаманствовал в нем, мирно соседствуя с башкирами, конфликтуя с яицким атаманом Араповым. Встречи Гореванова с управителем казенных заводов де Генниным — вымысел. Но вот челобитная кунгурцев управителю, их имена, наказ де Геннина против взяточничества — все это взято из документов начала XVIII века.

«Фарт братьев Ходыревых» и «Два висимских упряма» написаны по воспоминаниям старожилов Тагила и Висима.

«Волк» и «Варнацкий долг» созданы на историческом колорите без документальной основы.

В целом эта книжка не претендует на широкое историческое повествование. Из многовековой истории трудового Урала высвечены только отдельные эпизоды. Герои рассказов и повестей — не знаменитые личности, а люди простые, рядовые. Разве что епископ, да и тот выходец из простонародья.

Писать художественное произведение с исторической фабулой вообще очень сложно. И очень интересно, мне лично очень.

Необходимы долгие поиски в самых разнообразных источниках информации. Узнаешь и находишь факты, детали событий, о которых никогда бы и не узнал, если бы не работа над книгой.

И чем больше узнаешь, тем больше убеждаешься — россыпи уральских сюжетов неисчерпаемы.

СОДЕРЖАНИЕ

ВЛАДЫКА УСТЬ-ВЫМИ	5
МУРЗА ТАУЗАК	23
ПОСЛЕДНИЙ ЩАТЕР АТАМАНА. Легенда	37
«КТО ВЕРХОТУРЬЕМ ПРАВИТ?»	51
ВАРНАЦКИЙ ДОЛГ	69
КАЗАК ГОРЕВАНОВ	79
ВОЛК	217
«ПОД КРЕПКИМ КАРАУЛОМ...»	237
ДВА ВИСИМСКИХ УПРЯМЦА --	251
ФАРТ БРАТЬЕВ ХОДЫРЕВЫХ	269
ОТ АВТОРА	315

Печенкин В. К.

ПЗ1 Владыка Усть-Выми: Уральские были.— Свердловск: Сред.-Урал. кн. изд-во, 1982.— 320 с., ил.

В пер.: 65 к. 30 000 экз.

Герои былей — самые разные: от бунтующих одиночек до вожаков восстания против произвола эксплуататоров.
Книга адресуется юношеству.

П $\frac{70803-080}{M158(03)-82}$ 4803010102

ББК 84Р7
Р2

**Владимир Константинович
Печенкин**

ВЛАДЫКА УСТЬ-ВЫМИ

Редактор С. В. Марченко
Художник В. В. Штукатуров
Художественный редактор О. И. Журавлева
Технический редактор Т. В. Меньщикова
Корректоры М. А. Казанцева, Е. И. Ерина

ИБ № 867

Сдано в набор 2.02.82. Подписано в печать 09.07.82. НС 12574.
Формат 84×108¹/₃₂. Бумага типографская № 3. Гарнитура литературная. Печать офсетная. Усл. п. л. 16,8. Усл. кр.-отт. 17,1.
Уч.-изд. л. 17,2. Тираж 30 000. Заказ 131. Цена 65 коп.

Средне-Уральское книжное издательство, 620219, Свердловск,
ГСП-351, Малышева, 24.
Типография изд-ва «Уральский рабочий», 620151, Свердловск,
пр. Ленина, 49.